

Annotation

Семейные интриги, ревность и соперничество двух сестер, такое долгое, что становится судьбой, любовь к одному - на двоих - мужчине... Некрасивую, упрямую, бедную сестру снедает зависть к богатой, красивой, нежной, очаровательной. «Плохая девочка» станет главным редактором глянцевого журнала, «хорошая девочка» - новой русской женой, и это не мыльная опера, а полная реалий жизнь ленинградской семьи с конца 70-х годов до наших дней, история о том, как дети расплачиваются за ошибки родителей, о незабываемой любви, о самой жизни...

- [Елена КОЛИНА](#)
 - [2000 год](#)
 -
 - [1975 год](#)
 -
 - [1975—1977 годы](#)
 -
 - [1977—1983 годы](#)
 -
 - [1983 год](#)
 -
 - [1946—1983 годы](#)
 -
 - [2000 год](#)
 -
 - [АНЯ](#)
 -
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)

o 9



Елена КОЛИНА

САГА О БЕДНЫХ ГОЛЬДМАНАХ

2000 год

– А мне такой любви не надо! – враждебно выплюнула Лиза. – У меня уже чужое было! Я всю жизнь Аниного хотела. Мы бедно жили, даже не то чтобы бедно, а так... тускло, безрадостно. А у нее все было! Я ее платье до сих пор помню. Туфельки... тоже помню. Ее все любили, а меня не очень, я некрасивая была, мрачная, а она добрая, уютная, как подушка...

Олег пожал плечами. Подумаешь, какая-то детская дребедень!

– Я ее в детстве обижала. Она тебе не рассказывала? – подозрительно спросила Лиза. – У нас с ней такое было, я не могу тебе рассказать. Я... издевалась над ней, хотела больно сделать...

Лиза начала одеваться, быстро хватая вещи. Брюки, блузка, пиджак...

– Черт, в рукав не попала!

– Лиза! При чем тут мы с тобой? – Олег непонимающе улыбнулся...

1975 год

ЛИЗАНЯ

Трехкомнатная квартира семьи Бедных выглядела бесхитростно маргинальной, как женщина, застигнутая чужим недоброжелательно-насмешливым взглядом в миг, когда она с трудом натягивает тесное платье непривычного фасона на старое простенькое белье. Платье ползет все дальше, закрывая неприглядное бельишко, делая женщину нарядной и модной, но еще торчит краешек дешевой рубашки, а вслед за рубашкой и вовсе обнаруживаются резиновые боты. Было очевидно, что в квартире живут два поколения, совершенно по-разному обживающие пространство. Крошечную двухметровую прихожую украшали новенькие полированные олени рога, прикрепленные над довоенным сундуком таким образом, что гость в любом ракурсе оказывался увенчанным рогами. В отместку рогам, сопротивляясь новым веяниям, отжившая эстетика задержавшегося довоенного быта как последний бастион выложила на пол старенький, когда-то цветастый, а теперь почти полностью вытертый полотняный коврик. Сотканый в подарок молодоженам коврик Маня привезла из деревни, в коммуналке на Троицкой он занимал самое почетное место, и только здесь, в отдельной квартире, постепенно обесценивался, перебираясь со стены спальни на пол и, наконец, в прихожую. Эпическому коврику было столько лет, сколько Маниной семейной жизни, а именно – тридцать шесть.

Новая жизнь беззастенчиво вытеснила старую в самую маленькую семиметровую комнатку по правую сторону от прихожей. Маня и Мона, как положено пожилым супругам, спали отдельно. Напротив высокой кровати с металлическими шарами, покрытой белым кружевным покрывалом, располагалось хрупкое сооружение на уродливо тонких ножках под названием оттоманка. Кровать с нарядными шарами принадлежала Мане, а узкая коричневая оттоманка – Моне.

У Лизы, внучки Мани и Мони, в детстве был секрет. Повторив несколько раз подряд «оттоманка», она переставала понимать, что слово это обозначает нечто вроде дивана. Вместе со значением слова улетучивалась и остальная реальность, и теперь не только все предметы существовали необозначенными, но и сама она не имела больше привязки к окружающему миру, а все докучливые неприятности оставались там, где каждой вещи строго полагалось название. Лиза чувствовала, что

злоупотреблять этим знанием другого мира нельзя, потому что существует опасность задержаться там надолго и даже навсегда, но иногда она двигалась в тесноту Маниной комнаты, закрывала глаза и улетала...

Для Лизы комнатка была как истончившийся от частой стирки носовой платок – и вытащить перед посторонними неловко, и нос сунуть приятно, вдохнуть теплый домашний запах старательно отутюженного чугунным утюгом белья.

В ее памяти сохранилось одно смутное воспоминание: она уютно угнездилась между двумя большими подушками в Маниной кровати, а Моня с Маней говорят о какой-то... кажется, о какой-то брошке. Нет, они не делили брошку, никакой брошки у них не было, Лиза даже приподнялась и заглянула на всякий случай им в руки. Кажется, Моня сказал Мане, что раз брошка досталась Науму, то старший брат мог бы и поделиться чем-то, чем именно, Лиза не поняла, но, наверное, чем-то хорошим и ей, Лизе, нужным.

Маня тогда на деда фыркнула, сказав, что хватит уже и еще одной ссоры в семье из-за этой стекляшки она ни за что не допустит. «Тебе, Манечка, все стекляшка! Скажешь тоже, стекляшка... Глупышка ты...» – печально протянул Моня, безнадежно махнув на жену рукой. А маленькая Лиза поняла, как ему жалко эту, конечно же, невероятно ценную вещь – сказочную драгоценность, брошку. Брошка блестит, наверное... Она, Лиза, была бы с этой брошкой как королева!

Вечерами в гостиной на диване под портретом Хемингуэя, такого мужественного в своей бороде и с трубкой, располагался далеко не такой мужественный Лизин отец Костя, сын Мани и Мони. Входя в комнату, Костя всегда с опаской бросал быстрый взгляд на обеденный стол и, не обнаружив белеющих на скатерти аккуратно сложенных треугольниками клетчатых листков, облегченно вздыхал и укладывался на диван. Если же записки имелись, Костя обреченно плелся к столу, стоя прочитывал и только после этого падал на диван.

Маня всегда бдительно следила за сыном и невесткой и почти ежедневно письменно сообщала им, насколько удачно, по ее мнению, протекает их семейная жизнь. Привычку эту она приобрела много лет назад, когда двадцатилетний Костя привел к родителям, в коммуналку на Трицкой, однокурсницу Веточку. Веточка была сиротой, и Маня резво взялась быть девочке-невестке родной матерью.

В двенадцатиметровой комнате больше года друг против друга спали две супружеские пары – еще полные сил сорокалетние Маня с Монею и двадцатилетние молодожены Костя с Веточкой. Через год к ним прибавился

младенец – Лиза, появившаяся на свет исключительно благодаря Мониному такту, то и дело вечерами уводившему недоумевающую Маню погулять. Маня рвалась жить семейной жизнью, не отвлекаясь от совместного существования ни на минуту. Проживая не просто в теснейшей близости с сыном, а, можно сказать, находясь непосредственно в его постели, Маня не могла при невестке быть откровенной с сыном, поэтому ежедневно писала ему записки. В записках Маня объясняла, что утром он пихнул Веточку локтем, а она, кажется, обиделась, не оставил жене последний кусок сыра и небрежно прошел мимо Лизиной кровати, даже не улыбнувшись дочери.

Для Мани, совершенно не склонной к эпистолярному жанру, эти записки были материнским подвигом во имя семьи сына. Такая извращенная форма участия в его жизни привела к желаемому Маней результату. Опасаясь очередной аналитической записки, Костя с Веточкой тщательнейшим образом скрывали свои нелады и научились ссориться даже не шепотом, а исключительно глазами. Ссоры, и без того нечастые, вскоре прекратились совсем, а Костя с Веточкой сблизились необыкновенно, в точности как два двоечника, тоскующие на последней парте под строгим взглядом учительницы.

За тридцать пять прожитых с Маней лет Костя привык ежечасно показывать матери дневник, поэтому записки не раздражали и не обижали его. Он воспринимал мать как сильный, но неопасный ураган – и восхищает, и укрыться хочется, а можно и не укрываться, так тоже хорошо.

Теперь, после шестнадцати лет брака, Костя любил жену положенной среднестатистической любовью, больше похожей на дружеское чувство. Хорошие друзья не ссорятся, и они с Веточкой никогда не ссорились, хотя, если бы им дали возможность ссориться и мириться, их полудетская студенческая любовь смогла бы развиться во взрослую страсть.

Другим неожиданным следствием Маниных стараний на семейной ниве оказалось почти полное Костино равнодушие к дочери. Если к маленькой Лизе он все же проявлял определенный интерес, то по мере Лизиного взросления его безразличие усиливалось. Обожающий Лизу Моня, преданная Маня – Лизу и без него было кому любить. Именно так думал Костя, полностью делегировав свои отцовские чувства отцу с матерью.

Костя упоенно собирал спичечные этикетки. Они были хороши тем, что не требовали ни малейших отщипываний от семейного бюджета, а просили всего лишь Костину душу. Душа и удалилась почти без остатка, помахав на прощание близким. Не любить ласково-ворчливого Моню было просто невозможно, а Костина нежная преданность матери была совсем уж не среднестатистической, ее можно было сравнить лишь с преданностью,

какую пожизненно заключенный вынужден питать к своему тюремщику.

Желая спрятаться от избыточной материнской любви, Костя ушел со своими этикетками куда-то далеко, из этого далека он умудрялся держать за руку жену, но прихватить с собой взрослеющую дочь уже не смог.

Все остальные Лизу любили – и дед, и бабушка, и мать. Обычная, в меру счастливая семья жила в окружении положенных предметов, в обычной квартире, но пятнадцатилетняя Лиза была убеждена, что дома у нее не особенно красиво и уютно, грустно, а главное, так отчаянно обыденно и скучно. Ненарядная жизнь была у ее семьи! Лизе немного стыдно было так думать, вернее, неловко, что она ни капельки не стыдится этих мыслей, что ей не совестно осуждать их способ жить так бездарно, неинтересно, вдали от настоящей жизни, входящей в большую комнату только с экрана телевизора.

* * *

Сегодня суббота и Манин день рождения – наиглавнейший семейный праздник. Утро началось со скандала. Все субботние семейные завтраки были тоскливыми, а этот и вовсе вышел ужасным.

За столом уверенно держала речь Маня, вещала, не давая никому вставить ни слова. Костя и Веточка ничем не отличались от своих ровесников-инженеров, дожидались каждый в своем отделе НИИ очереди на толстые журналы, нечасто, но все же ходили в театры, ну а уж в кино бегали почти каждую субботу. Как у всех, у них были друзья, с которыми они обсуждали книги и спектакли. С друзьями – да, но не дома. Там хозяйничала Маня, и темы для семейной беседы за столом выбирала она, а сын с невесткой помалкивали.

Семейные трапезы всегда проходили одинаково, и сегодня утром Маня, как обычно, настаивала на внимании, ежеминутно одергивая родных. «Вы меня слушаете?» – призывала она. Моня чавкал, непонимающе встречая лучезарной улыбкой неприязненный Лизин взгляд, а Костя с Веточкой почтительно внимали. Веточка изредка ловила Лизины брезгливые гримасы и укоризненно на нее поглядывала.

Маня волновалась, на что они будут снимать дачу будущим летом. Жили в этом году тяжело, долго болел Моня, а его зарплата была главной в семейном бюджете.

– Ребенка без воздуха не оставлю! – провозгласила Маня, окинув

сидящих за столом воинственным взглядом.

Костя с Веточкой и Лизой, как невзрослые еще члены семьи, молчали.

– Манечка, так где же, ты считаешь, мы возьмем деньги? – вежливо откликнулся Моня, уверенный, что задает риторический вопрос. Денег не было.

– А я кольцо продам! – решительно заявила Маня, сжав губы в ниточку.

Манино колечко не представляло особой ценности – просто тонкий золотой ободок с крошечным рубином, единственная в семье память о матери. О Мониной, конечно же, матери. От Маниных родных не осталось ничего, кроме старого дома в деревне, доставшегося ее дальним родственникам. Маня тогда заявила, что родственники эти бедные и им дом нужнее. В город приезжала только Манина племянница Люся, привозила осенью в подарок мешок картошки. Не толстая, но крепко сбитая, она и сама была похожа на картошку – нос картошкой, щеки картошками. Маня нежно гладила картофелины, подолгу смотрела на гладиолусы, которые Люся вынимала из того же картофельного мешка. Маня Люсиной семье была готова отдать последнее, деньги посылала, собирала для них посылки, любовно складывая вещичку к вещичке.

По Маниному мнению, все на свете было всем нужнее, чем ей самой. Ладно бы она просто все свое личное отдавала, а то ведь получалось, вместе с ней страдала и Лиза. «Отдала им домик, теперь вот колечко пропадет», – думала Лиза, но смысла обнародовать свои мысли не видела. Маня бы ее просто не поняла, а мнения остальных никакого значения не имели.

– Манечка, кошечка! – Мягкое «кошечка» подразумевало нежно-кокетливую женщину и, обращенное к такой крупной, неповоротливой, совершенно непоэтической Мане, звучало странно и трогательно. – Зачем же колечко продавать, оставим Лизе на память о прабабушке, – робко предложил Моня.

– Да, мама, подумайте, может быть, папа прав? Это же память... – Веточка так нежно относилась к свекру, что жалость пересилила привычку подчиняться.

Лиза понимающе переглянулась с матерью и, наклонившись, прошептала ей на ухо:

– Скажи ей, я не хочу на дачу, пусть лучше останется колечко.

– Мама, Лиза не хочет на дачу, – озвучила Веточка Лизин шепот.

– Ах, вы так! Ну ладно! – фыркнув и резко развернувшись, Маня с неожиданной для ее полного тела резвостью выскочила из-за стола. –

Шепчешься, значит, с дочкой против меня! А ты, Лиза! Значит, больше маму свою любишь, чем меня!

Маня со страшным лицом стояла над уже плачущей невесткой. Костя бессмысленно суетился между матерью и женой. Веточка рыдала и приговаривала сквозь слезы: «Она и так никогда... и за что... почему в выходной день... никогда нельзя мирно... просто позавтракать... она и так никогда...» Чтобы быстрее всех успокоить и помирить, Моня громко, с подвизгиванием кричал. Лиза, плача, поочередно хваталась руками за мать и бабушку. Как хорошо, что подобные выплески эмоций случались в семье Бедных нечасто...

Слава богу, что всю неделю взрослые жили своей отдельной жизнью. Маня работала медсестрой в приемном покое Куйбышевской больницы, раскинувшейся полуразвалившимися корпусами девятнадцатого века в огромном парке в двух шагах от Невского проспекта. Необходимость больницы в городе так же органично совпадала с монументальностью ее зданий, как важность Мани для ее небольшого семейства совпадала с ее внешней внушительностью. Дома Маня часто забывала сменить значительное больничное выражение лица на что-нибудь попроще и использовала тот же командный голос, которым она сутками распоряжалась у себя в приемном покое – больного туда, больного сюда, и сердито кричала по телефону: «Куда везете?! Сказано вам русским языком – мест нет!» Моня чаще всего слушал приемник, растянувшись на своей оттоманке. Маня и Вета из прихожей сразу бросались на кухню и у телевизора появлялись только к программе «Время».

Перед чужими Лиза немного стыдилась крупной громкоголосой Мани с ее простонародными интонациями и словечками. Маня могла запросто, расслабившись, выдать что-нибудь вроде «я ентого соседа знаю, у его жена в зеленом пальте». Сын не замечал или не разрешал себе замечать, невестка Веточка страдальчески морщилась, и только Лизе, одной из всей семьи, позволено было сказать: «Ну что ты, бабуля, ты же всю жизнь живешь в Ленинграде, а говоришь, как будто вчера из деревни приехала!»

Моня – не полный, но одышливый, с крупным носом, утопающим в мясистом лице, – часто бывал дома днем, но Лиза не раздражалась его шуточкам, правда, если он шутил наедине с ней. Его речь была правильной, городской, но проскальзывала в ней странная неуловимая интонация, и от этого тоже становилось неловко.

Вот вчера, например, Лиза с подругой делали уроки, а дед подкрался сзади и как грохнет им прямо в уши:

– Хватит вам задачки решать! Учитесь, девки, петь и плясать, работать

и так придется!

Девочки оглянулись с потусторонними глазами, все в своих формулах, а довольный дед, похожий в отвисших домашних брюках на резинке на Карлсона, стоит позади и ухмыляется.

* * *

Лиза деда любила и старалась его как могла от Мани защитить. В обычной жизни дед никогда не пил, только после редких встреч с фронтовыми дружками возвращался немного веселый, но случалось, находило на него желание пошалить. Тогда дед укладывался на диван с бутылкой пива и противным голосом завывал:

– Напилася я пьяна... не сойду я с дивана...

– Дед, тебя Маня убьет, – переживала Лиза.

– Твоя бабуля на меня в ссоре, – жаловался Моня, кося хитрым глазом.

– Дед, проси скорей прощения, – советовала Лиза.

Страшно все-таки быть с Маней в ссоре.

– Не буду! – упрямылся Моня, играя лицом. – Ни за что! Для девушки честь дороже!

Дед был чудный, смешной, но годился исключительно для домашнего употребления. Для себя самой Лиза хотела иметь только деда, лишь с ним она чувствовала себя в уютном коконе нежности и всепрощения, но перед чужими Лиза стыдилась Мониной неряшливости, нездешности его шуток и даже растекающейся по его лицу непомерной доброты.

Лизе и за родителей тоже бывало стыдно. Мало того, что простые инженеры, даже диссертации не защитили, так еще и гордились этой своей бессмысленной профессией. Веточка и Костя скучно и бедно прозябали в НИИ, Лиза только презрительно кривила губы, когда они начинали обсуждать свои проблемы. Чем болтать о всякой ерунде, лучше бы посмотрели, как другие люди живут, как некоторые девочки в ее школе одеваются, как ребят на машинах по субботам забирают...

Лиза была уверена, что в семье Бедных ее родители – последние «бедные», она сама будет жить совсем иначе. Но знала, что надеяться ей придется только на себя: ни родители, ни дед с бабкой ничем ей не помогут.

У Бедных много родственников. Чтобы усадить всех, кто придет вечером поздравить Маню, Косте с утра пришлось спускаться к

дружественным соседям с третьего этажа одолжить кухонный стол – его, как обычно, подставят к полированному столу специально для детей. Разделение на детский и взрослый столы происходило не только согласно возрасту, но и семейной иерархии: за детским столом, например, регулярно оказывался недостаточно любимый Маней Алик, муж племянницы Танечки.

Сказать, что Маня кого-то из своих не любила, было бы несправедливо. Солнце равно светит всем, и Манина материнская рука простиралась надо всеми, и око Манино бдительно следило за всем ее хозяйством, но все-таки при всем своем величии и она была человеком, поэтому были в семье отдельные личности, пользовавшиеся меньшим ее благоволением. Меньшим – лишь в сравнении с большим, она и для нелюбимых была готова на все.

...Семья Бедных – одна из ветвей большого клана Гольдманов. Старшее поколение – четверо родных братьев и сестер: Михаил Бедный и Наум, Лиля и Циля Гольдманы. Дети время от времени удивлялись, почему все члены семьи – Гольдманы и только Моня носит фамилию Бедный. Взрослые неопределенно пожимали плечами и переводили разговор на другие темы. «А почему у всех дедов и теток разные отчества? – интересовались дети. – Наум Давидович, Михаил Данилович, Цецилия Семеновна и Лилия Львовна? Родные братья и сестры! Как же так?» – «Вырастешь – узнаешь!» – отвечали взрослые, а дети, вырастая, забывали узнать, собственная их жизнь заслоняла интерес к каким-то пыльным семейным историям.

Центром огромной семьи Гольдманов была Маня – Марья Петровна Бедная, всего лишь жена младшего брата – Мони, даже не носившая фамилию Гольдман. Она лечила в своей больнице их многочисленные болезни, разбиралась в семейных ссорах молодых пар, строго пресекала пробегающее между стариками взаимное недовольство, не давая обидам разрастаться и пускать корни.

Именно Маня следила, чтобы ручеек каждодневного семейного общения не пересыхал, ежевечерне обзванивала всех, усаживаясь у телефона часа на два. Она сообщала племяннице Дине, дочери Наума, как сегодня чувствуют себя тетки, а теткам, что у Дины с утра болит голова и та забыла надеть дочке Ане рейтузы, что Моне купили голубую рубашку, а Лиза получила три пятерки. Если нет ежедневного обмена новостями, какая же это семья? Откуда русской Мане, давно потерявшей связь со своими деревенскими родственниками, был известен этот характерный для

больших еврейских семей способ существования? «Если бы не ты, мама Маня, то у нас давно не было бы никакой семьи, а были бы... так себе родственники, причем дальние», – говорил Динин муж Додик, обнимая Маню.

Ждут гостей. Маня с напряженным генеральским лицом, затаив веревкой продраный под мышками ситцевый халат, с утра гоняет Моню, Костю и Лизу то в магазин, то просто из комнаты в комнату. Веточка молча выполняет ее распоряжения на кухне – моет, режет, размешивает.

На звонок выбегают все, толпятся в маленькой прихожей, торопятся расцеловаться с родственниками, Додиком и Диной. Вместе с Додиком в дом входят веселье, суета, громкий смех. Он одновременно обнимает Веточку и Лизу и, наклоня рукой Динину голову, важно произносит:

– Познакомьтесь, это моя троюродная жена! – Додик годами говорит эту фразу сразу же после «здравствуйте», и она неизменно вызывает улыбки.

Родственные отношения в семье запутанные. Чтобы долго не разбираться, можно, как самое последнее поколение, считать, что все приходится родственниками всем. На самом деле старшая дочь Наума Дина Гольдман вышла замуж за своего троюродного брата Додика Гольдмана, так что ей даже не пришлось менять отцовскую фамилию.

Динина мать, первая жена Наума, Мурочка, умерла во время блокады, но для всех у Наума только одна жена – Рая. Дина называет Раю «мама», и Наум никогда не вспоминает о Мурочке, как будто ее и не было. О ней не говорят, из бедной нежной Мурочки сделали семейную тайну, а может быть, искренне забыли о ней, чтобы не делать Рае больно. Когда-то давно молоденькая Рая при упоминании о первой жене своего мужа щурилась беспомощно и злобно, потом потихоньку куда-то исчезли довоенные фотографии Наума и Мурочки с Диной на руках. Так этот брак и растворился в прошлом, как будто никогда не жила бедная нежная Мурочка, а была только пышная громкоголосая Рая.

Дина называет Раю «мама», а Маню – «мама Маня». Маня прожила с крошечной болезненной Диной всю войну, выходила ее в блокаду, увезла в эвакуацию. Дети этих древних историй не знают и отношения вокруг себя воспринимают как данность, не вникая в подробности.

Додик с Диной, любимейшие Манины племянники, горделиво выставляют перед собой дочь, пятнадцатилетнюю Аню, Лизину сестру-подружку. Лиза ревниво отмечает, что Аня сегодня в новом платье, красные и белые клетки смешиваются в Лизиных глазах, она изо всех сил старается

не заплакать от обиды. Почему Аньке опять новое платье, а у самой Лизы одно, официально назначенное нарядным? Платье, оранжевое с широким поясом, сшито в районном ателье из колючей пальтовой ткани. Лиза в нем уже второй год чешется, в театре и в гостях, она и сейчас еле сдерживается, чтобы не почесаться при всех.

Дина тихо, жалобно и одновременно требовательно обращается к Мане:

– Мама Маня, я неважно себя чувствую... и у Ани опять по математике две двойки подряд...

– Ну, посмотрим, придешь ко мне, кровь сдашь... – отвечает Маня, непроизвольно притягивая к себе Лизу-отличницу, злорадно блеснувшую улыбкой.

В Маниных глазах гордость за внучку мгновенно сменяется участием.

– У меня еще кашель по утрам, ты слышишь?! – Обиженная недостаточным вниманием, Дина тянет Маню за рукав в маленькую комнату, где, кроме кровати и оттоманки, помещались шкаф со стеклянными дверцами, через которые просвечивали Манины платья и Монин костюм, и большой, затянутый пупырчатым коричневым сукном радиоприемник с круглыми ручками. Приемник был таким массивным, что определял себя отдельной мебельной единицей. Его накрытая кружевной салфеткой крышка была, как тумбочка, заставлена белыми слониками, коробочками с пуговицами и запонками, блюдцами с лекарствами и фотографиями маленькой Лизы. С приемника на Маню с Монею смотрел бывший Лизин любимец, медведь с продраным красным флагом в облезлой лапе. В этих семи метрах предпочтительно было находиться на лежащих местах: к радиоприемнику, например, удобно было подползти со стороны оттоманки, а открывать шкаф, сидя на кровати, тогда одежда вываливалась на кровать, стоило лишь протянуть руку. Нельзя сказать, что здесь, рядом с кружевным белым покрывалом, витал дух дальних странствий, но почему-то на шкафу громоздились два готовых к выходу потертых картонных чемодана с большими металлическими замками. Дина усаживается на металлическую кровать и что-то нашептывает хозяйке на ухо, придерживая для верности рукой. Дина всегда приходит первой, чтобы успеть пошептаться с Маней. Получив свою долю сочувствия, она отваливается от нее, как насосавшийся молока ребенок.

Додик с Диной никогда не приходят без подарка Лизе, и сегодня она с утра в нервно-приятном предвкушении. Сейчас старательно демонстрирует безразличие к аккуратному пакету, перевязанному веревочкой. Лиза рассеянно принимает пакет из Додиковых рук, подчеркнуто радостно глядя

ему в глаза: «Главное для меня – это ты, Додик, а не твой подарок!» – и одновременно пытается на ощупь определить, что внутри. Кажется, пакет мягкий, значит, не книга, а какая-то одежда!

– Опять ты, Додик, с подарком, ты слишком балуешь Лизу! – недовольно тянет Веточка.

...Когда Лиза была маленькой, она мечтала родиться у Додика с Диной. Заснуть бы дочкой вялых и скучных Веточки и Кости, а проснуться... Додик станет ласково пощипывать ее, называть «моя мусенька», дарить красивые платья и каждый день заставлять съесть все до крошки... И жить в богатой, заставленной красивыми вещами квартире, где повсюду книги, цветы, а мебель меняется каждые несколько лет...

Равнодушная к окружающим ее вещам Маня и выросшая в бедности Веточка не испытывали неловкости перед богатыми родственниками. За них обеих с утроенной силой стыдилась Лиза.

Сразу за коридором располагалась гостиная, которую в семье Бедных простодушно называли «большая комната». В большой комнате чувствовалось влияние времени, витали флюиды борьбы старого и нового быта, и со всей очевидностью побеждало новое. Вдоль стены вытянулся диван с блеклой обивкой в голубоватую крапинку, по углам разбежались бежевые в рыжеватых разводах полированные сервант и секретер, в центре комнаты – прямоугольный стол, покрытый синей плюшевой скатертью из недр Маниного шкафа, а у окна – два низких тонконогих кресла, интимно образующих треугольник с тонконогим торшером в вершине, метровой желтой металлической палкой с нахлобученным сверху голубым пластиковым ведрообразным абажуром. Когда-то за гарнитуром долго стояли в очереди, сын с невесткой бегали отмечаться ночью, всей семьей радовались, что достали подешевле, с браком. Брак состоял в отсутствии тумбы, поэтому телевизор красовался на старой темной тумбе с вечно приоткрытой дверцей. С телевизора свисала белая кружевная салфетка. Маня следила, чтобы выключенный телевизор всегда был прикрыт, а Веточка, с честными глазами уверяя свекровь в своей забывчивости, украдкой салфетку поднимала. Ворвавшись в комнату, Маня сразу бросала взгляд на телевизор и в два прыжка ликвидировала беспорядок. Свои позиции по части дизайна она сдавала крайне неохотно, в частности, любимое Маней семейство из семи слоников постоянно перемещалось из боковой комнатки прямоком на сервант в большую комнату и обратно, пока не осело окончательно на Монином радиоприемнике. На телевизор Маня упорно ставила чисто вымытую молочную бутылку, а в ней цветок,

нарцисс, например. Веточка морщилась, но бутылку убрать боялась. Маня трогательно любила цветы, а вазочка в доме была одна и занимала постоянное место на серванте. Подковерная борьба Веточки с упрямой свекровью за более современный быт носила скорее условный характер. Сервант вкупе с секретером еще не успели до конца выжить старое, как уже сами перестали быть модными, уступив место следующему витку советского мебельного благополучия – монструозным стенкам. Но о том, чтобы поменять сервант на более современные конструкции, в этом доме даже не мечтали.

Лиза стыдилась нарциссов в молочной бутылке, им следовало бы красоваться в хрустальных вазах, расставленных повсюду, как у тети Дины. Еще ей казалось, что давно следовало бы выбросить цветастый пупырчатый половичок из прихожей, было неловко за дрянные алюминиевые кастрюли и синий обколупанный ковшечек. Ему, наверное, столько лет, сколько Лизе. А чего стоил шкаф в спальне, за стеклом которого просвечивают платья! Отдельной работой было скрывать свой стыд за независимым видом.

Додик придирчиво осматривает Лизу и строго спрашивает:

– А почему ты не надела лакированные туфли, которые мы тебе на день рождения подарили? Они тебе не нравятся? – пытается он проникнуть взглядом сквозь ее туфли, словно пробуя разглядеть внутри еще одни.

– Ну, дядя Додик, я же не могу надеть две пары туфель одновременно! – хихикает Лиза.

– Лиза, не путай божий дар с яичницей! Разве можно сравнить наши туфли и эти обглодыши!

Лизе легко с Додиком, она нисколько его не стесняется, в отличие от собственного отца, ей и в голову не придет обсуждать с ним какие-то туфли.

Сколько живет Лиза на свете, столько думает, что Аню любят в семье больше. Поэтому ей так близок Додик, Лиза чувствует за его веселостью такую же, как у нее, неприкаянность. Додик всем свой, родной, но не такой родной, как Дина, любимая Манина племянница. Получается, что у него никого и нет, кроме Дины.

Из подслушанных разговоров взрослых Лиза знает, что между Додиком и Диной все не так гладко, как кажется. Кроме внешне благополучных, есть еще какие-то сложные отношения, и стоит Додику повести себя неподобающим образом, благолепие нарушится в любой момент. Выстроившись «свиньей», родственники бросятся на защиту

Дининых интересов. Наум, Маня, даже тихие тетки будут на стороне бедной Дины – кровиночки, сироты, оставшейся от бедной, погибшей в блокаду Мурочки. Все помнят, что Дина сиротка, Дина никому об этом не позволяет забыть.

Улучив момент, Лиза вбежала в Манину комнату и быстро проковыряла бумагу пальцем.

– Лиза, где ты? – кричит Дина.

– Какая ты сегодня красивая, тетя Дина! – любитесь теткой Лиза.

Сухопарая, похожая на скучного петуха, с яркими бусами и серьгами, Дина кажется красивой одной лишь Лизе.

Дина довольно поблескивает лицом – яркой помадой на узких губах, запудренным носом ярче щек и аккуратно покрашенными дефицитной французской тушью маленькими глазками с голубыми веками. Застав красную Лизу с дырявым пакетом в руках, Дина понимающе усмехнулась:

– Лиза, давай всех позовем и будем наш подарок мерить.

Там кофточка. Дорогая.

– Знаешь, сколько кофточка стоит? – обернулась Дина к застывшей в дверях Вете.

Отшвырнув пакет, Лиза выскочила из комнаты так стремительно, что чуть не снесла мать и Дину.

За столом собралась вся семья.

Старший, Наум, невысокий, плотный и осанистый, несмотря на близящиеся шестьдесят, выглядит ухоженным и подтянутым. Со спины, выпуклой и пухлой, он напоминает наряженный в костюм матрац, неторопливо перемещающий себя в пространстве шаг за шагом. В его облике выделяются два несоразмерно массивных элемента – живот в белоснежной рубашке, обрамленный полосатыми подтяжками, и щеки, разлегшиеся почти что на груди. По его лицу как траншеи пролегли носогубные складки, такие глубокие, что кажется, в них можно наливать воду. Мохнатые брови, нависающие над тяжелыми веками, и тонкая линия губ между толстенькими уютными брылами – вот и весь Наум: сверху страшный гном, а снизу добрый. Наум отодвинулся от стола с всегдашним безгловым выражением лица.

В Михаиле, Моне, очевидны те же, слегка заретушированные, как на менее резкой фотографии, семейные черты. Помягче, чем у Наума, носогубные складки, не так свисают брылы, не столь дико кустятся брови, а вот взгляд у него совсем иной. Наум смотрит, точно стреляет, – остро и недоверчиво, а Мона – нежно, как будто поглаживает мягкой тряпчочкой.

Моня не такой корпулентный, как старший брат, он повыше Наума, но разница в росте скрадывается тем, что он немного сутулится. Если Наум по праву занимает свое место в пространстве и словно хочет распространиться, чтобы занять еще больше, то Моня старается подвинуться, убрать руки, поджать ноги – сделать все, чтобы занять поменьше места.

Наума и Моню объединяет отдаленное сходство с бульдогом, при этом Наум напоминает воспитанного откормленного бульдога из хорошей семьи, до самодовольности уверенного и в себе, лучшей в мире собаке, и в своих хозяевах, тоже лучших в мире. В Моне, напротив, проглядывает некая недоласканность, неполная уверенность в хозяйском расположении. Бездомность и неприкаянность были бы слишком сильными словами, но вдруг его хозяева не знают, что он лучшая собака в мире?

Моня выглядит более мужественным и крепким, чем его сын. Косте всего тридцать пять, но он уже заметно поплыл, обзавелся животиком-дынькой, слегка опустил обросшие жирком плечи, в общем, приобрел контур, который с годами будет лишь расширяться, повторяя уже наметившиеся очертания. Ничего не поделаешь: метро, стул в НИИ, опять метро, диван у телевизора, с него Костя катапультировался в кровать, стоять приходилось только в час пик, все остальное время Костя проводил в положении сидя или лежа. Еврейские черты проявились в нем ярче славянских, у него были темные глаза и мохнатые брови Гольдманов. Но русская кровь все же неуловимо ужесточила мягкость лица, в твердо очерченном овале которого не было даже намека на семейные мешочки брылей. Костя был красив: без следа деревенской простоватости Маниной родни, но и не типичный семит, как Моня.

Лиля и Циля не воспринимались в семье по отдельности, все, включая обоих братьев, называли их «тетки». Маленькая сгорбленная Лиля, с сильно отвисшими к старости щечками, была некрасива. Некрасива настолько бесповоротно, что ей не удалось сравняться с другими старушками даже в усредненной непривлекательности. Некрасивая – да, но зато, в противоположность младшей сестре Циле, от нее исходило тихое уютное спокойствие.

Лиля была предана братьям, их детям и внукам, но преданность ее казалась спокойной и вторичной. Никто из родственников не возбудил в ней любовного материнского чувства. Она искренне переживала за них, качала головой и хваталась за сердце, когда-то давно даже открывала свой скудный кошелек для юных племянников, но ничьи горести ни разу в жизни не помешали ей мирно заснуть. Ее невозмутимое треугольное

личико, обрамляемое разделенными на прямой пробор гладкими волосами, было очень приятно всем, кто в данный момент находился в смятении чувств. Братья и племянники часто приходили к Лиле и молча сидели рядом, набираясь ее спокойствия. Если, конечно, рядом не случалось второй сестры, чуть покрупнее крошечной Лили, но занимавшей в пространстве несоразмерное своему небольшому телу место.

Циля смеялась, стреляла глазами, хмурилась и восклицала – в общем, выпаливала энергетическими сгустками в окружающих, утомляя их, как перманентный Новый год. «Наша Цилька – чистый цирк!» – говорил Мона, и выражение лица у него при этом всегда делалось чуть сожалеющим, как будто он мысленно разводил руками и просил прощения. Будь Цилька чуть менее праздничной, считал он, она вышла бы замуж, а вот желающих терпеть рядом всегда возбужденно подсакивающую жену не нашлось. Циля ярко красилась в стиле довоенного идеала красоты и теперь, задержавшись в нем, выглядела со своими малиновыми губками бантиком, по выражению того же Мони, как «старая барыня на вате». Ее голову, как и у Лили, разделял пробор, только, в отличие от аккуратной приглаженной головки старшей сестры, по обе стороны от ее пробора жестко кудрявились два пучка густых, до сих пор почти черных волос.

Если окинуть внимательным взглядом собравшихся в этот вечер за Маниным праздничным столом, то у всех, кроме русских жен – хозяйки дома и ее невестки Веточки, – высвечивались семейные черты. У братьев и сестер ярко, у следующего поколения чуть менее выраженно, а у внуков едва проступали совсем иным временем нарисованные лица.

Маня и Рая были несхожи настолько, будто относились к разным поколениям. Сто шестьдесят восемь сантиметров Маниного роста, позволявшие в довоенной юности дразнить ее «каланчой», теперь определяли ее как женщину хорошего роста. На первый взгляд аккуратно полная, крепкая Маня резкими движениями и неуклюжими жестами напоминала какого-либо персонажа мультфильма, старшего медведя, например, или растолстевшего Железного Дровосека. Но поворачивалась громоздкая Маня на удивление легко и резво, в неуклюжести ее проступала трогательная безыскусственная грация, так что именно подчеркнутая ее неловкость почему-то завораживала сильнее, чем иное очевидное изящество. У нее были неожиданные для такой крупной женщины маленькие кисти рук с коротковатыми, распухшими в фалангах пальцами и хорошей формы ноги, крепкие и икрастые, правда, с толстоватыми щиколотками и широкими ступнями, не влезавшими ни в какие туфли-лодочки и выдававшими ее крестьянское происхождение. Манины косы с

юности не претерпели значительных изменений, разве что поредели. Достигнув определенного возраста, Маня все же сменила пионерскую корзиночку из светлых косичек на небрежно прищипленный к затылку узел седых волос с выбивающимися во все стороны прядями, которые она непрерывно пыталась вернуть на место, коротко встряхивая головой. Если Маня встряхивала головой слишком сильно, из узла вылетали шпильки. Поседев до серебряной белизны во время блокады, она никогда не обременяла себя окраской волос, так с двадцати четырех лет и носила свою откровенную седину. Улыбалась Маня всем лицом, обнажая сразу все хорошее и плохое – великолепные белые зубы, среди которых прямо по центру бросались в глаза железная коронка и сломанный передний зуб.

К пятидесяти с лишним Маня, похоже, давно попрощалась с женской жизнью, но в ней легко угадывалась красивая, по-настоящему красивая в прошлом женщина. Красоту свою Маня потратила бездарно, но, ни разу в жизни не взглянув на себя в зеркало со свойственной красивым любовью, она все-таки умудрялась быть красивой, несмотря на металлический зуб, разрезающий улыбку на равные части, на некоторую утиность носа и на феноменальную небрежность в одежде.

– Боже мой, мама Маня, запихнуть такие красивые ноги в эти ужасные шерстяные чулки в рубчик! – ужасалась Дина. – Я же столько капроновых чулок тебе дарила, куда ты их только деваешь?

Маня неопределенно махала рукой куда-то в сторону, видимо, подразумевая находящихся в этом направлении деревенских родственников. Самой Мане было уютно в темных рубчатых чулках, у нее и эти-то чулки всегда ползли по ногам. Перекрученные чулки она вообще не считала беспорядком в одежде. Когда Маня в молодости надевала чулки со стрелками, Моня с удивлением указывал ей на стрелки, почему-то оказавшиеся у жены на коленях, а сама она лишь удивленно отмахивалась. Какая не стоящая внимания ерунда, подумаешь, стрелки там, стрелки тут! Блузка у нее обязательно выбивалась из юбки, из-под платья торчала комбинация, платок скособочивался, а застежка кофты всегда была перекошена так, будто кто-то только что тряс Маню, схватив за грудки.

Женская Манина суть самодостаточна и без всех этих глупых мелочей: сильная, видная женщина, жестковатая и пресная на вкус, основательно стоящая на своих крепких ногах в рубчатых чулках. Смотрела Маня на мир уверенно и даже напористо, только в самой глубине глаз притаилась готовность к тому, что ее могут обидеть, даже наверняка обидят, почти точно обидят.

У Мани ни следа косметики на лице, кроме ярко-красного пятна на

щеке от Динино поцелуя. Ее не назовешь «дамой», как Раю, ни за что не желающую мириться с грядущим пятидесятилетием. Рая раскрашена синими тенями в тон блузке и ежеминутно подмазывает губы розовой девической помадой. Резкими носогубными складками и чуть отвисшими щеками с годами она стала походить на мужа, как младшая сестра. Всегда желавшая во всем быть первой, Рая отказалась от мысли играть роль жены патриарха, несмотря на то что роль эта по праву была ее, ведь это она – жена старшего брата. Признавая Манину страстную преданность семье, она лишь осторожно посмеивалась над ее чудом сохранившимся деревенским говором, манерой одеваться и набитыми хозяйственными сумками.

Раина огромная грудь расположилась на столе, подвинув тарелку и рюмку. Рядом с ней Дина со своим троюродным братом-мужем Додиком. Рядом двадцатипятилетняя дочь Наума и Раи, хорошенькая, как кукла-цыганочка, Танечка с мужем Аликом, зубным врачом.

Сидя в центре стола, Маня удовлетворенно обзревала свое хозяйство. Она гордилась, что именно она собирает всех вокруг себя, и даже молодежь, посмеиваясь над ее ежевечерними обзвонами, тем не менее признавала Манино право на руководство семьей.

– Тетя Маня, я расскажу анекдот, можно?

– Додик, без глупостей, здесь дети! – строго отвечает Маня.

– Ну, тетя Маня, что я, не понимаю... Так вот. Исаака спрашивают: «Исаак, ты почему такой грустный?» – «Меня сняли с должности парторга». – «Почему?» – «Какая-то сволочь донесла, что я беспартийный!»

Все смеются, но истинная суть анекдота о беспартийном парторге выясняется позже.

– Тетя Манечка, все, послушайте! Вы не догадаетесь, что со мной случилось! – возбужденно-торжественно объявляет Додик.

Дина выпрямилась, горделиво оглядывая родных. Аня притягивает ее беспокойный взгляд постоянно, и даже сейчас, в момент радостного торжества, она машинально говорит дочери:

– Одерни рукава, запачкаешь... Убери локти со стола, не чавкай, ешь с закрытым ртом!

Аня убрала локти и перестала чавкать.

– Ну, Додик, может быть, ты нашел сто рублей в трамвае, что теперь так скачешь?! – насмешливо отзывается Додиков тесть Наум. Наум всю жизнь мечется между скептическим отношением к Додику как к зятю и привычно нежным как к племяннику, но чаще склоняется в сторону

насмешливости.

– Нет, дядя Наум, меня назначили парторгом!

Додик смеется, не в силах сдержать восторг, а Дина небрежно-гордо улыбается, останавливая радостно блестящие глаза на двоюродном брате Косте. Ошеломленное молчание за столом прерывает Костя:

– Как это может быть, Додик! Ты, может, сам забыл, но разреши тебе напомнить, что ты еврей!

– Я – редкий экспонат! Снежный человек! Гордость ленинградской партийной организации! – щедро предлагает различные варианты Додик. – Видно, и на парторгов-евреев бывают разрядки! К тому же в нашей ячейке, кроме меня, еще три человека – Кацман, Розенцвейг и сильно пьющий Васильев. Скажите мне сами, из кого было делать выбор? – пародирует Додик еврейский акцент.

– Ну, Додик, поздравляем! – галдят удивленные родственники.

– Поместите меня в музей! Приходите ко мне! Мои приемные дни вторник и пятница! – радуется Додик.

Глаза младшего зятя Наума, Алика, презрительно блеснули.

– Додик, фу. Тебе мало того, что ты и так уже член партии, так теперь еще и парторг!

В ответ Маня, набычившись и чуть ли не клацая зубами от нетерпеливого желания защитить Додика и его несомненные успехи, строго отвечает:

– Додик всю жиссь старается! Ты, Алик, сначала добейся в жизни всего, как Додик, а потом уже губы криви!

Маня недолюбливала Алика за попытку обособления, нарочитое противопоставление своего мнения мнению семьи. Заметив, что Алик напрягся и готовится возражать, Танечка пнула его под столом: «Не смей спорить!» – а Наум грозно нахмурился. Глазами он строго сказал Алику: «Сколько раз тебе было сказано, главное – мир в семье! Не лезь к Додьке, пусть живет как хочет, и не дразни беднейшее крестьянство».

За глаза Наум по старой, еще довоенной привычке называет Маню «беднейшее крестьянство», но былую насмешку в этих словах давно уже заменила любовная ирония. Случайно попавшая в большую еврейскую семью деревенская девчонка незаметно превратилась в Главу. Маня, правда, старшинство Наума учитывала, и если и распоряжалась им, то распоряжалась почтительно, не забывая Наума уважать.

– Ты не понимаешь, Алик, что у Додика открываются новые возможности, – тихо говорит Дина.

О Додиковых «возможностях» в семье хорошо известно. Никогда не

обсуждалось, откуда у Додика в его научно-производственном объединении, выпускающем холодильные агрегаты, какие-то преимущества, отличные, например, от Костиного отсутствия любых возможностей. А ведь Додик и Костя с Веточкой учились в одном институте! Все просто пожимали плечами и признавали как некую данность, что Додик умеет жить, Додик делает деньги, «крутит дела», но как именно – оставалось загадкой, не интересующей, впрочем, никого. Додик не рассказывал, а спросить, не выносит ли он, случайно, холодильные камеры через проходную своего предприятия и не продает ли их тут же за углом, в голову никому не приходило.

Кроме источника Додикова богатства в семье никогда не обсуждалась еще одна сторона его жизни, а именно интимные подробности их с Диной супружеских отношений. Вернее, не так: не то чтобы это не обсуждалось в семье, а не обсуждалось всей семьей.

Дина ходила то к Мане, то к теткам, то к отцу с Раей и, опустив голову, тихим голосом, без всякого выражения монотонно рассказывала, что Додик вчера не пришел ночевать, а еще она вытащила у него из кармана чей-то надушенный платок, и вечером ему, не постеснявшись, звонила некая особа... Когда же вся семья, как сегодня, собиралась вместе, на виду оставалась только Динина успешность, обрамленная обеспеченностью, комфортом и недостижимыми для остальных деталями быта. Каким-то чудным образом Додиковы похождения существовали отдельно, а Динина удачная семейная жизнь – отдельно.

В семье были приняты негласные правила Додикова поведения, и Додику было прекрасно известно, до какой степени он может расслабиться. Рассовывать по карманам чужие надушенные платки разрешалось раз в месяц, но не чаще. Не ночевать дома позволительно, а вот допускать звонки молодых особ домой – покушение на святость семейного очага, требующее вмешательства родных. Спасали Додика детское непостоянство в привязанностях, искренняя, рвущаяся через край любовь к жизни и к женщинам как к части жизни и признанная родными Динина неэмоциональность и скучность. Семья привыкла нести крест Дининой некрасивости, считая, что взамен своей устроенности Дина обязана дать Додику немного свободы. «С Диной жить – как сено жевать, она, кроме как о деньгах, и говорить ни о чем не может! Разве такого мужчину удержат ее рюмки и вазочки!» – шептала тайно и совершенно невинно вздыхавшая о Додиковом жизнелюбии Веточка своему вялому Косте. Костя, возможно, не находил Дину столь скучной, но жене не возражал. И об удерживающей

силе рюмок и вазочек сама не имевшая ни малейшей хозяйственной власти Веточка судила неверно. Если что-то и послужило причиной того, что с годами Додик стал больше считаться с женой, то это были именно блестящие чистотой их общие рюмки, вазочки и книги – идеально удавшийся Дине красивый и достойный быт.

Дина не забывала напоминать мужу, что благосостоянием они обязаны ее отцу. Тихим учительским голосом Дина говорила «мой папа», и Додик тут же представлял себе, как долго, при всех его, Додиковых, способностях и связях, им пришлось бы ютиться в коммунальной комнатке. Или в крайнем случае получили бы они от государства такую же хрущевку, как семья Бедных, если бы не Наум, купивший им в свое время кооперативную квартиру.

Постепенно признавая ее непререкаемую хозяйственную власть и уже не смея без ее разрешения переставить чашки на полке старинного резного буфета, Додик и не заметил, как эта женская пустяковая власть распространилась на все сферы их жизни. Например, воспитанием дочери занималась только Дина, а сам Додик как будто со стороны любовался на свою безупречную семью. Оставляя ему мужские развлечения, Дина забирала все большую власть, вначале, как он считал, только в быту, а теперь оказалось, что он иногда и думал с оглядкой на нее. Иногда Додик испуганно задавался странным вопросом: не изменяет ли он жене с ее полного разрешения? Сейчас по каким-то своим причинам она разрешает, а если вдруг не позволит, то и изменять он ей перестанет, так всю дальнейшую жизнь и будет привязан к ее совершенно неинтересному телу. Думать об этом страшно, а Додик любил радоваться и быть счастливым. Вот он и был счастлив. А может быть, умная Дина любила его и хотела, чтобы он был счастлив? Для нее. Ведь с несчастливым Додиком и сама Дина будет несчастлива.

Пережив ужасное, как считала Дина, сиротское детство, она непременно должна быть счастливой! И она была, как и Додик, очень счастлива! И на Вету смотрела победительно. «Смотри, – говорил ее взгляд, – я-то живу с настоящим мужчиной, он всем нужен, как хороший товар на рынке, а твой всем, кроме тебя, без надобности». Мама Маня ее за измены мужа исправно жалела, но, впрямую не защищая Додика, разговор всегда заканчивала одинаково: «Все ж таки подвезло тебе, Дина!»

Кроме семьи, Дина собственными руками тщательно сделала и себя. Гимнастика и массаж, яркие украшения и каждодневный безукоризненный макияж, конечно, не превратили Дину в красавицу, но с годами помогли ей стать почти интересной. Во всяком случае, к сорока годам ее внешность

наводила на мысль о затраченных усилиях и вызывала уважение. Лиза смотрела на Дину затаив дыхание, как на новогоднюю елку, и восхищенно говорила: «Какая же ты красивая!» В ответ на очередное Динино хвастовство Вета шепотом называла ее «распустившим хвост павлином» или, того хуже, «мороженой нототенией».

При слове «нототения» у Лизы всегда возникала ассоциация с южным отдыхом. В Крыму они все вместе лежали на пляже, расставались только на время обеда. Лиза с родителями пристраивались к очереди в засиженной мухами столовке, где в меню было блюдо с нездешним красивым названием «нототения», оказавшимся мерзкой на вкус и на вид рыбой, а Додик с Диной и Аней каждый день трапезничали на террасе ресторана с белыми скатертями и цветами в центре стола. От крымского отдыха у девочек остались на память красные пластмассовые шарики с фотографиями внутри: они стояли обнявшись – толстушка Аня с улыбкой до ушей в красивом купальнике и тощая Лиза с напряженным лицом в глупых трусиках «парашютом».

Кроме пластмассового шарика, на память о той поездке у Лизы осталось еще кое-что... Ехали в поезде, в одном купе Дина с Веточкой и девочками, а мужчины отдельно, с чужими соседями. Додик забегал к ним поминутно, то что-нибудь приносил, то просто щекотал или щипал Аню, то спрашивал у нее: «Как ты, пупсик?» Это было привычно и необидно.

Вечером, когда Лиза с Аней уже засыпали на верхних полках, Додик зашел в купе, тихонечко подоткнул дочери одеяло и, поглаживая ее по голове, что-то нежно зашептал ей на ушко. Заметив, что Лиза шевельнулась на своей полке, Додик и ее погладил по голове. Лиза сдержалась, не заплакала... У Дины с Додиком есть машина – «Жигули» самой последней модели, а глупая Анька считает, что машина – это принадлежность жизни всех, а не избранных счастливиц. Как бы Лиза гордилась, если бы это ее отец, а не Додик, по выходным, горделиво поглядывая по сторонам, усаживал родственников в машину!

У Ани все лучше, красивее, дороже! Платья, туфельки и даже портфели, купленные Додиком в одном магазине, кажутся Лизе разными, и канцелярские принадлежности у них отличаются, даже зеленые тетрадки за две копейки у Ани лучше!

Толстую Аню начали учить фигурному катанию, слава богу, что почти сразу выгнали за полную неспособность, даже стоять на коньках она не научилась, валилась на бок, как куль. Аня бессмысленно тарабанит по пианино «Petrof», ненавидит уроки музыки и жалуется Лизе. Лиза делает вид, что жалеет сестру, а сама думает, как быстро она, Лиза, научилась бы

играть... Маленькая Лиза завидовала маленькой Ане, а теперь детская зависть в прошлом, они уже взрослые: Лизе пятнадцать, Ане четырнадцать...

– Анька, давай вылезем, – ущипнула Лиза сестру. – Хватит уже есть, лопнешь!

Дожевывая соленый огурец и ухватив по дороге еще один кусок копченой колбасы, Аня послушно поползла по дивану вслед за Лизой. Лиза мигнула: «Давай под стол, как всегда!» И девочки нырнули вниз. Ноги Дины в тонких капроновых чулках, сухие и кривоватые, прижимались к дивану, как будто старались занять как можно меньше места. Рядом уверенно стояли икрастые и крепкие, как у молодой женщины, темные ноги Мани в рубчатых чулках. Стройные, с сухими лодыжками, неприметного мышинового цвета, переплелись Веточкины длинные ноги. Рядом с ними, непрерывно меняя положение, приплясывали серые брюки Додика. Девочки проползли между ногами, вылезли из-под стола и направились в спальню, сопровождаемые Дининым окриком:

– Аня! Ты поела? А курицу пробовала? Пирог? Холодец? Точно больше не хочешь? А маринованную рыбу? – быстро перечисляла Дина, окидывая быстрым взглядом стол.

Аня утвердительно мотала головой. «Дина сама на вкус как маринованная рыба, кисло-сладкая», – подумала Лиза и засмеялась своей дикой мыслью.

– Аня, поправь платье и не сутулься! – озабоченно добавила Дина.

Аня поправила платье и выпрямилась.

– Еще поешь! – хлопотливо крикнул Додик вслед дочери.

– Ласточка, красавица наша... – растроганно приобнял Аню Наум.

– Да-да, ласточка, красавица, – согласно кивнула Маня.

Веточка, единственная в семье считавшая Аню красавицей с некоторыми оговорками, незаметно переглянулась с мужем, наступив ему на ногу под столом, чтобы быть уверенной: он все отметил и понял.

Аня была толстой. Не приятной пухлой толстушкой, а по-взрослому рыхлой и бесформенной. Ноги столбами, расширившись через круглый кольшующийся зад, переходили в мощную спину с валиками жира, из массивных плеч торчала еще одна жировая складка. А венчалась вся эта жирная горка внезапно очаровательным большеглазым румяным личиком с припухлыми, яркими губками сердечком, как у дамы червей. Сквозь всегда чуть приоткрытые губки виднелись неожиданно белые для ленинградской девочки зубы. На конфетно-красивом лице странно смотрелись тонкие темные брови, разлетающиеся к вискам таким смелым изгибом, как будто

Аня была вначале задумана не просто кукольно-хорошенькой, а красивой необычной, значительной красотой. Робкое обещание тайны прозвучало в этом лице, но Аня словно раздумала становиться пугающе красивой и выбрала умеренность, благоразумно решив быть просто хорошенькой, без изыска и изюминки.

«Неужели они не видят, какая она жирная, ну и что же, что лицо у нее... ну, хорошенькое, как на конфетном фантике, это все равно не настоящая красота!» – думала Лиза, стараясь не допустить на лицо выражение обиды.

– Зато моя внученька – умница, лучше всех в классе учится! – неудачно вступился за Лизу Моня.

Лиза мучительно покраснела. Лизе не досталось семейных непривлекательных черт – ни отвисших щечек, ни кустистых бровей, но и привлекательных не досталось тоже – ни черных цыганистых глаз, ни ярких изогнутых губ, ни румянца. Просто девочка, обычная, никакая, таких миллионы, и некрасивой не назовешь, и не запомнишь, не выделишь из толпы. Миловидная, хорошенькая? Нет, пожалуй, и это звучало для Лизы слишком определенно. Передние зубы выдаются вперед, как у мышки. Мышонок? Да, пожалуй, мышенок подходит. С зубами девочке обидно не повезло, из всех сидящих за столом такие только у Цили. Надо же было бедной Лизе выцепить, поймать именно эту не очень характерную черту, не получив в придачу к ней ни темных глаз, ни пушистых ресниц, ни густых бровей, ни выющихся волос! Вот только прицельно-жесткий взгляд Лизин никак не вязался с общей ее мышиностью. Гены за этим столом изрядно разгулялись, интригуяще распределившись крест-накрест.

Лизе, Мониной внучке, достался атакующий, выстреливающий, на ходу хватающий взгляд Наума, а Анины глаза были задумчивыми, как у Мони.

– Хорошо учиться, конечно, очень важно, но... Давайте откровенно, это никогда не было и не будет главным для девушки, – мгновенно отреагировала на Монино замечание учительница русского языка и литературы Дина.

Страстно желая ежеминутно доказывать себе и окружающим, что все в ее жизни соответствует правилам, Дина, жертвуя учительской этикой, всегда намекала, что Лизины пятерки не стоят Аниной красоты.

– Но у Лизы хорошие волосы, – задумчиво добавила она, кинув на Костю взгляд, в котором ясно читалось: «Посмотри, моя дочь не идет ни в какое сравнение с твоей!»

«Волосы у меня мышинные, я это точно знаю. Если Дина хвалит мои волосы, значит, я совсем уродка», – отстраненно подумала Лиза и потянула Аню в спальню.

В семье гордились Аниной красотой, удивительным образом не замечая, что полнота ее достигла того предела, за которым начинается болезнь. Только Веточка считала, что у девочки явные проблемы с обменом веществ и ее надо показать врачу. Она робко намекала на это Додикку с Диной, но им комфортнее было восхищаться ее действительно чудным личиком и без удержу кормить, наслаждаясь видом непрерывно жующего ребенка.

Дина с Додиком постоянно, не прерываясь ни на минуту, были заняты кормлением. В их семье вообще с большим волнением относились к процессу питания. Они даже соревновались, кто впихнет в дочь больше еды. Обычно Дина оставляла Ане полный обед из трех блюд, к которому обязательно полагались салатик, компот с пирогом и горка любимого печенья курабье.

Сначала звонила Дина, осведомляясь, всю ли сегодняшнюю еду обнаружила Аня.

– Не забудь компот! – волновалась она у телефона в учительской.

Когда Аня возвращалась из школы, Дина, как шептались за ее спиной коллеги, «теряла человеческий облик», названивала дочери и горячим шепотом уговаривала ее скушать еще одну котлету и умоляла доесть до конца суп.

Конечно, Веточка старалась приготовить то, что Лиза любит, а Маня, приходя с работы, всегда спрашивала: «Лиза кормлена?» – но любовной страсти в ее питание никто не вкладывал, тогда как каждый проглоченный Аней кусок был частью Додиковой любви и Дининой заботы...

Толстая Аня казалась родителям незаслуженным подарком судьбы, лучшим ребенком на свете. Правда, Дина постоянно теребила Аню, ежеминутно повторяя: «Не сутулься, прекрати косолапить...» А Веточке все равно, думала Лиза, пусть она хоть сгорбится до земли. Поэтому Лиза сама старалась за собой следить.

Дина любит Аню больше, чем Веточка Лизу. Веточка постоянно подчеркивает, что Лиза обычная, никакая. А еще мама не прочь указать Лизе на ее недостатки. «Некрасивая? – пожимала она плечами. – Ну что же, не всем быть красивыми, и для тебя счастье найдется. Род человеческий уже давно бы закончился, если бы шанс имели только красавицы».

Если бы мама любила ее по-настоящему, рассуждала Лиза, она бы упрямо считала дочь красавицей. Даже Лизиными пятерками Веточка, по

ее мнению, недостаточно гордилась, привыкла к ним и воспринимала как должное. А вот Аню любили так безоглядно, что просто не замечали, какая она уродка с этими ужасными свисающими жирными складками.

Если трезвая, разумная Дина все же видела нездоровую полноту дочери, но ничего не могла с собой поделать и продолжала кормить, то Додик и мысли не допускал, что его обожаемая Аня не самая стройная девочка на свете. Додик был так радостно-наивно убежден, что все принадлежащее ему не только не могло быть плохим, но являлось самым лучшим, что он и Дину искренне считал красивой женщиной. «Были с Динкой в театре, так все просто не сводили глаз!.. Моя идет по улице в новой шубе, все просто падают!» – утверждал он, не испытывая ни малейшего желания по отношению к жене и заставляя себя вежливо исполнять супружеский долг раз в месяц.

Веточка однажды намекнула Мане, что Додика рядом с дочерью за общим столом может вынести только Дина. Он подскакивал на месте, не сводя глаз с Аниной тарелки, вечно ему казалось, что дочери достался не самый вкусный или жирный кусок, он что-то отрезал и перекладывал ей со своей тарелки, растроганно улыбался, наблюдая, как она жует и глотает то самое питательное, что он, Додик, смог для нее добыть. «Все остальные совсем не так увлечены Аниным кормлением, как он», – отметила Веточка с презрительной гримасой. Всего-то один раз позволила себе что-то осудить в Маниных родных, но последовавшее за этим молчание навсегда отучило ее не только осуждать, но и давать оценки. Неделю Веточка вилась вокруг тяжело молчавшей свекрови.

– Для твоей мамы Динина семья на первом месте, – жаловалась она мужу. – Подумать только, из-за такой ерунды... уму непостижимо...

Маня не разговаривала с ней неделю, ждала официального признания вины, пока вконец растерянная Веточка не попросила прощения. Веточка плакала, а Маня сурово смотрела на нее с видом человека, выполняющего нелегкий долг и справедливо ждущего в ответ признания своей правоты.

Когда сирота Веточка впервые невестой пришла к Мане в дом, та, внимательно оглядев будущую невестку, строго велела:

– Меня зови мамой, поняла? А у его, – Маня кивнула на мужа, – всегда мечта была дочку иметь. Его будешь звать папой. И чтобы на «ты».

Веточка послушно пропищала:

– Хорошо, мама!

Сначала каждый раз запинаясь, потом привыкла, и «мама, папа» вылетало легко, но выговорить «ты» было выше ее сил. Мане пришлось удовольствоваться родственно-вежливым «мама – вы», «папа – вы».

Только эти «вы» и отличали ее положение от Костиного, который часто ловил себя на мысли: чьи же родители Маня и Моня, его или Веточкины?

Прикрыв дверь спальни, девочки наконец остались наедине.

К пятнадцати годам Лиза уже начала раздражаться на вечерние семейные сборища, на деда в неряшливо спадающих за резинку кальсон домашних штанах, на отца, лежащего на диване в синих тренировочных брюках с вытянутыми коленями. Она делала уроки за секретером в гостиной, стараясь закончить все до вечера и быстро исчезнуть в спальне. В длинную спальню входили из большой комнаты, у окна стояла широкая, с выгнутой спинкой кровать Кости и Веты, а за платяным шкафом узкая Лизина тахта. Боковиной шкафа Лиза была отделена от своей семьи. Дверца полированного шкафа так блестела, что в нее можно было смотреться как в зеркало. Под книжную полочку около тахты были подложены книжки, на них стояли проигрыватель, небольшой коричневый чемоданчик с постоянно откинутой крышкой. В картонной коробке на полу аккуратно сложены пластинки, жесткие черные и мягкие голубые из журнала «Кругозор». Если по телевизору не показывали КВН, «Кабачок “13 стульев”» или фигурное катание, Лиза коротала вечер в своем закутке, замирая от голосов любимых Лемешева и Собинова. К тенорам ее приучил Моня, без устали накручивая маленькой Лизе пластинки. Моня подпевал им приятно мягким голосом, к нему часто присоединялся тоненький Лизин голосок.

Лиза ставила на сорок пять оборотов старые пластинки Трошина, они ужасно шипели под иглой проигрывателя, но так невыносимо трогательно звучал его голос, что под это страшное шипение у Лизы наворачивались на глаза слезы. Ей хотелось броситься на кровать лицом в подушку и долго упоенно плакать, наслаждаясь собственным томным горем.

Последний год все разговоры сестер сводились к обсуждению сложных отношений Лизы с Женей Селивановым, признанным самым симпатичным мальчиком в восьмом «Б». Женя не замечал Лизу, так бесповоротно не оставляя никакого пространства для игры воображения, что это были даже не отношения между ней и Женей, а скорее отношения между той ее частью, которая придумывала, и той, что жадно пыталась в придуманное поверить.

Аня не допускала и мысли, что в Лизиних рассказах может проскользнуть хотя бы тень преувеличения, и от встречи до встречи жадно ждала продолжения рассказа о любви сестры и мальчика Жени. Женю она представляла романтическим красавцем, похожим одновременно на принца

в красном плаще из мультфильма «Белоснежка» и на любимого всеми девочками города актера ленинградского ТЮЗа.

– Анька, я расскажу тебе такое!.. – обняв Аню за плечи, Лиза горячо шептала ей на ухо: – Ты даже не представляешь, как развиваются наши отношения! Нет, я даже лучше покажу, хочешь?

– Что покажешь? – замирая, спросила Аня.

– Мы целовались, – торжественно произнесла Лиза, оглядываясь на дверь. – Хочешь, я теперь тебя научу целоваться?

На самом деле Лиза преследовала совершенно конкретную цель, намеченную еще несколько дней назад: ей хотелось заранее понять, что она почувствует при поцелуе. Последнее время она думала об этом неотступно, не веря, что когда-нибудь такое может с ней случиться.

– Я не знаю... Нет, не хочу, ты что такое говоришь... Нет, хочу, наверное... Да, хочу, пожалуйста, научи меня, – почти уверенно ответила Аня, изо всех сил стараясь не показаться сестре маленькой и недостойной ее доверия. С тех пор как у Лизы появились грудь и томный блеск в глазах, близость между выросшими вместе девочками стала чуть более зыбкой. Лиза как будто все время проверяла, достойна ли Аня по-прежнему оставаться ее самой близкой подругой или же будет переведена в разряд просто родственницы.

Лиза вскочила с кровати и исчезла за занавеской у окна.

– Иди сюда! – позвала она Аню. – Вдруг кто-нибудь войдет, а мы как будто в окно смотрим!

Аня встала рядом с безразличным видом.

– Ты что так трясешься, дурочка... – задрожавшим вдруг голосом начала Лиза, вздохнула и, будто нырнув, быстро прижалась губами к Аниному рту. Она твердо решила, что попытается сегодня приобрести какой-то опыт. Лиза не любила отступать от своих планов, поэтому, ощутив сопротивление, попыталась раздвинуть языком твердо сжатые губы сестры и прижала ее к подоконнику, слегка заломив ей руку.

– Ой, Лиза, ты делаешь мне больно! – пискнула Аня, робко отстраняясь. Полная Аня была выше и сильнее мелкой Лизы, но вырваться боялась, скорее попыталась выползти из неожиданно цепких объятий сестры.

– Ну что, тебе понравилось? Вот так он меня целовал! – переведя дыхание, гордо сказала Лиза, с удивлением отмечая шевеление внизу живота.

С этим чувством она уже была хорошо знакома, впервые испытывала такое полубомбочное шевеление, когда ее случайно прижала к Жене

толпа, ринувшаяся в школьный гардероб. После Лиза научилась вызывать это чувство и сама, надо было только сильно сжать ноги и напрячься. Оргазм приходил всегда, отличаясь лишь силой, и зависел, по ее наблюдениям, от внутренней сосредоточенности. Сейчас ей показалось странным и пугающим, что она испытала оргазм без привычных усилий, только от Аниного дыхания и прикосновения к ее язычку.

– Мне понравилось, здорово! – фальшиво восторгалась Аня, вылезая из-под скрывающей их от взрослых занавески и неловко торопясь обратно в безопасный уют широкой кровати, где Лиза ее точно не тронет. Тяжело выпростав из тесной туфли полную ногу, она сказала, надеясь заслужить Лизино благоволение: – Смотри, мне эти туфли почти малы, можно считать, что совсем уже малы. Скоро моя мама их тебе отдаст. Померяй!

Лиза все еще стояла за занавеской, чувствуя, как мягкими волнами отходит от нее пережитое. Услышав про туфли, она непроизвольно сжала кулаки и подумала ясно и четко: «Я тебя ненавижу! Только дай мне вырасти! Я тебе покажу! За все заплатишь!»

Мгновенная вспышка ярости была такой сильной, что у нее перехватило дыхание и на глазах выступили слезы. Глубоко подышав, Лиза привела в порядок лицо, присела рядом и сунула ноги в жаркие после Ани черные лакированные туфли. Деловито поболтав ногами и придерживая сваливающиеся туфли пальцами, она мирно ответила:

– Да, они мне в самый раз! Скажи маме... что они тебе малы.

Аня послушно кивнула и, глядя на Лизу влюбленными глазами, осторожно спросила:

– Лиза, будем играть?

«Играть» на их языке годами означало одно – вытащить из ящика Лизиной тумбочки шесть крошечных, величиной с мизинец, пластмассовых фигурок – Буратино, Мальвину, Пьеро, Карабаса-Барабаса, Кота Базилио и Лису Алису. Затем фигурки надлежало поделить. Лиза всегда, сколько помнила себя, горестно ощущала, что по сравнению с Аней владеет столь малым, и изо всех сил торговалась за свое единственное достояние. При дележе фигурок она не упускала случая показать, кто их хозяйка, так ни разу в жизни и не позволив сестре завладеть вожаделенной Мальвиной. Аня была готова всячески унижаться и за Мальвину, и за Пьеро, но если о Мальвине речь не шла вовсе, то бороться за Пьеро было разрешено. На что только не соглашалась Аня в детстве, чтобы получить нежного грустного Пьеро в белом балахоне! По Лизиному приказу Аня пыхтела, безуспешно пытаясь перенести свое полное тело через голову, целовала Лизину руку и даже как-то, задрав платье и спустив колготки,

продемонстрировала противной Лизке голую попу. Сейчас Лиза быстро разделила фигурки, оставив Ане малоценных Карабаса-Барабаса и Кота Базилио, и, сблизив головы, девочки принялись передвигать фигурки и шептаться.

– Лизаня! – позвала их Маня общим детским именем.

– Девочки, Аня, Лиза, идите чай пить! – волнуясь, крикнула Дина. – Народу много, торта может и не хватить.

Рядом с Лизиной тарелкой уже стояло блюдце с куском торта для Ани. И рядом с Додиком тоже стояло блюдце с куском торта для Ани. «Пусть бы я была такая же жирная уродка, как Анька, – подумала Лиза, стараясь удержать вдруг подступившие к глазам слезы, – только бы меня так любили!» Анины новые платья, нежные похвалы родных ее красоте в ущерб Лизиним пятеркам с первого класса, упоенное кормление, предпринимаемое Додиком и Диной, Лиза наблюдала всю жизнь, но именно сегодня все казалось невыносимо несправедливым. Как будто все, что принадлежало сестре, отобрали у Лизы, причем сделали это только что, такой острой болью вспенилась в ней обида.

– Из чего сделана каемочка на торте? – спросила Аня с полным ртом, поедая сразу с двух блюдец.

Додик рванулся к торту.

– Сейчас, мусенька, сейчас, – бормотал он, соскребая розовую карамель со всех сторон. В его тарелку вместе с розовой каемочкой сваливались куски крема и безе, и через минуту нарядный торт остался голым, а перед Аней появилась третья тарелочка. – Чьи это такие щеки? – радостно вопрошал дочь Додик, будто сюсюкая над коляской с младенцем. – Ах ты мусенька моя щекастая!

За столом брали верх старики.

– Немка! – веселится Моня, намекая на бровастого вождя. – Что у тебя так густо растут брови, я даже боюсь при тебе шутить!

Наум не отзывается. Тогда Моня совершает заход с другой стороны:

– Немка, ты как хомяк! Что ты держишь за щеками? Свои особо ценные антикварные штучки...

Наум мрачно молчит.

– Немка, ты собой когда-нибудь бываешь доволен? У тебя есть дача? Скажи!

– Ну, – подозрительно отвечает Наум, шевеля мохнатыми бровями.

– У тебя есть деньги?

Наум засопел, и Моня быстренько перешел к следующему вопросу:

– У Раи есть две шубы?

– Ну...

– У меня три шубы, две каракулевые и одна норковая, – вмешалась

Рая.

– Две, три, какая разница! Наум, ты не ходишь каждый день на работу?

– Ну...

– Так чем ты все время недоволен? – кульминационным тоном вскричал Моня и засмеялся со всхлипом, оглядывая родных и ожидая похвалы.

Ему доставляет детское удовольствие дразнить и дергать брата, придирчиво проверяя: здесь ли Наум, рядом с ним, не сердится ли он, любит ли он своего младшего брата Моню?

– Такая неприятность, я вымыла центральный камень из кольца. Самое мое любимое, «маркиза». Мыла сегодня посуду, раз – и целый карат ушел вместе с пеной! – пожаловалась Рая и растопырила руку. Два расположенных в ряд крупных бриллианта окружали пустую сердцевину.

– Так надо было вызвать водопроводчика. Ты вызвал, Нема? – всполошилась Маня.

– Нет уж. Я еще не сумасшедший, – покачал головой Наум. – Зачем мне лишние разговоры...

«Хочу умереть», – спокойно подумала Лиза и ушла в ванную. Ее хватились через полчаса. Стучали в дверь, требовали немедленно открыть, возмущенно кричали, что она себе позволяет, что она испортила праздник. Где-то за возбужденными голосами Лиза различала Монины причитания: «Открой, внученька!» Лиза сидела на краю ванны и, наслаждаясь своей тайной, разглядывала пятнышко на трусиках и тонкую струйку крови, стекающую по ноге. Струйкой крови вилась Лизина тропинка к взрослой жизни, а рядом бродила одна невзрослая мысль: «Ненавижу, ненавижу жирную Аньку!»

Перед уходом в прихожей Додик сунул Лизе деньги. Он постарался незаметно вложить свернутую бумажку в карман Лизиной куртки, но вышло немного заметно, даже очень заметно, и Веточка обиженно надула губы, бросила на Додика выразительный взгляд.

– Не сердись, Ветка! Мы же все одна семья! – сказал Додик и притянул Лизу к себе.

Веточка расплылась в ответной улыбке и продолжала нежно улыбаться, пока не наткнулась на Динин острый взгляд.

– Мы сами могли ей купить что требуется, не надо было... – проговорила Веточка без всякого вызова, скорее информативно.

– Могли, но не купили! Кто подарил Лизе кофту и... Ну ладно, не важно, – ответила Дина.

Костя смутился, взгляд и слова были предназначены не Веточке, а ему. «Вот видишь! Я даю твоей дочери, а значит, тебе!» – послала ему безмолвное сообщение Дина.

– Просто Вета не все про нас понимает, она же не прожила с нами много лет одной семьей на Троицкой, – кисло добавила Дина, и день рождения закончился.

За полгода, прошедшие с Маниного дня рождения, произошли события, резко изменившие жизнь Бедных и Гольдманов. Тетки, Лиля и Циля, являясь самой незаметной составляющей семьи, всегда жившие по касательной к общей семейной жизни, неожиданно заняли главенствующее место. В ежевечерних телефонных разговорах все чаще звучало имя Циля. «Циля стала такой раздражительной, я уже боюсь ей слово сказать», – жаловалась Лиля, не расстававшаяся с сестрой последние пятьдесят лет ни на день. Циля накричала, а потом весь вечер плакала, Циля стала задумываться, Циля разбила чашку... Жалобы на злокозненный Цилин характер постепенно сменились беспокойством. «Она неважнецки выглядит», – поставила диагноз Маня, пользуясь непререкаемым авторитетом в семье по части медицины.

Однако если Лиля всегда покорно влеклась по жизни, уцепившись за Манину руку, то Циля пусть в дозволенных Маней рамках, но все же отличалась некоторым свободомыслием. Свободомыслие проявилось сейчас в визгливом отказе обратиться к врачу.

– Я тебя покажу Кире Петровне, у ей все наши доктора лечатся, – уговаривала Маня.

– Цилька! Я тебе приказываю! – кричал Наум.

– Цилечка, надо показаться. Маня к плохому врачу не ответит, – беспокоился Моня.

Циля, всю жизнь истерически трусившая врачей, уверяла, что своими ногами она в больницу не пойдет, и ехидно предлагала оттащить ее волоком.

Когда Циля в любимом цветастом платье появилась на очередном

семейном сборище у Мани, родственники пришли в ужас. Они не видели Цилю около месяца. Платье, последние лет пять ровно обрисовывавшее круглые Цилены бока, теперь струилось по ее телу, пугающе обвисая и проваливаясь в бывших особенно пышных местах.

– Мама Маня... что нам делать? – беспомощно прошептала Дина.

Маня значительно повела глазами на Цилю.

– Вета! Покажи Лиле с Цилей свое новое пальто! – скомандовала она невестке.

В случаях угрозы благополучию кого-то из родных Маня собиралась моментально. Она вышла позвонить. Вернувшись, как генерал, производящий смотр своего войска, быстро оглядела оставшихся за столом, произвела в уме рекогносцировку и выдала готовое решение:

– Ну, так! У меня все уже договорено! Додик! Завтра в восемь утра заберешь Цилю из дома на машине. Лиля, проследи, чтобы она ничего не ела, все обследование натошак.

– Тетя Маня! – вскричал Додик. – Я могу не успеть на работу!

– Значит, опоздаешь! – хладнокровно ответила Маня, небрежно отмахнувшись от него как от мухи. – Ты поедешь с ним, – велела она Дине. – Что ты говоришь, у тебя первый урок? Заменят, не забудь только позвонить в школу. Почему ты? – добавила она в ответ на Динин округлившийся рот. – Я бы, конечно, могла Веточку отправить, но зачем она Циле, ей будет легче с тобой ехать. – Она задумалась, что-то прикидывая в уме. – Привезете Цилю ко мне и можете отправляться на работу.

– А я? Мне что делать? – робко пискнула Лиля.

– Дома сиди и не путайся под ногами, – махнула Маня рукой. – Наум, – обратилась она к мрачно молчавшему главе семьи, не забыв добавить немного вежливо-просительной мягкости в командный «больничный» голос, – ты можешь прийти в больницу забрать Цилю? Начиная с одиннадцати... Посидите, подождете вместе с Моней. Я бы сама, но у меня завтра сутки... – оправдываясь, добавила она.

Братья со своими нахмуренными мохнатыми бровями и, кажется, особенно отвисшими сейчас брылами смотрели на Маню с одинаковым сложным выражением растерянности, ужаса и страстной надежды, что можно не понимать, какой болезнью больна сестра, и не страдать. Маня все возьмет на себя, будет и для них «мамой Маней»... Циля, сестра... Вот и первая среди них... Неужели это оно, то самое, о чем и думать-то страшно?..

– Мама, а как ты ей скажешь? Она же не хочет идти к врачу? –

поинтересовался Костя.

Маня не ответила, только посмотрела удивленно, считая, что Цилиному упрямству уже положен конец.

Косте ответил Додик:

– Если уж наша мама Маня что-нибудь решила...

– Она прет как танк... – грустно покивав, продолжил Моня. – Послушай, Манечка, дай Циле анальгина и валерьянки.

– Зачем? Без врача?! – яростно сверкнула глазами Маня.

Сама Маня при малейшей неполадке в организме хлопала пригоршню анальгина и бежала дальше.

– На всякий случай. Хуже не будет... – глубокомысленно ответил Моня.

Дождаясь Цилю, Наум и Моня часа три молча просидели рядом на узкой скамеечке в приемном покое Куйбышевской больницы. В узком, освещенном тоскливой лампочкой длинном коридоре братья примостились на топчане рядом с каталкой, покрытой рыжей продранной клеенкой. Моня пытался шутить, заглядывая брату в глаза и дергая за рукав синего ратинового пальто, но рукав пару раз весьма определенно стряхнул Монину руку, и младший брат притих. Он только периодически вздрагивал и мотал головой, представляя, что Цилю не вернут и он больше никогда не увидит сестру, а Наум так и сидел недвижимо, поднимая глаза на каждый звук хлопнувшей двери.

Наконец в дверном проеме появилась Маня и, обедев взглядом темное помещение, неожиданно резво для своей солидной комплекции рванула к ним через длинный коридор, волоча на руке дрожащую Цилю. При одном взгляде на Маню, излучающую профессиональную значительность, Наум с Монеи приободрились. Братья были настолько измучены ожиданием, что не смогли даже встать, только синхронно подались лысинами вперед, от усталости равнодушно глядя на Маню одинаковыми глазами, обреченно готовые к самому страшному.

– У Цили обнаружили язву, – делая свое специальное «медицинское» лицо, весомо произнесла Маня.

– Господи, и всего-то! И от этой язвы Цилька так похудела... и такая сумасшедшая стала, на всех бросалась! – нервно хихикнул Моня. – Немка! А мы-то испугались, вот уж у страха глаза велики! Ха-ха-ха! У язвы Цильки – язва!

Наум мгновенно вернулся мыслями к собственным делам, с первых Маниных слов, как только стало ясно – самого страшного у сестры нет. Все остальное уже не его дело. Язва! Надо же! Из-за такой ерунды он

пропустил встречу с тишайшим старичком, считавшимся главным специалистом в городе по кузнецовскому фарфору. Хотел показать ему блюдо, похоже, что кузнецовское, но без клейма. Приготовившись к худшему, ну, например, что Циле осталось жить пару недель, Наум чувствовал даже какое-то странное разочарование в том, что трагедия не состоялась и он зря потратил время и душевные силы на это молчаливое сидение плечом к плечу с братом в приемном покое. Пожав ратиновыми плечами и брюзгливо скривив губы, он молча направился к выходу. Моня с Цилей заторопились за ним, а Маня, вернувшись в свой закуток в приемном покое, уселась за стол и принялась обзванивать родственников.

– Все провели, кровь у ей взяли, рентген желудка сделали, эту, как ее, фиброгастроскопию, в общем, зонд давали глотать. Кира Петровна сама смотрела... – Тут Маня делала многозначительную паузу и, вдоволь потомив собеседника, добавляла: – Язва у ей, язвенная болезнь. Тоже, понимаешь, не ерунда, серьезное дело! Уж я-то знаю!

Комната в коммуналке на Маклина, где сестры проживали вдвоем тридцать шесть лет кряду, вечером того же дня была завалена пакетиками с содой, пузырьками с альмагелем и таблетками, выписанными Циле. Все еще белая от пережитых волнений, Циля рассказывала по телефону, как она боялась идти в больницу, подозревала, что у нее вы сами понимаете что... Особенно любовный рассказ, включая все подробности фиброгастроскопии, достался подоспевшим вечером навестить тетку Косте с Веточкой. Выслушав в третий раз, как Цилю тошнило при попытке проглотить резиновую кишку, Костя с Веточкой улизнули домой.

Контролируя каждое мгновение жизни своих подотчетных родных, Маня не допустила бы такого бессмысленного совместного приезда и отправила бы к Циле одного Костю, а Веточку – домой к хозяйству, но даже в ее руководительстве случались погрешности. Сегодня она дежурила сутки, не уследила за детьми, и теперь Костя с Веточкой радовались нечасто выпадающей им возможности побыть вдвоем целый час по дороге домой...

Моня, сам покорно несущий огромную тяжесть Маниной любви и заботы, молчаливо потворствовал редким моментам их неподотчетной близости. Впрямую он Мане не возражал, но по-супружески посмеиваться над ней ему позволялось. «Смотри у меня, Манечка! – Смягчая шутку нежной улыбкой, Моня вспоминал своего друга Петрушу, недавно похоронившего жену. – А то приглашу Петрушу на твои похороны, он ведь меня уже приглашал!»

Никто не смог бы поколебать Манино убеждение, что все вечера после

работы в будние дни и все двадцать четыре часа в сутки в выходные Веточкино место исключительно рядом с ребенком. Маня самозабвенно стирала пеленки и часами носила на руках плачущую Лизу, до года страдавшую животиком, но отпустить невестку в кино или в гости... А как же семья?! Иногда случалось, что Маня уходила на сутки в субботу, и, как только за ней закрывалась дверь, Моня, непрерывно подмигивая и нежно похлопывая невестку по плечу, подталкивал не верящую в свое счастье Веточку к двери, крича ей вслед: «К завтраму не забудь вернуться! Молоко-то у меня, конечно, есть, но немного!» – и гордо поводил воображаемой грудью. Веточка вырывалась на улицу как изголодавшийся зверь, с неловким чувством неприязни к свекрови, искренне заменившей ей мать... Да и не всякая мать так заботилась о дочери, как Маня о невестке.

– Я куриной ножки в жизни не ела, – смеялась Маня. – Сначала свекровь делила курицу, крылышки Лиле с Цилей, ножки Науму с Монею, а нам с Мурочкой что останется. Теперь ножки Косте с Веточкой, а мне опять фигу, – смеялась она.

Действительно, Маня всегда оставляла невестке лучший кусок и на все лишние деньги старалась приодеть Веточку.

«Господи, да у ей одна юбка, которая на ей надета, и все!» – в ужасе шептала она Моне, когда Веточка появилась в ее доме с узелком и перевязанным веревочкой газетным свертком с резиновыми ботами.

Возможно, Костя с женой сейчас предательски отправятся в кино на последний сеанс. Маня, конечно, поджав губы сказала бы: «Идите, если уж так охота... Хотя когда в семье неприятности... Делайте как знаете!» В кино пойти хотелось, но было страшновато. Сын с невесткой боялись не столько незримого Маниного ока, сколько незаметно впитали ее понятия и сами опасались нехорошести развлекающихся себя на фоне драматических событий с теткой.

На следующее утро с Цилей случился инсульт. К ней с незначительными изменениями довольно быстро вернулась речь, но встать она уже не смогла и осталась недвижимо лежать на своем древнем диване хоть и чуть похудевшей, но все-таки грузной безнадежной старухой. Врач, совсем еще мальчик, не пожелав осматривать неприятную ему старую тетку, пару раз брезгливо ударил молоточком по Цилиной ноге в старом Монином полосатом носке и вяло, по обязанности, поинтересовался:

– Вы знаете, какое время года идет вслед за зимой?

– А вы сами-то знаете? – безошибочно распознав, что на самом деле ему это совсем неинтересно, строго спросила Циля.

– Весна, – растерялся врач.

– Правильно, – похвалила его Циля.

На этом отношения с медициной были закончены и начались муторные в своей нескончаемости отношения родственников с Цилиными телом и сознанием.

По мере понимания родственниками, что именно так теперь будет всегда, Циля постепенно переставала быть «теткой», с которой прошло детство Дины и Кости, на руках у которой выросли Лиза и Аня. Лиля, работавшая продавщицей в книжном магазине, вяло, но успешно сопротивлялась уговорам родственников уйти на пенсию, а Циля в действительности вырастила два поколения семьи. Дина и Веточка ни дня не сидели с девочками на больничном, при малейшей необходимости скорой помощью врывалась шумная Циля, на ходу выхватывая у них сопливых детей. Вечером, обращаясь к вернувшейся из школы Дине, Циля хвасталась:

– У меня Аня уже стихи читает, а у тебя в штаны писает!

А Веточку как-то встретила восторженным воплем:

– Ну, будет кто-нибудь заниматься ребенком в этой семье, кроме меня?! Я, например, хотя бы научила Лизу хрюкать и трубить, как слон!

– Тетя Циля, зачем Лизе хрюкать и трубить как слон? – удивилась ее достижениям Веточка, расстегивая пальто.

– Ребенок должен знать и любить зверей!

– Ду-ду, хрю-хрю... – цеплялась за Цилину ногу маленькая Лиза.

Теперь Циля все больше становилась для них «она»...

Уход за лежачей Цилей был честно распределен Маней следующим образом: дважды в неделю, после суточных дежурств, она приезжала к теткам, большим неповоротливым телом металась по комнате, ловко подбирая, расставляя и приводя все в порядок, затем совершала с Цилей необходимые процедуры и валилась спать рядом с ней на узкую Лилину кушетку. С детской кушетки свисало Манино полное тело, она трогательно прятала под себя крупные руки и легко поворачивалась на бок на Цилин истерический выкрик: «Маня! Не храпи!» К вечеру просыпалась бодрой, все повторяла и в одиннадцать вечера уже гордо рассказывала дома: «Цилька у меня лежит как картинка!»

Манино дежурство было еще в середине недели и в субботу. По разу приезжали девочки: Веточка – в будний день, в зависимости от графика Маниных суточных дежурств, а Дина – в воскресенье. Иногда по воскресеньям Дина просила Маню заменить ее, обещая приехать вместо нее на неделе. Маня соглашалась, но ни разу Дину вне очереди до Цили не

допустила. Беспокоилась, что Циле, оставшейся без ее, Маниного, присмотра на целых два дня подряд, станет хуже. Подумать о Рае, такой же Цилиной золовке, как и она сама, Мане просто в голову не пришло. Тем более не рассматривалась Танечка. Привыкнув считать ее таким же ребенком, как Лизаня, Маня как-то упустила из виду, что Танечке уже двадцать пять, ну а Рая с ее вечными истериками... Спасибо, не надо! Зашла один раз, потом два дня лежала в слезах и с мигренью – так по крайней мере Наум сказал и очень просил Маню больше Раю не привлекать. Что же, Маня и сама бы ей не доверила, так что лежащая Циля досталась Мане целиком. Дина приходила все реже и так ловко поставила дело, что все чаще казалось, будто она делает Мане одолжение, сменяя ее у Цилиной постели.

– Мама Маня, отдохни, если хочешь, я могу в это воскресенье прийти, – отпускала она Маню. – А вот в следующее уже никак, идем в гости.

Маня мгновенно подхватывалась, в большую хозяйственную сумку, служившую ей ридикюлем, сметала суп и котлеты в банках, поверх закидывала яблоки и неслась по привычному маршруту. Все чаще она звонила вечером домой и сообщала: «Я ей говорю: Циля, напейся лекарств и ложись спать! А она в слезы: я, говорит, и так лежу, куда ты хочешь, чтобы я еще легла! Циля сегодня очень перенервничала, остаюсь у нее!»

На Лилю у Мани совсем не было надежды – оказать тяжелой Циле необходимую помощь она не могла, только беспомощно всплескивала крошечными ручками. Болезнь сестры не поколебала милой Лилиной невозмутимости, она лишь стала перемещать свое невесомое тело еще тише, словно боялась расплескать в себе тщательно оберегаемую тишину и покой. Ставшая очень нервной Циля непрерывно вещала что-то со своего ложа, частенько доводя безобидную сестру до слез.

– Циля, как хорошо поет Кобзон, правда? – мирно замечала Лиля, сидя у телевизора.

– Лиля, это не Кобзон, а Магомаев! – брюзгливо откликнулась Циля.

– Да нет же, Цилечка, это Кобзон, посмотри, – удивлялась Лиля, тыча пальчиком в лицо народного любимца.

– Как же это не Магомаев, когда я тебе говорю, что это Магомаев! – кричала Циля.

Маня надвигалась на Лилю, как большая грозная птица:

– Ну что тебе стоит сказать больному человеку, что Кобзон – это Магомаев! Где твое понятие, Лиля!

Съездившаяся в кресле Лиля уже готова была признать все, что угодно,

даже что сама Маня – тоже Магомаев, но ей было обидно.

– Она меня специально дразнит, она же не сумасшедшая, она все понимает! – заливалась слезами Лиля. – Я же тоже человек!

– Это Магомаев! – ревела со своего дивана Циля.

Разве могла Маня оставить теток вдвоем надолго?

Циля становилась все капризнее, невнятно требовала специальной еды. Однажды, забывшись, попросила у Мани цимес^[1]. Маня, прожив всю жизнь с мужем-евреем, из еврейской кухни освоила только тейглах^[2]. Забывала, принимала лекарство или нет, все чаще улыбалась чему-то внутри себя, так же, без видимой причины, плакала. «Она так уйдет в себя и забудет вернуться», – пошутила Лиза, и Маня ее чуть не убила за непочтительность к больной.

Дина кривилась, закатывала глаза, раздражаясь, а Маня нельзя сказать что терпела, а просто жила рядом с Цилей в новых предлагаемых обстоятельствах.

Теткам, имевшим на двоих Лилину зарплату продавщицы, строго в очередь помогали деньгами братья, Наум и Моня, а Маня зорко за ними следила. Про себя с Монею Маня не забывала, ровно первого числа Костя привозил им конвертик с деньгами, тогда как Наума ей приходилось осторожно готовить к тому, что скоро «его» первое число. Наум расставаться с деньгами не любил и каждый раз пытался молчаливо пропустить свою очередь, надеясь, вдруг как-нибудь проскочит. Мысль о том, что он может лишиться сестер помощи, никогда не приходила в его голову, просто то одно, то другое... Расходы у него были большие, постоянно подворачивалось что-то по антикварным делам. Кто же может знать, когда возникнет кузнецовское блюдо или настенная тарелка? «Это гешефт^[3], а не аванс-зарплата по первым и пятнадцатым числам», – говаривал он. Маня возмущалась, сужая глаза и злобно всасывая в себя воздух через сломанный передний зуб: «Ну совесть-то, совесть есть у Немы? Его же сестры, не для себя же прошу!» «Такой уж он, Наум. Что ты хочешь, Манечка, муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую...» – посмеивался Моня, торопясь, впрочем, ускользнуть от обозленной Мани. Она была скоро на злобу и мгновенно начинала шипеть, как раскаленный утюг, если на него плюнуть. Моня предусмотрительно предпочитал не плевать.

Часть полученных от братьев денег тетки всегда тратили тайком. В годы Динино детства этим «тайком» было новое платье или туфли для Дины. Тетки были тихо убеждены, что Наум с Раей обижают сиротку,

девочку, кровиночку. Даже теперь, в годы полного Дининого благоденствия, они по привычке ухитрялись покупать из своих жалких денег то колготки для Дины, то шоколадку или альбом для Ани. Дина брала, как брала в юности. Привыкла. Сейчас же в бедной Цилиной голове, то больной, то почти ясной, сместилось что-то, связанное именно с Диной. В минуты путаницы она плакала о Динином сиротстве, грозно покрикивала на воображаемого Наума: «Ты опять обижаешь девочку!» Потом, вдруг светлея сознанием, вспоминала: «А ты помнишь, Лиля, как у всех девочек уже были часы, только у нашей Дины не было? Рая не разрешала Науму купить ей часы. Неужели не помнишь?» В моменты ясности она настойчиво твердила сестре: «Мы должны что-то сделать для Дины!» – «Что мы можем сделать, Цилечка?» – недоумевала Лиля. Действительно, чем они, две бедные старые женщины, полностью зависимые от родных, могли помочь замечательно устроенной Дине? Циля напряженно хмурилась и смотрела в потолок.

Додик с Диной собирались в Москву, и на оставшиеся от весенних каникул три дня Лиза отправилась к Ане. Чем несколько раз перескакивать в метро с одной линии на другую, она предпочла долго тащиться на трамвае. Лиза легко впадала в нежный дорожный транс и с удовольствием погружалась в свои мысли.

Усевшись у окна, Лиза с удовольствием разгладила на коленях новую ярко-синюю юбку в складку. Юбку сшила Веточка, только вчера закончила строчить на Маниной машинке «Зингер». Лиза в нетерпении вертелась рядом, торопила, юбка вышла красивая, и сейчас Лиза чувствовала себя очень нарядной.

Сегодня Лиза, планирующая в своей жизни все, даже размышления, заранее наметила разобраться в своем отношении к Ане. С Маниного дня рождения, когда Лиза впервые испытала острый спазм ненависти к сестре, прошло полгода. Ненависть, конечно, не бурлила в ней постоянно, но по мере надобности легко возникала на фоне привычной привязанности к толстой глупой Ане. Темное страшноватое чувство вертелось колючим шаром и царапало душу изнутри. Лизе самой было от этого больно, но как теперь быть, она не знала.

Они всегда были самыми родными. Ни у болезненно самолюбивой Лизы, ни у тихой толстой Ани не случилось в школе близких подруг. Но теперь Лизе казалось, что злоба и зависть к «богатой» сестре притаились в ней еще с детства. Лиза была мельче младшей сестры и всю жизнь донашивала за ней одежду. Дина отдавала ей мешок Аниных старых

тряпочек и так кривила губы, что Лизе становилось обидно. Может быть, Дина, заметив Лизину радость, не могла сдержать выражения жалости и презрения? А может быть, ей все это казалось, думала Лиза, и она во всех видит плохое, потому что сама Лиза просто ужасная гадость?

Богатство Аниной семьи было, конечно, очень обидным, но еще обиднее совершенно незаслуженная окружающая Аню общая любовь.

...Трехлетнюю Аню по очереди подбрасывают на руках Наум и Додик, Веточка улыбается. А где же Лизин папа, почему он не берет ее на руки?..

Обожания Додика и Дины уже хватило бы на десять девчонок, но почему-то Аню все любили больше, чем Лизу: и тетки, и даже Маня с Моней! Нет, не так! Лиза приказала себе не увлекаться. Они любили Аню больше, чем Анины дед Наум и бабка Рая любили Лизу. А ведь Рая Ане вообще никто! Теперь Лиза уже знала, что Дина ей не родная дочь. Как бы Дина ни подчеркивала, что обожает Раю, сколько бы ни называла ее ласково мамой, а Танечку родной сестрой, все равно они друг другу чужие или по крайней мере полужужие. Почему же все Аню любят, за что?

Лиза честно принялась мысленно загибать пальцы. Первое. Аня уютная и мягкая, как подушка, а Лиза – тощая и колючая, как мышинный хвост. Так. С этим не поспоришь. Еще что? Чем еще Аня лучше?

В школе Лизу уважают. В первом классе Лиза была командиром звездочки, затем заместителем председателя совета отряда, потом членом комитета комсомола. Почему-то она никогда не добивалась окончательных командных постов, а всегда была около, за шаг до верховного командования. Возможно, потому, что ребятам не хотелось удовлетворить ее слишком уж яростное желание оказаться в центре. А с Аней всегда были проблемы. Она, например, не хотела ходить в школу. В первом классе ее рвало по утрам, каждый-каждый день, весь год! Ее тогда все жалели: «Ах, какая нежная девочка, какая у нее тонкая душевная организация!»

Маня раз в год водила сразу обеих сестер к стоматологу Лиде Палне. Визит занимал полдня, лечили девочек без уколов: Маня считала обезболивание вредным для детского организма. Аня обычно обходилась одной-двумя пломбами, но терпеть боль совсем не могла – визжала и кусалась, а однажды даже пнула Лиду Палну ногой. Маня стояла за креслом и строгим голосом говорила: «Аня, мама обещала купить тебе подарок, если будешь сидеть тихо». У Лизы зубы были хуже, ей ставили по шесть-семь пломб за раз, но она не хныкала, только сжимала изо всех сил кулаки. Спрашивается, за что же Аню любить больше?

У Лизы никогда не было в четверти ни одной четверки, кроме математики и физики. Сейчас, размышляла Лиза, можно было бы

напрячься и попытаться исправить физику, взять и вызубрить весь учебник от корки до корки. Лиза сжала заледеневшие в холодном трамвае руки, прикрыла глаза и загадала: «Если руки будут торчать из рукавов пальто, то я смогу исправить физику». Лиза хитрила, она прекрасно знала, что купленное в «Детском мире» убогое пальтишко стало мало ей еще в прошлом году. «Бедная я, бедная, бедная Лиза...» – привычно пожалела она себя.

Лиза была благодарна Веточке за странную в общем-то идею дать ей имя Лиза в придачу к фамилии Бедная. Каждая новая учительница читала список учеников по классному журналу, останавливаясь на ней, Бедной Лизе, обязательно спрашивала: «Кто это, Бедная Лиза? Встань, покажись, Бедная Лиза!» – и улыбалась. Лиза выделялась из всех остальных девочек только отличной учебой и этим вниманием, а это не так уж и мало! В классе у них было восемь Лен, шесть Ир и три Марины, а Бедная Лиза одна. Молодец, Веточка!

Есть у Лизы, правда, один минус, если честно, – бесконечные простуды, ангины, каждый год по пневмонии, кажется, все детство прошло в очередях в поликлинике. Долгое ожидание в полном вопящих бегающих детей коридоре, две минуты в кабинете врача, и вот уже усталая Веточка несет в аптеку, в одной руке держит ворох рецептов, другой волочет Лизу. В десять лет к тривиальным болезням прибавился холецистит, несколько раз ее заставляли глотать зонд в больнице, Лиза до сих пор помнит вкус длинной резиновой кишки. Кишка длинная, немного проглотить, затошнит, и надо начинать все сначала. Вполне могла раздражать всех постоянными болячками...

Когда Лиза была маленькая, она интересовалась, почему из всей семьи Гольдманов только они – Маня, Моня, Костя, Веточка и Лиза – носят фамилию Бедные. Не означает ли это, что они, Бедные, действительно бедные, не за их ли собственную бедность им назначили такую фамилию. Смешно, но они действительно бедные по сравнению с Гольдманами, «золотыми людьми», как всегда шутил Додик. Бедные и глупые!

Кто богатый и умный, так это Наум, немного отвлеклась мыслями Лиза. Наум с Раей до сих пор жили в огромной сорокаметровой комнате в коммуналке на Троицкой, из-за такого огромного метража им не полагалась ни квартира от государства, ни даже кооператив. Но их жилье вовсе не было бедным. В эркере уютно расположился ампирный диван с золоченой обивкой. Старинные буфеты, консоли, туманные зеркала с фасетами, казалось, стояли на своих местах еще с начала века. Лиза очень любила бывать там в гостях, ее воображение сладко волновали неведомые

предметы, бывшие в этом доме своими. Фраже, кузнецовский фарфор, зеркало на крутящейся раме, которое Наум называл смешным словом «псише», фарфоровые лампы, ширмы в резных рамах. Маленькая Лиза радовала Наума, утверждая, что это не комната, а Эрмитаж.

Каждый год, в мае, после окончания очередного учебного года, Маня одевала Лизу в самое нарядное платье и вела во второй двор на Владимирском к подвалу с синей вывеской «Фотография». Спускаясь по разбитым ступенькам, они попадали в мастерскую, крошечное, пахнущее пылью помещение, где стоял старый фотографический аппарат на высоких ножках. «Трофейный», – почтительно поводил вокруг аппарата руками Наум. Положив руки на колени, Лиза напряженно смотрела вдаль и немного в сторону, как велел Наум. Он нырнул под черную занавеску, долго крутился, пыхтел и наконец страшным голосом говорил: «Снимаю!»

– Почему Наум так много зарабатывает? – как-то спросила Лиза Маню.

Та лишь пожала плечами:

– Это не наше дело.

Тогда Лиза пристала к Моне.

– Ему не позавидуешь. Тому заплати, этому заплати... Налоги... Это же ужас! Лучше спать спокойно, – отвечал Моня.

– Во-первых, как раз позавидуешь, а во-вторых, он и так спит спокойно, – возразила Лиза.

Рая всегда гордо говорит: «Я в своей жизни не работала ни дня! – Правда, тут же ворчливо добавляет: – Из-за этой мастерской я всю жизнь в коммуналке прожила!» Мастерская находилась в пяти минутах от Толстовского дома, Наум был в ней хозяином и единственным работником, ему запрещалось брать даже уборщицу, и Рая всегда находила какую-нибудь соседку в помощь.

Наум богатый и жадный, а они бедные идиоты! Лиза вспомнила случай, когда ей обещали купить новое платье, а Маня с Монею как раз последний взнос за телевизор заплатили и еще надо было теткам деньги давать, их очередь подошла. Сами они давно забыли, а Лиза хорошо запомнила. Платье ей не купили. Она плакала, на день рождения не пошла, а теткам деньги отдали. Неужели нельзя было попросить, чтобы богатый Наум дал теткам деньги, а ей, Лизе, купить платье?

Лиза жадно прислушивалась, выглядывала и вылавливала из повседневных семейных разговоров какие-нибудь сведения, которые помогли бы ей разобраться в источниках такой богатой красоты Гольдманов, но Маня с Монею никогда не обсуждали при ней дела Наума, раз и навсегда ограничились сугубо родственными отношениями. Мане

было важно, что у Наума сегодня давление, об этом она говорила озабоченно, а вот о том, что Лизе так хотелось узнать, почему одни бедные, а другие богатые, они почему-то за ужином не беседовали. Подросшую Лизу страстно манили антикварные вещи, она Наума расспрашивала, стилями интересовалась. А этим дурачкам, ее родителям, что копеечный торшер из соседнего универмага, что лампа конца восемнадцатого века – светит, и ладно. Лизе так хотелось жить красиво, а приходилось существовать среди кружевных деревенских салфеток... Убого... Бедная, бедная Лиза!

Она вернулась мыслями к сестре. Наверное, Аню любят за красивое лицо, получается, что больше не за что, ведь всем остальным она, Лиза, лучше! Ее собственная мама часто повторяла: «Ах, как жаль, что Анечка забрала всю семейную красоту!» Лиза слышала это от нее миллионы раз, ей хотелось топтать ногами и кричать: «Помогите, люди, забрала, захватила, украла!» Всю предназначенную им обеим красоту? Неужели всю? Кричать и топтать ногами нельзя, Лиза себе этого не позволяла. Каждый человек должен уметь справляться с неприятностями, и она со своими справится. Это Аня, когда хотела, плакала, когда хотела, смеялась до икоты...

Лиза спохватилась – ей пора выходить, а она опустила десять копеек и еще не собрала сдачу. По дороге к кассе она ощутила легкое дуновение вокруг ног и, не успев понять, что произошло, догадалась: смех, грянувший в вагоне, имеет отношение к ней. В ужасе взглянув вниз, Лиза увидела юбку, солнцем расположившуюся на грязном полу. Зря она вчера торопила Веточку, петелька, накинутая на пуговицу на талии, была небрежно сделана из нескольких ниток, видимо, нитка порвалась, и юбка просто вывалилась из пальто на пол.

Умирая от стыда, жаркая и красная, Лиза выскочила из трамвая, на ходу подбирая юбку, и, зажимая трепещущую ткань между ногами, униженная в собственных глазах донельзя, поковыляла от остановки в сторону Аниного дома.

Большого подарка на каникулы обеим девочкам и вообразить было трудно. Впервые Лиза с Аней остались одни на целых три дня.

– Так, давай прикинем, как нас будут контролировать, – говорит Лиза.

– Один раз приедет Веточка приготовить нам обед, – отвечает Аня.

«Это для Ани, она должна есть все свежее, а у нас дома Веточка всегда готовит обед на три дня». – Лизе трудно сразу отойти от горестного перебирания обид в холодном трамвае.

– Ну, о полной свободе можно и не мечтать, Маня будет названивать нам каждые полчаса... – добавляет она.

Аня смеется, а Лиза радостно прислушивается к себе: в ней наконец будто тает злость и возвращается теплое чувство к сестре.

– Лиза, помни, ты старшая. Следи, чтобы Аня хорошо ела!

Дина нервно мечется в прихожей, одновременно проверяя билеты, убирая лишние пальто в шкаф и выравнивая и без того ровную стопку газет на тумбочке. У нее все расставлено и разложено в геометрической аккуратности, и в доме все живут по расписанию. Из-за этого у нее всегда такое напряженное лицо, похоже, что она никогда не расслабляется...

Лиза знакома с большой трехкомнатной квартирой во всех подробностях. Как только за Додиком и Диной закрывается дверь, Лиза издает победный клич, вертится волчком по всем комнатам, открывает шкафы, перебирает Динины платья, любовно гладит белье в шкафу. Дубленку Дина оставила дома, не захотела трепать в поезде. Она надевает дубленку только на выход, а по обычным дням носит в школу пальто с коричневой норочкой. «Нельзя вызывать в людях зависть к тому, что они не могут иметь. Себе дороже выходит!» – убежденно говорит Дина.

Если бы у Лизы были красивые вещи, она бы их всюду носила, пусть завидуют! А вообще-то Дина, наверное, права, недаром у нее такие хорошие отношения на работе. В день ее рождения, например, невозможно спокойно посидеть за столом, пока все учителя ее не поздравят. Маня радуется: «Дина хорошо устроена». Как это – устроиться хорошо? И Рая Дину хвалит, когда недовольно выговаривает Танечке: «Мало уметь зарабатывать деньги, надо еще уметь их тратить, вот Дина умеет!» Даже Веточка говорит: «Дина умеет жить». Лиза прислушивается к Дине, учится правильно жить.

Вот только одна странность: почему в школе она была такая счастливая, а дома, кажется, не очень? Как-то раз Лиза не рассчитала время и приехала к ним пораньше, ей тогда пришлось подождать Дину на улице. Лиза увидела ее издали и удивилась Дининому такому покойному, не домашнему лицу. Подойдя ближе к дому, Дина подтянулась, нахмурилась и стала прежней, знакомой. А однажды они с Маней зачем-то приехали к Дине в школу, и там она тоже была другой – улыбчивой и безмятежной. У Лизы тогда мелькнула странная мысль: вдруг счастливице Дине совсем не так легко и счастливо живется, ведь она так старается, чтобы все было правильно и разумно. Может быть, это ей трудно?..

Большими скачками Лиза несет к Дине в спальню. Вся комната забита мягкими игрушками, со всех сторон на Лизу смотрят разноцветные медведи, львы и собаки – подарки учеников. Наверное, Дина очень хорошая учительница и дети ее любят, плохим учителям не захочется

дарить игрушечных зверей. Счастливая Аня, переваливаясь, торопится за ней.

– Давай рассматривать украшения, – командует Лиза, открывая Динину шкатулку.

Через час, проголодавшись, девочки выплывают на кухню, обвешанные Диниными цепочками и бусами. Лиза одета в дубленку, поверх дубленки пламенеет огромный янтарный кулон, на голове голубой норковый берет, на носу Динины очки в золоченой оправе. Пальцами в кольцах Лиза поднимает крышку кастрюли и, щурясь из-под очков, деловито спрашивает:

– Могу тебе курицу из бульона достать, как Дина велела, а хочешь, сосиски сварим и картошку поджарим?

– Ура! Картошку хочу с сосисками! – в восторге кричит Аня.

– Не вой так громко, ты, обжора!

– Буду выть! – радуется Аня.

– Так что тебе дать?

– Сначала картошку... потом курицу... и бульон. Можешь рис сварить?

– Ладно уж, – покровительственно отвечает Лиза.

Утром Аня с остановившимся взглядом подолгу сидит на кровати, натянув колготки до колен.

– Вот всегда со мной так, – зевая, жалуется она. – Каждое утро сижу, пока мама меня не пихнет как следует. Прямо ногой, как собачонку, представляешь! Не больно, конечно, обидно только. С другой стороны, что со мной делать!..

В ответ Лиза грозно хмурится и щиплет Аню за руку. Аня встряхивается и в конце концов натягивает колготки.

Сначала девочки отправляются в соседний магазин с влекущим названием «Галантерея». С замиранием сердца они рассматривают у прилавка заколки для волос, потом переходят к витрине, в которой выставлены кремы, помады и пудры. Лиза, хихикая, толкает Аню в бок:

– Смотри, крем «Спермацетовый»! Интересно, из чьей спермы его сделали?

Аня недоуменно пожимает плечами. Она еще совсем не развилась, и слово «сперма» не возбуждает ее, как Лизу.

Уезжая, Додик сунул каждой по пять рублей, и теперь Аня выбрала крем для рук и заколочку с голубым прозрачным камешком. Лиза долго терлась у прилавков, что-то подсчитывала, простояла очередь в кассу, тяжело вздыхая, и у самого окошечка передумала – протянула деньги и

торопливо сгребла обратно.

Вернувшись домой, девочки долго и тщательно обедали, наслаждаясь своей свободой, а вечером, многократно прокричав Мане в телефон, что встречать их не надо, отправились в ТЮЗ.

Сегодня Лиза как будто вернулась в их общее детство, и сестры без умолку бормотали любимые детские глупости, но, как только они вступили на широкую аллею, ведущую ко входу, Лиза задумалась и замолчала, дрожа от предвкушения театра.

– Куда идем мы с Пятачком? Конечно, в гастроном! – приговаривает Аня в такт шагам. – Зачем идем мы в гастроном? Конечно, за вином!

Лиза молчит.

– А где мы будем выпивать? Конечно, за углом!

На этом месте Лиза сильно толкает Аню локтем и шипит:

– Заткнись, дура! Ничего не понимаешь!

– А чем мы будем заедать?.. – потирая ушибленное место, машинально продолжает Аня, удивленно хлопая глазами и не понимая, почему с ней больше не играют.

Сжалившись над сестрой, Лиза кричит ей в ухо:

– Конечно, Пятачком! – Она быстро нагнулась и сунула глупышке снежок за шиворот.

Пока девочки были в театре, мартовскую слякоть неожиданно сменил снегопад, и, стараясь поймать губами мягкие снежинки, все еще возбужденная спектаклем Лиза задумчиво произнесла:

– Правда, именно про такую погоду Цветаева написала: «Вот опять окно, где опять не спят...»?

– Не знаю, я не читала, – равнодушно ответила Аня и поежилась. – Хочу есть.

– Погоди, давай здесь постоим немножко, так красиво...

Лиза прочитала переминающейся с ноги на ногу Ане все стихотворение и без всякой паузы спросила, немного стесняясь:

– Аня, как ты думаешь, что такое счастье?

Не зная, что ответить, чтобы попасть Лизе в тон и не нарушить ее настроения, Аня осторожно произнесла:

– Может быть, когда все здоровы? – И тут же поняла, что сказала не то. – А ты как думаешь?

Лиза отозвалась так быстро, как будто вынула готовый ответ из кармана:

– Я думаю, что счастье – это когда добиваешься всего, чего хочешь!

– А чего ты хочешь?

– Я много чего хочу! Хочу, чтобы у меня все было, быть... ну, обеспеченной... Еще хочу стать знаменитой, чтобы не я на кого-то по телевизору смотрела, а они на меня! – Она с опаской порхнула взглядом по лицу сестры, проверив, не насмехается ли та над ней. – А еще хочу, чтобы вокруг меня всегда все было красиво... красивые люди, красивые вещи, красивая природа, красивый муж и красивые дети, – быстро-быстро бормотала она. – И у меня все будет! Только не смейся!

– Оранжевое небо, оранжевое солнце, оранжевый верблюд... – запела Аня.

– Помолчи, глупая глупышка! И знаешь что, еще очень хорошо, что я русская, а не еврейка, как ты.

– Но мы же сестры? Значит, вы тоже евреи.

– Нет, мы русские! – утверждает Лиза. – Дура ты! У меня Маня русская, папа русский и мама русская.

– А Моня? Он же дедушки Наума брат.

– И Моня тоже русский. Я паспорт видела. По крайней мере по паспорту он русский.

– По-моему, насчет Мони ты все же ошибаешься, – пронизательно заметила Аня.

– Ладно, пошли! – помрачнев, велела Лиза.

Испугавшись, что Лиза рассердилась и такое редкое в последнее время согласие нарушится, Аня заторопилась:

– А мне, знаешь, вообще всегда трудно говорить про что-то, чего я не знаю, я ведь даже сочинения на вольную тему никогда не пишу, всегда выбираю лучше про произведения... так вот... Я же про будущее ничего не знаю, не знаю, чего мне захочется, поэтому мне про счастье в будущем сказать трудно. Я тебе скажу про прошлое и про сейчас, можно?

Лиза кивнула и ласково смахнула снег с воротника Аниной куртки.

– Помнишь, меня в первом классе тошнило по утрам? Как-то на большой перемене всех повели во двор гулять, а я еще тогда не знала, что нельзя не хотеть, и не захотела. Все ушли, а меня учительница в классе заперла. Их долго не было, а я в туалет захотела. Ну не описаться же. А в классе фикус стоял... и, представляешь, они входят в класс, а я писаю в цветочный горшок!

– А при чем тут счастье?

– Не знаю при чем, но при чем-то точно есть. Чтобы такого больше не случалось.

– Это прошлое. А ты еще сказала «про сейчас».

– Да. Сейчас мое счастье конкретно состоит в том, чтобы не ходить на физкультуру.

– Неинтересное твое счастье, – машет рукой Лиза, – пойдем домой.

Девочки молча бредут к метро, разгребая ногами вялую тающую массу. Лиза еще раз перебирает в уме свои мечты, а Аня думает: «Лиза просто не понимает». На последнем перед каникулами уроке физкультуры нужно было прыгать через козла. Об этом невозможно было даже помыслить, не то что прыгнуть! Аня была уверена, что ей ни за что не перенести свое толстое тело через обтянутого черной кожей монстра, и понадеялась, что в предканикулярной суете ее забудут. Она уютно угнездилась в самом дальнем углу раздевалки с книжкой «Девочка, с которой детям не разрешали водиться» и погрузилась в чтение, восхищаясь и завидуя смелости хулиганистой рыжей героини. Вдруг, почувствовав, что она не одна, Аня вскрикнула от неожиданности и увидела вблизи от себя физкультурника со зверским выражением лица. Физкультурник надвигался на нее, широко расставив руки, как будто ловил курицу. О том, как уже через пару минут она восседала на козле, лучше даже не вспоминать. Хотя, конечно, все одноклассники вдоволь повеселились!.. Переодеваясь обратно в школьную форму, Аня потеряла свой физкультурный костюм. Брюки и футболка лежали на полу перед ней, но взять их она не могла, не могла, и все! Наверное, оттого, что она так долго служила предметом общего веселья, что-то сместилось в ее голове – ей показалось, что это чужие вещи, хотя такой дорогой и красивый костюм был только у нее. Конечно, Лиза не понимала!

Лиза и Аня с детства собирали театральные программки. Вечером, сидя на Аниной кровати в пижамах, театралки ностальгически перебирали толстую пачку.

– Ну ладно! – вдруг голосом Карабаса-Барабаса зашипела Лиза. – Перед сном надо бы тебя как следует напугать!

– Ой-ой-ой! – заверещала Аня.

Это была еще одна любимая ими детская игра – «страшилки».

– Синяя рука вышла из дома, – замогильным голосом привычно завела Лиза, и Аня уже успела приятно испугаться, как вдруг Лиза прервала завывание и спросила: – Слушай, что мы как маленькие? Хочешь, я тебе лучше расскажу, что у нас с Женей было? Поклянись, что никому не расскажешь!

– Клянусь! – с готовностью ответила Аня, подвигаясь поближе к сестре.

– Повторяй за мной: «Пусть я на всю жизнь останусь жирной коровой...»

Желание узнать Лизину тайну было столь сильным, что Аня послушно пробормотала за ней клятву, даже не обратив внимания на обидные слова.

Запинаясь, Лиза поведала сестре придуманную на ходу историю, как после уроков они с Женей пошли к нему домой и там он так просил, умолял, клялся в вечной любви и даже плакал, что Лиза уступила его мольбам и...

– Ты не можешь представить себе, как он умолял! Стоял на коленях, говорил, что покончит жизнь самоубийством... плакал... Я никогда не видела, как мужчины плачут... – задумчиво рассказывала Лиза, горестно глядя вдаль, мимо Ани.

– Ну и что дальше? – выдохнула Аня.

– Я уступила его мольбам...

– Ты теперь... – Аня не могла найти слов. – Ты...

– Да! Теперь я – женщина... А хочешь, я тебе покажу, что мы делали? – Лиза помолчала и решительно выпалила: – Сними пижамные штаны!

Аня протестующе мотнула головой, заранее зная, что не сможет противостоять сестре, и надеясь, что Лиза все-таки передумает. Но Лиза, скрывавшая свою неуверенность за командным тоном, не передумала, и через минуту, закрыв глаза от стыда, Аня уже лежала на кровати с поднятой вверх рубашкой, а Лиза, возвышаясь над ней, с интересом рассматривала темный треугольник волос, зажатый между жирными складочками, и розовые стрелы, опоясывающие Анин живот. Любопытство ее быстро сменилось волнением, и она вдруг почувствовала знакомое дуновение ветерка внизу живота, переходящее в ноющую боль.

– Смотри, сначала он сделал мне вот так... – прерывающимся голосом сказала она и неожиданно для себя самой сильно развела в стороны Анины ноги.

– Лиза, ну пожалуйста, не надо, – заныла Аня, и из-под ее крепко зажмуренных глаз показалась слеза.

У Лизы не было никакого представления о дальнейших действиях, но прекращать такую интересную игру она не собиралась.

– Хочешь, я тоже разденусь? – Не дожидаясь ответа, Лиза быстро скинула одолженную Аней фланелевую пижаму в мелкий цветочек. – Смотри, я тебя не стесняюсь, мы же сестры. Тебе лучше узнать про это от меня, чем от чужого парня. И потом, я же не сделаю тебе больно, понимаешь? И ты такая же взрослая, как я, правда?

Аня согласно кивнула и, открыв глаза, сквозь слезы доверчиво

посмотрела на Лизу, непроизвольно попытавшись сдвинуть ноги. В Лизиних глазах горел хорошо знакомый ей с детства огонь. Так она смотрела на даче, заставляя неуклюжую семилетнюю Аню прыгать вслед за ней с сарая. «У меня ничего не получится!» – ныла тогда Аня, равно избегая смотреть вниз на землю и Лизе в глаза. Когда Лиза устремляла на нее этот специальный настойчивый взгляд, лучше было не возражать и слушаться, иначе она переставала с Аней разговаривать. Приходилось просить прощения, Лиза кривлялась, прощения не давала... Сейчас лучше потерпеть, подумала она. Лиза долго рассматривала сестру, лежащую перед ней с раздвинутыми ногами, потом вдруг непроизвольно протянула руку и потрогала ее сначала сверху, а потом внутри между ногами.

Игра требовала продолжения, вернее, продолжалась уже сама, по не зависящим от Лизы законам. Рассмотрев и потрогав сестру, Лиза внезапно ощутила знакомую с детства злую радость от своей власти и Аниной беспомощности и попросила, чтобы Аня потрогала ее в ответ. Та, поначалу в ужасе отключившись от реальности, теперь поняла, что ничего страшного ей не угрожает, перестала бояться и послушно выполнила все, что велела сестра. Аня почти успокоилась, подумав, что всегда слушалась Лизу и ответственность за правильность их общей жизни лежала на Лизе. Лиза долго двигала Анину руку, потом ее рукой погладила себя по небольшой, стоящей остренькими пирамидками груди. Затем Лиза улеглась на нее сверху и подвигалась, приговаривая, что именно так делал Женя.

– Хочешь узнать все до конца? – спросила она глухим дрожащим голосом.

Аня молча кивнула, надеясь, что, когда она узнает все до конца, на этом все и закончится. Лиза повела глазами вокруг, схватила огромный красно-синий карандаш-великан и недолго думая засунула его между Аниными ногами. Вспомнив все, что она знала из прочитанных украдкой медицинских книг и дворовых песен, она постаралась просунуть карандаш как можно глубже.

– Он сделал мне вот так... – увлеклась она, уже сама не помня, что врет, внезапно нажала посильнее и вдруг слетела на пол, отброшенная сильным ударом.

– Ты с ума сошла! Больно! – плакала Аня, зажимая руками низ живота.

В первый момент Лизе показалось, что она неосторожно ранила сестру, и она метнулась к телефону звонить Мане и требовать немедленной медицинской помощи. А в следующую секунду потеряла сознание. Увидев побледневшую, с закатившимися глазами Лизу, Аня, все еще подвывая от боли, бросилась ее тряхнуть и вскоре вытащила из убежища, где сознание

спрятало Лизу от страшной реальности.

Девочки вместе отстирывали пятно крови с простыни, потом до ночи сидели обнявшись. Лиза гладила всхлипывающую сестру, приговаривая: «Ничего, зато ты теперь, как я, тоже женщина, мы же сестры с тобой, у нас все должно быть одинаково...» В какой-то момент она сообразила, что Аня не вполне понимает, что только что лишилась девственности, а всхлипывает от счастья, растроганная непривычной Лизиной жалостью. К ужасу Лизы от содеянного и страху, что она повредила Анинуму здоровью, примешивались четкие трезвые мысли. Как честный человек, она должна теперь тоже немедленно потерять девственность, чтобы искупить свою вину перед Аней. Только как это сделать? «Не просить же Аню, в свою очередь, проткнуть меня карандашом! Да я бы и попросила, но как признаться в жутком вранье?!» – грустно улыбнулась она своим мыслям. Сказать, что вся история придумана от начала до конца, означало открыть Ане свою слабость, незащищенность. Нет, она должна остаться старшей, главной, непогрешимой, иначе невозможно! «Бедная Анька, ни за что пострадавшая глупышка!» Так, поглаживая почти счастливую Аню по голове, Лиза наконец и заснула.

Вернувшиеся Дина с Додиком нашли дом и Аню в полном порядке. Дина вручила девочкам по паре колготок и нарядных шоколадных зайцев, а огромный пакет с Аниными подарками распаковывать при Лизе не стали. На прощание Дина вынесла ей большой, упакованный в газету сверток. Лиза взяла, сказала спасибо. Оставшись на минуту одна в прихожей, она молниеносно засунула руку в карман Аниной куртки и вытащила из него заколочку с голубым камешком. Выйдя из подъезда, Лиза размахнулась изо всех сил и забросила заколку далеко в кусты. Хотела отправить туда же и газетный сверток с подачками, но знала про себя, что не сделает этого ни за что.

Дома Лиза, сидя в своем закутке за шкафом, доставала и разглядывала знакомые Анины кофточки и платья. Одна ночная рубашка и две пижамы, одна из них та, фланелевая в цветочек, в которой Лиза только что спала в гостях, юбка, которая давно ей нравилась... А ведь она, пожалуй, будет ей велика... Ой, какие чудные, ужасно дорогие ажурные колготки, таких не было ни у кого в классе! Лиза натянула колготки на руку, и рука засветилась огромной безобразной дырой. Лиза заплакала. Она сама не знала, почему она плакала – от пережитого ночью потрясения, от унижения или потому, что на вождеденных колготках оказалась дыра, или от вспыхнувшей опять ненависти к Ане... Ощущая себя пустой настолько, будто сейчас взлетит,

Лиза обложила себя в кровати старыми игрушками, уткнулась в облезлую обезьяну и сразу почувствовала, что ничего плохого не было.

Утром Лиза пошла в школу во всем новом – Аниной кофте, надетой на школьную форму, Аниных защитных ажурных колготках. С колготками обнаружились, правда, некоторые сложности. Чтобы скрыть зашивку на коленке дырку, колготки пришлось перевернуть. Теперь шов оказался в невидном месте, под коленкой, зато из туфли торчала пятка, которую приходилось время от времени заталкивать обратно.

Лиза изменилась. Она всегда тяжело просыпалась, но раньше, едва услышав будильник, вскакивала с постели как солдат, а теперь подолгу лениво лежала в постели, размышляя, не сказать ли больной. Лиза действительно почти каждое утро ощущала вялость, кружилась голова, подташнивало, и часто так продолжалось до самого вечера. Часов с семи она с наслаждением думала, что скоро можно будет лечь спать. Не в Маниных привычках было присматриваться к душевному состоянию членов семьи, но плохой Лизин аппетит она заметила быстро. Веточка выдала Лизе витамины, Маня добыла банку черной икры, а Моня тихонечко вглядывался в Лизины потухшие глаза и вздыхал. «Не волнуйтесь, папа, это переходный возраст», – успокаивала его Веточка. И покупала следующую баночку с витаминами.

Дома с Лизой стало тяжело, неприятно. «Лиза, очнись!» – говорили ей, если она слишком уж долго сидела неподвижно, погруженная в свои мысли. Лиза возвращалась, но не на радость домашним. Ее апатия сменялась раздражением, прежде она его прятала, а теперь срывалась – шипела, покрикивала и тут же начинала плакать. Она с трудом выносила Костю, лежавшего посреди комнаты на диване в тренировочных штанах, Веточкину суету на кухне, Манины словечки. Только к Моне относилась терпимо, выразительно посматривала на него, мягко говоря, не самую элегантную домашнюю одежду, но молчала.

Неимоверных усилий требовала учеба. Лизу одолевала сонливость, и, к удивлению учителей, примерная отличница могла откровенно задремать на уроке. Пока что ей всё прощали.

Ее сознание старательно отметало немногие радостные события, происходящие вокруг. Впервые Лиза отказалась идти на школьный день рождения, фыркнула на предложение Веточки сходить в театр, перестала бегать с одноклассницами в кино. Ей нравилось грустить. Печальные стихи, чужие неприятности были сейчас созвучны ее настроению. Она даже поехала вместе с Маней навестить Цию, ей хотелось почувствовать,

как именно тетке плохо, напитаться ее горестями.

В действительности Лиза была одержима сейчас лишь одним: что именно они с Аней будут делать ночью. Каждую субботу, отправляясь в гости к сестре, она очень старалась справиться с собой и даже брала с себя клятву, что больше не станет играть с ней в мерзкие, порочные игры, и каждый раз точно знала, что клятву нарушит. Она начинала думать об этом за несколько дней, ощущая себя настоящей преступницей, достойной самой страшной кары. В душе шевелилось гадкое любопытство, куда может завести их обеих Анино послушание и ее власть, к чему она может принудить сестру. Одновременно она испытывала безнадежное чувство, что теперь уже все равно, уже все пропало... Лиза привычно сердилась на Аню за глупую невинность, за то, как сильно мучается завистью сама Лиза, а сестра ни о чем не подозревает. Но она как-то вся опала, словно сдувшийся шарик, и единственное, на что она осталась способна, была какая-то слабая, заплаканная злость.

Лиза уже не понимала, что же с ней происходит, почему она к Жене стала безразлична, а мысли об Ане становились все неотступнее. Теперь ей все чаще приходила в голову странная мысль: может быть, она влюблена в Аню? Бедная Лиза! Если бы она могла кому-нибудь признаться, если бы этот кто-то мог открыть ей, что она действительно влюблена, но не в сестру, а в любовь. Если бы этот кто-то сказал ей: «Да, Лиза, девчонка ты, конечно, испорченная, но все это детские глупости, так что жить будешь!» Никто не мог ей помочь, и Лиза считала себя недостойным ничьих добрых чувств монстром.

Аня ждала Лизиных приездов с тоскливым страхом. Она не вполне понимала смысл происходящего и лишь испытывала ужас перед скорым разоблачением их игр. Аня была совершенно уверена, что Дина может узнать об этом в любой момент, потому что мать была везде. Как и Лиза, она стала плохо спать, только аппетит ее не покинул: ела она теперь еще больше, как будто исполняла свою главную обязанность – последнюю обязанность, остававшуюся ей от прежней чистой жизни. Аня была так изнурена постоянным страхом, что впервые в жизни ее оставила болезненно ковыряющаяся в сознании мысль: Лиза, любимая сестра, не захочет с ней больше дружить. Ей казалось, что она перестала любить Лизу и доверять ей. Аня была приятно удивлена, убедившись, что даже ее привычке к послушанию тоже есть предел. Бунтовать она и не мыслила, слушаться Лизу не перестала, но прибегла к единственному оружию слабых – просто взяла и разлюбила Лизу.

Все случилось так, как виделось Ане в самых ее страшных видениях. Лиза гладила ее, стыд уже не был таким острым, и Аня чуть задремала. А открыв глаза, увидела над собой мать. Привлеченная какими-то шорохами, Дина вошла в комнату и удивилась, обнаружив Лизин диван пустым. В следующий миг она бросилась к двум фигурам на кровати и оттащила Лизу от дочери за шиворот, как котенка. Даже в этот совершенно нереальный в своем невыносимом ужасе момент Дина отстраненно подумала, что ни за что не хотела бы разбудить Додика криками или Аниным плачем, что Лизу все равно не выкинешь на улицу ночью и до утра придется терпеть ее в своем доме. Она молча показала Лизе на гостиную и, пошатываясь, вышла из комнаты. Сил взглянуть на дочь у нее не было, да она и сомневалась, была ли у нее теперь дочь...

До утра Дина просидела на кухне. Когда рассвело, она зашла в гостиную к Лизе, испуганно вжавшейся в кресло, и молча, прижав палец к губам, махнула в сторону двери. Даже «убирайся вон» не обронила. Вывела в прихожую и закрыла дверь.

«Странно, что Дина, такая предусмотрительная, не подумала, что я скажу дома, – рассуждала Лиза, спускаясь по ступенькам к Неве. – Я сейчас утону, и она всю жизнь будет мучиться». Лиза специально добиралась сюда, к реке, от Динино дома, долго шла пешком и ужасно замерзла. Больше идти было некуда. Лиза медленно подошла к воде, заплакала и подумала: «Все!» Затем нагнулась, потрогала ледяную воду и пулей ринулась вверх по ступенькам. Упала, разбила коленку и, не чувствуя боли, помчалась по набережной. Домой, скорее!

А Дина, неслышно затворив за Лизой дверь, опять уселась на кухне. Сегодня воскресенье, Додик с Аней будут спать долго, она успеет все решить. Сначала необходимо продумать практические шаги. Додик не должен ничего знать, это во-первых. Никто не должен узнать, это во-вторых. И наконец, никто не должен узнать никогда! Дина открыла записную книжку. К своему гинекологу – блестящей ярко накрашенными губами и любопытными глазами Ирине Викторовне – Аню вести нельзя. Врач нужен не близкий и даже незнакомый, чтобы никаких слухов не просочилось. «А зачем, собственно, вести дочь к гинекологу, что может сказать врач? – спросила себя Дина. – Не с мальчишкой же я ее застала...» Но почему-то этот визит был необходим, не для Ани, а для самой Дины. Пусть врач заверит, что ничего страшного не произошло, девочка здорова. В четырнадцать лет вести дочь к гинекологу... Какой позор! Разве она ее неправильно воспитывала? В чем она виновата? Что она делала не так?

Дина вскочила, как только услышала робкие шорохи из комнаты дочери. Она принесла Ане завтрак в постель и, не глядя на нее, размеренно произнесла:

– У тебя температура и начинается грипп. Сегодня не вставай.

Дина решила на сегодняшний день максимально изолировать Додика от дочери.

– Давай сегодня поедem покупать мне шапку, сегодня все магазины открыты. Уже вторую неделю выбраться не можем.

– А как же Аня? Она же заболела...

– Полежит, подремлет, телевизор посмотрит, температура у нее невысокая...

В поисках шапки они объездили все большие универмаги города и, вернувшись вечером домой, нашли Аню уже спящей.

Когда пожилая равнодушная докторша вышла из-за ширмы, за которой осматривала Аню, с неожиданно заблестевшими, оживившимися глазами, у Дины мгновенно заняло сердце.

– Мамаша, а девочка-то ваша уже где-то девственность успела потерять. Вы ее порасспросите. Сколько ребенку лет, вы говорите? Да, вот дети-то... А ведь вроде бы приличная семья...

Она брезгливо посмотрела на помертвевшую Дину и ловко подхватила выпавшую из ее рук огромную коробку конфет.

Дина молча, со сжатыми губами, вела за руку дочь. Мать еле перебирала ногами, задумчиво глядя куда-то в сторону и вверх. Казалось, она забыла не только о потной Аниной ладошке в своей руке, но и кто такая Аня. Дина впервые обращалась сейчас к Богу, к своему еврейскому Богу. Она решительно ничего не знала ни о Нем, ни о каком-либо другом, но кто же еще примет ее сейчас, такую беззащитную в своем позоре... Откуда-то из генетических глубин сознания рождались слова, незнакомые, никогда не слышанные прежде, а скорее просто прочитанные когда-то в книгах. Не проронившая ни слезинки, умеющая держать удар, «нехорошая девочка», как называли ее родные, Дина мысленно причитала, как синагогальная старушка: «Боже, Боже. Почему ты меня оставил? За что? Что я сделала не так? Я так старалась всегда быть хорошей, ты же знаешь, Господи, я и правда старалась...»

1975—1977 годы

ССОРА

– Ну Дина, где ее совесть, совсем Цилю на Маню спихнула, – бурчал Моня. – Нет, ты скажи, когда Дина последний раз здесь была? – Моня повел рукой на лежащую сестру.

Лиля, на глазах становясь еще меньше и беспомощнее, как травиночка вытягивалась вверх и в сторону... сейчас ветерок унесет ее из этой пропахшей несчастьем комнатки, где уже не осталось даже крошечного пространства, не занятого болезнью. Только судно, только пузырьки с лекарствами, таблетки, баночки и тряпочки.

– У нее дела, она звонила, она каждый день звонит, честное слово, – защищала Лиля племянницу.

Моня махнул рукой:

– Дела у нее... Лиля, не делай лицо, как будто тебя пытаются! Я лично уже забыл, когда Маню дома видел. Или у меня уже нет никакой жены, а я и не заметил?

Целый месяц Циля понемногу умирала, по чуть-чуть каждый день. Объяснялась она теперь уже больше знаками, но однажды, собрав все силы, поманила Маню поближе к себе и почти четко прохрипела:

– Чемодан...

– Какой чемодан? Ты бредишь.

– Че-мо-дан! – четко, по слогам повторила Циля и выразительно задвигала бровями. – Наследство..

– А-а... вот ты о чем, – протянула Маня, – опять бредит.

Тетки со времени Цилиной болезни намекали Мане на некое наследство, чему она абсолютно не верила.

– Маня, она правильно говорит, у нас кое-что есть! – вступила Лиля. – Циля мне раньше не разрешала говорить, но теперь она сама хочет, ты же видишь. Я скажу.

– Лиля, ты что, тоже бредишь? Да у вас нет ничего, да и откуда? Всю жисьь вам Наум с Моней помогали... – отмахнулась Маня. – Помоги мне лучше, я буду Цилю переворачивать, а ты тазик неси. А то выдумали тоже, наследство у них...

– Чемодан! – вращая глазами, яростно прошипела Циля.

Лиля вытащила из-под Цилиного дивана небольшой картонный чемоданчик.

– Ну что, набили небось его старыми газетами, – пошутила Маня.
В чемоданчике оказалось столовое серебро.

– Это мамино, никто не знал, что оно у нас, ни Наум, ни Моня... Мы его в войну сохранили...

– А чего молчали-то про его, может, оно им тоже надо? – поинтересовалась Маня, вынимая из шкафа свежее постельное белье.

– Циля не разрешала, говорила, на самый черный день, а теперь она хочет его тебе отдать, я знаю, Маня. Что бы мы без тебя... – Лиля заплакала.

Циля лежала молча, посверкивая уже не такими черными, как прежде, глазами.

– Перестилать-то будем? Лиля! – прикрикнула Маня. – Тоже мне, барыня... Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты... Наследство у нее... Тазик тащи, тебе сказано!

А потом Циля удалилась в свое маленькое местечковое детство и обратно уже не вернулась. Ей снова было хорошо в маленьком местечке с мамой и папой. На идише Циля не говорила лет пятьдесят, а тут вдруг разошлась. Маня совсем перестала ее понимать.

– Мама, гиб мир...^[4] – А дальше совсем что-то неразборчивое.

– Лиля, что она говорит? Тарабарщина какая-то!

– Она просит маму дать ей цимес.

– Господи, это еще что такое?

– Тушеная морковь, сладкая... еще фасоль тоже бывает... Мы ели, когда совсем маленькими были, по праздникам только давали. Так вкусно было...

– Морковь? Тушеная? Это я могу, давай сделаем!

– Папа... – бормочет Циля, – Моше... их абиселэ цудрейтор...^[5]

Лиля заливается слезами.

– О господи, теперь эта ревет! Ну что опять, Лиля?

– Так наш папа всегда про Моню говорил...

– А что это значит?

– Значит, Моня у нас самый смелый, но глупый...

– Да? – заинтересованно спрашивает Маня. – Он так про него считал?

– Тейглах^[6], дай мне тейглах, Маня, дай мне тейглах, – вдруг возвращается Циля и рыдает так горько, что Маня хочет немедленно дать ей все, что только возможно.

– Что, Циля, что ты хочешь?! – кричит она. – Что она просит, Лиля, говори скорей! Может быть, у нас это есть! Или позвоним Науму, он достанет...

- Маня, дай мне лебергхакте^[7] ...
- Что это... Как она говорит – лебер?.. Что это?
- Не знаю!.. – рыдает в ответ Лиля. – Не помню!

И так целый месяц... Маня была совсем одна с умирающей Цилей и плачущей, полностью потерявшей соображение Лилей.

Когда вернулись с кладбища, Лиля неуверенно предложила:

- Давайте, как положено, сядем на пол...

Наум пожал плечами и вышел из комнаты, а Рая с Маней послушно уселись на пол.

- Надо обувь снять... – прошелестела Лиля, стесняясь.

Сняли обувь.

- Молитву кто-нибудь знает? – деловито спросила Маня.

Молитв не знал никто, Маня свои православные забыла, а Лиля с Раей своих иудейских и не знали никогда.

Посидели немного молча и пошли к столу. Цилены подруги, продавщицы из Лилиного книжного магазина, соседи из коммуналки на Маклина, соседи с Троицкой... На Цилиных поминках, устроенных у Наума на Троицкой, было неожиданно много людей. Лишь поздно вечером за разоренным столом осталась только семья.

Лиза сидела у окна и рассматривала фигурки в шкафу. Серебряные, золотые, фарфоровые и нефритовые зверьки каждый раз были расставлены по-разному, как будто сами жили своею звериною жизнью. «Кто же их переставляет, неужели Наум? Невозможно представить, что он играет со зверьками, как мы с Аней с Буратино и Пьеро», – подумала Лиза.

Поминали Цилю по русскому обычаю напеченными Маней блинами и киселем, но, кроме блинов, на столе было много еды. Циля умерла как раз на Пасху, и чай пили с Маниными куличами, а в центре стола стояла пирамидка жирно-желтой пасхи с выпуклым крестом на каждой стороне. С пасхой соседствовали неубранные остатки Раиной фаршированной рыбы, но картина эта вовсе не являла собой воплощение дружбы народов, а лишь подтверждала полное безразличие к религии и обычаям – пасху и куличи ели просто как сладкое.

– Ни у кого не бывает такой вкусной пасхи, как у мамы Мани, – привычно похвалила Дина.

– Так это еще мамин рецепт, – так же привычно откликнулась Маня. Кроме маминого рецепта, она владела, пожалуй, единственным деревенским наследством – деревянными формочками с выбитыми крестами.

– Мы теперь остались здесь все свои, давайте выпьем за Маню, – предложил Додик, – она ухаживала за Цилей до самого конца.

– Ладно тебе, – отмахнулась Маня. – Слушайте, я чего вспомнила-то... Циля с Лилей мне чемодан с ложками-вилками показывали. Да, Лиля? Так надо его между всеми разделить!

Лиля по своей привычке вытянулась травинкой и беспомощно взглянула на Дину.

– Я забрала серебро, – спокойно сказала Дина.

Маня непонимающе на нее смотрела:

– Ну так потом принесешь, сама раздели на всех.

– Циля завещала столовое серебро мне. Она так сказала, правда?

Лиля кивнула. Еще до Цилиной болезни они любили иногда поговорить о том, как отдадут когда-нибудь серебро Дине, девочке, сиротке, кровиночке... Она единственная о серебре знала и пару раз пыталась выпросить, но Циля твердо сказала: «Только после моей смерти!» Вот, как Циля умерла, Дина сразу и пришла за чемоданом. Положила в большую сумку и унесла.

Маня растерянно молчала. Зато приподнялась Танечка.

– А почему это ты решила, что это все тебе? – покраснев, обратилась она к сестре. – За какие это твои достоинства ты должна получить столовое серебро начала века? Может быть, за то, что ты тетку бросила, за весь месяц, что она умирала, ни разу не появилась?

– Я до этого там вполне появлялась, в отличие от тебя, – невозмутимо ответила Дина.

– А по-моему, ты просто украла серебро! – Танечка впились глазами в сестру. В семье считалось, что ей нельзя нервничать, она начинала дрожать и задыхаться. – Почему все тебе, и комнату тебе...

– Как комнату?! – испуганно закричала Маня, клацнув зубами. – Это еще что такое – комнату?!

– Твоя любимая Дина потихоньку прописала к теткам в комнату свою Анечку! А ты что, не знала? Зря она, что ли, бегала к теткам? Додик подсуетился, дал взятку кому надо, и комната теперь Ане достанется!

Ошеломленная Маня молчала. До нее все доходило небыстро, и теперь она с трудом пыталась осознать предательство родственников.

– Таня, успокойся! Комната нам теперь ни к чему, и серебро тоже, нам его все равно не вывезти! – вступил Алик, потянув жену за руку.

Костя вопросительно взглянул на него:

– Алик, неужели вы решили... Не может быть!

Переглянувшись с зятем, Наум укоризненно покачал головой: «Зачем

же сейчас об этом, не время...»

– У меня для вас новость. Мы уезжаем, – не обращая внимания на выражение лица отца, объявила Танечка и торжественно улыбнулась.

Шел 1977 год, отъезды были редкими и не коснулись семьи, из знакомых никто не уехал, и новость всех совершенно ошеломила.

– Как уезжаете... куда... – бормотал Моня. – Нема, ты что, меня бросаешь, что ли? Цилька умерла, а ты что, правда уезжаешь?.. Не можешь ты меня бросить, а как же я, ты ведь старший, Нема! – Моня заплакал.

– Я – член партии! Вы меня без ножа режете! – В Додиковом крике прозвенели визгливые нотки. – Что вы написали в анкетах? Что у вас есть сводная сестра? Сводная сестра – это не настоящий родственник!

Рая всегда хвасталась: «Я могу выкрутиться из любой ситуации» – и слово «выкрутиться» звучало у нее так вертко, вкусно и зримо... Сейчас, напряженно улыбаясь, Рая толкнула в бок мужа:

– Скажи им, что все еще очень неопределенно, сначала поедет Танечка, а о нас говорить рано, мы еще пока никуда не уезжаем.

Дина смотрела только на Раю.

– Мама?.. А как же я? – тихо, одними губами, прокричала Дина.

Она медленно поднялась с чашкой в руке, обошла стол, замерла около Раи, аккуратно поставила чашку, стряхнула со стола крошки и медленно осела на пол. Для не склонной к театральным эффектам, всегда чуть замороженной Дины это было так странно, так неприлично, что замершие от неожиданности родственники не знали: броситься ли поднимать ее или сразу вызывать врача. Первым опомнился Додик. Усадив жену на стул, он легонько похлопал ее по щекам.

– Мама, помнишь, ты такой вкусный суп варила, Танечке давала, а папа один раз говорит: «Дай Дине тоже такого супа», а ты не давала, никогда не давала мне такого супа... – шепотом, как в полузабытьи, вдруг сказала Дина.

Давным-давно, когда дети были маленькими и Науму с Мoneй хотелось что-то от них скрыть, они переходили на идиш. Маня всегда воспринимала это как личную обиду, как Монин уход в его частное пространство, куда ей самой не было доступа.

– Моня, кум цу мир^[8], – подал голос Наум.

– Говори по-человечески! – потребовала Маня. – Да что тут говорить! – Маня встала, угрожающе нависая над поминальным столом. – Моня, пошли! – скомандовала она.

Моня послушно встал из-за стола и, виновато пожав плечами, потрусил за женой. Вслед за ними вспугнутой стайкой потянулись Костя с

Веточкой и Лизой.

Не попрощавшись, Маня большими шагами вышла на знакомую ей до последней щербинки лестничную площадку.

Маня порвала с семьей сразу и навсегда. И в один миг еще вчера любимые родственники стали ей ненавистны. Она могла бы еще простить историю с Цилиным чемоданом. Маня вообще была равнодушна к вещам, и ей искренне казалось, что комплект столового серебра можно разделить между родственниками, выдать каждому по паре ложек и вилок, подумаешь, большое дело! Но с понятием «жилплощадь» у нее, как у всякого советского человека, были свои давние непростые отношения. На словах «квадратные метры» Маня всегда делала стойку.

– Они сговорились оставить меня в дураках! – брызжа слюной, кричала она на Моню, хотя сама никогда даже не мыслила прописать кого-то из своих в комнате теток.

– Фантомас разбушевался, – прошептал Моня невестке и, вежливо улыбнувшись жене, нырнул от греха подальше к себе в комнату.

– У нас тоже есть кого прописать! Вету могли бы или Лизу! А теперь все пропало, все им! – неслось ему вслед.

Если бы обидевшие Маню родственники пришли виниться и просить прощения на следующий день, все могло бы еще закончиться иначе, но никто не пришел и не позвонил.

– Ходит, ходит кругами, как тигра в клетке, – испуганно косился Моня на жену со сжатыми в ниточку губами и страшными запавшими глазами. Впервые за много лет часами молчал телефон.

Маню грызла обида... Ее обошли, обманули, обмишурили, как последнюю дуру! «Они», собравшись вместе, провернули все за ее спиной! Это простить нельзя! Самым непереносимо страшным было для нее то, что все произошло втайне от нее, как будто она не главный человек в семье, а так, Петрушка!

Злоба так распустила лапы в Маниной душе, за это время столько плохого она успела сказать про бывших любимых родственников, что Моня только ойкал испуганно, прячась по углам от ее высекающего искры взгляда.

Теперь Маня пользовалась любым предлогом, чтобы осудить тех, кому еще вчера была так предана. Самые любимые Дина с Додиком

моментально стали зловными исчадиями ада. Они отобрали квадратные метры, Манины метры!

– Если бы Костя воровал, как Додик, мы бы тоже давно на машине катались! – шипела она.

Никогда не позволявшая отмечать разницу в достатке своей семьи и Гольдманов, теперь на Лизин отказ есть вчерашние котлеты Маня злобно ответила:

– Что, не хочешь? Конечно, мы же не Гольдманы! У нас икры нету! Они-то никогда дешевые продукты не покупают, им только дорогое подавай! Уж я-то знаю!

Все много лет подспудно копившиеся обиды вырвались теперь наружу.

– Слушай, дед, а здорово Маня всегда притворялась, что она их всех любит! – посмеиваясь, сказала Лиза Моне.

– Что б ты понимала, маленькая еще! Она не притворялась, потому так и злится, что столько лет... А-а... да что там говорить... Ты же ничего про ту нашу жизнь не знаешь.

Как раз сейчас Лиза понемногу «про ту жизнь» узнавала. Представляя, как «они» сговаривались тайком, Маня постоянно ковыряла свою рану, растревляла себя горькими мыслями о кипевшей за ее спиной жизни. Не стесняясь больше внучки, Маня завела разговор о пресловутой брошке, той самой, о которой когда-то мечтала маленькая Лиза. Думала, что ей не хватает всего лишь этой брошки, чтобы стать настоящей королевой...

– Деда твоего с наследством тоже обманули! Ему-то ничего не досталось, а Науму брошка брильянтовая материна. А почему ему? По справедливости надо было продать и между всеми деньги-то разделить. Только Немка не такой, чтобы делиться! Теперь вот семью рушит, разрешил Таньке уезжать незнамо куда. У нас в больнице все говорят, что оттуда, из Израиля этого, все потом обратно просятся!

В бедной Маниной голове шла постоянная работа по оживлению старых обид. Вдруг о какой-то Муре стала деду говорить:

– Помнишь, у Муры шуба была, котиковая? Все бедно жили, а у нее шуба!

Выяснив, что Мура – это первая жена Наума, а дело было еще перед войной, Лиза пожалала плечами. Охота же Мане так себя будоражить, вспоминая доисторические времена.

В доме не разрешалось теперь упоминать даже фамилию Гольдман никому, кроме самой Мани. Основным ее собеседником была Лиза.

– Все они такие! Хорошо, что я не Гольдман, не хочу с ними на одной фамилии быть! Мне тогда в больнице умные люди сказали, что брать такую

фамилию не надо, вот я и осталась Бедная.

– А дед почему не Гольдман, а Бедный? Он, что ли, взял твою фамилию?

– Ты что такое говоришь! – пугается Маня. – Где же это видано? У них знаешь, как в семье строго было? Они и так-то меня не очень хотели. Это уже потом, во время войны... дед твой документы потерял и записался русским... А фамилию мою взял – стал Бедным. Только ты никому про это не рассказывай! – подмигнула она Лизе. Маня задумалась и вдруг с детской обидой сказала: – А вот еще я вспомнила... про Наума. У нас тогда денег совсем не было, чтобы теткам дать, а очередь наша подошла. Так я велела Моне часы золотые в ломбард снести, у его из Германии были привезены. А Наум говорит, дескать, ты заложу у меня. Ну... Моня ему и отнес. Денег-то не собрали выкупить, так часы у его и остались.

Незаметно подкравшийся Моня засмеялся.

– Вот у меня в семье люди как люди, а у Наума одни евреи! – неудачно пошутил он.

– Да евреи все такие, уж я-то знаю, – всерьез подтвердила Маня.

– Ну ты даешь, бабушка, а Моня у нас, по-твоему, кто? И вообще, если бы они были рыжие, ты бы сказала, что все рыжие такие? – склочно завела Лиза.

– Все евреи такие, – упрямо повторила Маня, беспомощно подергивая губами.

Почему за ее спиной они так с ней поступили? Все рассказы о подлых корыстных евреях зашипели, свиваясь клубком у нее в мозгу. Лизе казалось, что вместо щедрой на любовь Мани по дому бродил инопланетянин с бедным, глупым и колючим ежиком вместо головы: злые мысли высывались из него шипами, а часть колючек была направлена внутрь, раздирая его самого.

Прошел месяц. Как-то в воскресенье Веточка вдруг спешно увела Лизу на улицу. Моня хотел увязаться за ними, но Маня его непустила, строгим голосом велела сидеть дома. Лицо ее неуверенно колебалось между злобой и детской беззащитностью.

– Ой, дядя Наум, здравствуй! – бросилась Лиза к сидящему на скамейке у подъезда Науму. – Ты здесь откуда? А где остальные?

– Я позвонил Мане и спросил, можно ли мне прийти.

Веточка испуганно кивнула.

– Я хочу попросить прощения за себя и за Дину. Как ты думаешь, Маня... простит? Как там она сегодня?

– Конечно, простит, дядя Наум, она сама очень переживает!

– Вета, а может, ты со мной пойдешь? Или ты, Лиза?

– Ой, что вы! – испугалась Веточка. – Мы специально ушли. Да вы идите, не бойтесь, а мы тут посидим.

Через час мимо них, неуверенно переставляя ноги, медленно прошел Наум. Он плакал.

– Не простила... – протянула Лиза.

Ссора не очень занимала Дину. Мама Маня подуется какое-то время, а потом простит. Главной для Дины давно уже была ее семья. Конечно, она виновата в том, что проделала все с комнатой и серебром за Маниной спиной. А с другой стороны, кто теткам племянница, кто теткам сирота... И столового серебра ей хотелось больше, чем она боялась Маниных обид, не говоря уж о комнате! Прописать Аню в комнате теток означало устроить ее будущее, кто же этого не понимает. Это – совершенно очевидные вещи!

После той страшной ночи Лиза, Аня и Дина впервые увиделись на Цилиных поминках. Все это время Дина страстно убеждала себя, что ничего страшного не произошло.

Это были просто детские игры, не более, пусть даже неудачно закончившиеся. Она непрерывно вела внутренний диалог сама с собой: «У меня же были отношения с Костей, – защищала она дочь перед собой. – Да, но не однополые отношения, – отвечала она себе и корчилась от омерзения. – Косте было всего шестнадцать, когда все это началось, может быть, Лиза в него такая ранняя... ах да, и Аня тоже». – Она с трудом вспоминала, что Аня Костина дочь.

Дина стала иначе вести себя с дочерью. Сквозь любовь все чаще пробегало ощущение, что Аня ее подвела, она не отвечает представлениям об идеальной семье, подчиняясь которым Дина жила все эти годы. У нее, Дины, должна быть образцово-показательная жизнь. Четырнадцатилетняя невественница дочь в понятие «как надо» не вписывалась, а Дине хотелось бы поставить дочь как рюмку в сервант – строго на свое место – и протирать через день, по плану.

В понедельник утром на первой же перемене к Дине подбежала молоденькая учительница математики Алена. Выглядела она так, как будто с утра забыла не только умыться и причесаться, но и проснуться.

– Дина Наумовна! Вы знаете, что случилось?

Дина покачала головой.

– Козакова и Малышев из девятого «Б» в субботу целовались в раздевалке! Я говорила, эта парочка добром не кончится!

– Алена Игоревна, парочка не может кончиться добром, а история с парочкой может, – необидно поправила Дина. Ею владела такая нежная любовь к родному языку, и она умудрялась поправлять учителей так тихо и тактично, что они не только не обижались, но даже благодарили.

– Мне будет выговор! Возможно, даже строгий! – объявила Алена и по-детски скривилась. – И премию из-за них теперь не дадут...

Все Аленино семейство сгруппировалось здесь же в школе: мать работала уборщицей, а сестра училась в пятом классе. Ни Алена, ни ее сестра не были знакомы со своими отцами. Алена так боялась повторить судьбу своей непутевой матери, что предпочитала вообще ни с кем не встречаться.

– За что вам выговор, объясните толком! Это не вы, надеюсь, целовались в школьной раздевалке?

– Ой, что вы, Дина Наумовна, я вообще еще... ну... не важно, дело не в этом. Произошла ужасная история. Все уже ушли, я зашла в раздевалку проверить, а они целовались, а я была дежурный педагог...

«Дежурным педагогом», – пробормотала Дина про себя.

– Как дежурный педагог я и говорю: «Как тебе, Козакова, не стыдно, из тебя проститутка вырастет, если будешь при всех целоваться!» А тогда он, этот Малышев, говорит: «Я вам не позволю оскорблять...» Ну а я тогда сказала, что ему самому должно быть противно с проституткой и чтобы в понедельник к директору с родителями... – Алена начала тереть глаза и шмыгать носом прямо в школьном коридоре.

– Я пока не вижу повода для вынесения вам выговора. Не стоило, конечно, так говорить о девочке. С «проституткой» вы погорячились...

Алена прервала ее, приблизив губы к Дининому уху:

– Сегодня утром пришли родители. Сидят у директора. Козакову привели со справкой от врача, она два дня редела, ее к гинекологу свели, что она девушка, а не проститутка, и еще от невропатолога... Теперь они в роно собираются, а отец у нее какой-то начальник! Сейчас вас позовут, вы же классный руководитель. Дина Наумовна, дорогая, спасите, они вообще меня уволят! – накручивала себя Алена.

– Дина Наумовна, я надеюсь, вы поможете уладить эту равно неприятную и нехарактерную для нашей школы историю, – значительно посмотрев на Дину, сказала директриса и выплыла из кабинета, слегка

ускорив шаги на пороге.

Дине показалось, что она еле удержала себя от того, чтобы не побежать.

Вздохнув, Дина заговорила:

– Пусть девочка выйдет ненадолго, мы с вами поговорим. – Как только Козакова вышла, Дина под села к матери и начала: – Я понимаю, какая для вас травма то, что случилось... Как мы все переживаем за наших детей, особенно девочек... Так хочется, чтобы они были счастливы и не допускали ошибок...

– Моя дочь не сделала ничего плохого, а ее назвали проституткой!

– Да-да, учительница совсем молодая, она просто неправильно выбрала слова, мы с ней поговорим, накажем ее своими силами. К сожалению, мы не всегда бываем тактичны с нашими детьми... Зачем вам огласка? Для вашей дочери еще одна травма... Учительница очень молодая, она просто испугалась за девочку. Мы же с вами интеллигентные люди... – ласково напевала Дина, содрогаясь при мысли, что эта разряженная дамочка, потащившая своего ребенка к врачу, чтобы обзавестись справками, может называться интеллигентным человеком, таким же, как она, Дина, – дипломированный педагог с большим стажем.

Еще через пару минут растаявшая мамаша нерешительно произнесла:

– А с Ленкой моей что делать? Она не хочет в школу идти.

– Я сама с ней поговорю, возвращайтесь спокойно домой. Приятно было поговорить с такой милой дамочкой...

Выпроваживая дамочку из директорского кабинета, на пороге Дина неожиданно для себя спросила:

– А вам не жалко было дочь к гинекологу вести?..

– Муж сказал: чтобы жаловаться в роно, нужно справки собрать.

– А, да-да, конечно...

Самолюбивая дурочка Козакова, всхлипывая, смотрела на Дину честными глазами.

– Вы понимаете, что самое обидное, Дина Наумовна, я вообще никогда не целовалась, это первый раз, я думала, это такое счастье, что я навсегда запомню... А она меня проституткой... – Лена опять начала рыдать.

Чужую девочку было очень жаль. Дина долго гладила ее по голове, приговаривая:

– Поплачь, поплачь, все в жизни бывает, не все получается, как нам хочется, разные люди встречаются, могут оскорбить, обидеть. Ты и сама не права – зачем целоваться в школе... И на маму не обижайся, все у тебя будет

хорошо, впереди так много хорошего, будет еще много счастья, вот увидишь...

Девочка подняла залитое слезами лицо:

– Вы самая лучшая на свете учительница, Дина Наумовна, мы так все считаем, правда, спасибо вам!..

Уставшая от излитых на нее сегодня эмоций, заранее недовольная, очень похожая в этот момент на Наума, Дина вошла в дом с недовольным выражением лица и придирчиво осмотрела Аню.

– Ну, как дела в школе? – строго спросила она, не позволяя себе расслабиться и улыбнуться.

– Я получила пять по русскому, – робко ответила Аня, – и по истории четыре.

– Ну... хотя бы это хорошо, – вздохнула Дина.

– Мама, что «это»? – в удивлении и отчаянии спросила Аня. – Почему «хотя бы»? Я же не получила при этом, например, двойку по алгебре!

– Сегодня не получила... – мрачно согласилась Дина.

«У меня не было матери, и я не умею быть правильной матерью. Бог знает что ждет девочку, если я сейчас не возьму себя в руки и не стану строгой. Она могла бы лучше учиться, и характер надо выработать, а так – будет подчиняться любому влиянию. Она слишком мягкая, аморфная, я должна ее исправить. Это мой долг», – ежедневно повторяла себе Дина по дороге из школы домой.

Если бы она могла поделиться с кем-нибудь, если бы этот кто-то махнул рукой и сказал: «Какая ерунда, Динка, мало ли что в жизни бывает, это еще не конец света. Брось ты об этом думать! У тебя чудная дочка!» – ее бы отпустило. У этого воображаемого кого-то был голос мамы Мани... Мама Маня – единственный человек, которому Дина не постеснялась бы открыть Анин позор, не просто Анин позор, а семейную неудачу!

Но открыться Мане было невозможно, ведь здесь была замешана Лиза. Дина находила много оправданий для дочери и ни единого для этой... развратницы, гадины. Ее и человеком-то назвать нельзя!

Никаких сомнений, которая из девочек порочнее, кто кого развращал, у Дины не возникало, не возникло бы и у Мани. Бедная мама Маня узнает, что ее единственная внучка – чудовище. Кстати, Маня, как и все остальные, не знает, что девочки – сестры и Аня такая же внучка ей, как и Лиза... Нанести такой удар Мане, которой Дина несла свою детскую неприкаянность, у кого были полные надежные руки, кто давал попробовать пирожки прямо из духовки? Молчанием Дина могла теперь

расплатиться с Маней за все. Ничего она ей не расскажет!

– Как удачно и своевременно вышло с комнатой, – сказала Дина мужу.

– Почему? – удивился Додик. – С Маней неприятно получилось, я чувствую себя виноватым.

– Ничего, образуется, – неопределенно ответила начитанная Дина и усмехнулась. – Ох, я сказала, как Стива Облонский, из меня постоянно вылетают цитаты.

– Издержки профессии.

Жена и раньше без конца опекала и дергала дочку, а теперь все чаще и чаще срывалась на крик. Додик не вмешивался, дом – это Динино хозяйство, к тому же она, как говорят, прекрасный педагог, значит, так надо. Он только еще больше наглаживал, наласкивал Аню.

Ни за что на свете Дина не призналась бы Додику, что произошло с дочерью, почему к ним больше не приходит Лиза, почему она сама не бежит выпрашивать прощение у мамы Мани. Ей казалось, что, узнав об Анином позоре, Додик немедленно разлюбит Аню, даже каким-то образом поймет: Аня не его дочь. И тогда рассыплется семья, созданная таким трудом.

Дина не говорила о случившемся и с дочерью. Как замолчала сразу после визита к гинекологу, так и не упоминала мерзкую историю больше никогда. Аня была уверена, что мать считает ее грязной, недостойной. Так они и мучились обе, мучились, а потом стали понемногу забывать...

В силу своего характера Лиза намного более яростно, чем Аня, считала себя порочной и испорченной, зато забыть все ей удалось еще быстрее, чем Ане. Забыть сестру, с которой она выросла, невозможно. Просто внезапно прекратила о ней думать...

Вот так и случилось, что семья, столько лет бывшая монолитом, тихо-тихо растворилась. Лиля болела, но как-то не столь драматично, как в свое время Циля, не причиняла особенного беспокойства, да и некому уже было причинять беспокойство. Моня ходил к ней тайком от Мани, но и он чувствовал себя плохо. А потом, что он мог сделать? Приходил и тихо молча сидел, горестно вздыхая. Повздыхает и уйдет.

Маня стояла стеной, вычеркнула из своей жизни больше тридцати лет заботы и участия. Но куда ей было девать освободившуюся от них часть себя? Ее жизнь стала пустой скорлупкой, она так и не смогла отвыкнуть думать о них: иногда просыпалась с мыслью, что надо бы проверить Лилино сердце, забежать к Науму, отнести Циле пирог с яблоками... Только Дине, выращенной ею девочке, не было места в ее мыслях даже со сна и не

было прощения. Она оказалась такой изощренно подлой и неблагодарной, а почему и за что – Маня не находила ответа.

1977—1983 годы

ЛИЗА

– Ничего нельзя найти в этом доме! – орала Лиза. – Я в университет собираюсь, где моя сумка, где белые босоножки, куда их дели?!

– Я почистить взял, – кротко сказал Моня, выплывая из ванной с прижатыми к животу босоножками.

– Ладно, давай, – успокоилась Лиза. – Вечно ты все утянешь... А сумка моя где, тоже взял почистить, горе ты мое...

Белая сумка висела у Мони на шее. Послюнив платочек, он суетливо оттер последнее пятнышко.

– Ты перенервничала, внученька?

– Не называй меня внученькой, у меня имя есть! – опять закричала она. – Ну ладно, дед, не обижайся, я правда волнуюсь.

– Глупо нервничать-то, уже, считай, студентка...

Лиза поступала в университет на журфак. Она сдала два экзамена, получив пятерку и четверку, и уже два дня сходила с ума перед последним испытанием – собеседованием.

Моня стоял в прихожей с расставленными руками, надеясь поймать Лизу и хотя бы мимолетно ее погладить. Лиза промчалась мимо Мони, привычно увернувшись от его рук, но в дверях оглянулась.

– Запомни, дед, если я не поступлю... – Она задумалась и угрожающе прошипела: – Я что-нибудь с собой сделаю! Так и знай!

Растерянно улыбнувшись, Моня качнулся ей навстречу и всплеснул руками.

Ей и всегда-то было с собой трудно, а теперь особенно. В течение дня у нее бывало несколько «хороших» и «плохих» периодов. «Плохие» сопровождались отвратительным настроением, ей казалось, что жизнь ее не удалась, она ни за что не поступит, и зачем она только полезла в университет, говорили же ей, что университет – только для своих. «Свои» – это дети преподавателей или из списка. Никому она там не «своя», всем чужая.

«Плохие» периоды сменялись «хорошими». Тогда Лиза мысленно подпрыгивала от радостного возбуждения: она поступит, непременно поступит, станет известной журналисткой, будет появляться на телеэкране... «Репортаж ведет Елизавета Бедная», – представляла она голос ведущего и, кривляясь, добавляла вслух:

– Самая известная и привлекательная, самая талантливая и знаменитая журналистка, известная всем как Бедная Лиза...

Повод для скачка из хорошего настроения в плохое, томительное, как зубная боль, мог быть самым ничтожным. Незначительное изменение самого мелкого плана, например, отмена сеанса в кино или отсутствие нужной книги, а то и еще более мизерная неприятность – оторванная пуговица, стрелка на колготках, мелькнувшая дурная мысль. Все это с легкостью погружало Лизу в уныние. Мрачное расположение духа сопровождалось вялостью, головной болью. Правда, такие же мелкие приятности возвращали ей приподнятое настроение, а в свои «хорошие» часы Лиза могла горы свернуть.

Журфак был выбран Лизой не случайно. «Больше всего на свете ты хочешь попасть в телевизор, как Карлсон», – смеялась Лизина подруга Ольга.

Сама Ольга поступала на химический в Техноложку, другого выбора у нее просто не было. При словах «реактивы», «химическая реакция» и «катализатор» у нее хищно загорались глаза и начинали подрагивать руки. Еще в шестом классе, получив на день рождения набор «Юный химик», нечто среднее между маленькой химической лабораторией и подручными средствами волшебника, Ольга чуть не взорвала школу. На перемене, собрав вокруг себя зрителей, она сначала упоенно заливала какой-то жидкостью сахар. Когда черная пенящаяся лава поползла из стакана на учительский стол, Ольга гордо оглядела восхищенных зрителей, уверив их, что это совершенная ерунда по сравнению с тем, что она покажет дальше. Таинственно улыбаясь, она извлекла из кармана передника небольшую бумажную колбаску и, мечтательно уставившись вдаль, подпалила торчащую из колбаски нитку. Колбаска угрожающе зашипела, послышались неуверенные аплодисменты, затем раздался взрыв, слава богу, небольшой. Строго говоря, петарда собственного изготовления у нее не получилась. Не пострадали даже Ольгины руки, только на учительском столе остались черные подпалины. За этим последовали исключение из школы на неделю, торжественное выбрасывание на помойку набора «Юный химик», честное пионерское слово больше никогда-никогда...

На этих тривиальных фокусах она поневоле успокоилась. В школе ее не подпускали к простейшим лабораторным работам, даже увеличительное стекло для осмотра строения кленового листа на уроке ботаники не позволяли взять в руки. В семнадцать лет Ольга уже не так истово мечтала о химической лаборатории, как в детстве. Она уже давно почитывала толстые вузовские учебники по химии и уговаривала Лизу поступать в

Техноложку вместе: «Как же ты не понимаешь, химия – это волшебство, а ты – волшебник, можешь создать чудо, новый мир...»

Лизу не прельщали колбы, пробирки и пятна реактивов на руках, а главное, ей не нужен был никакой новый мир, Лизу вполне устраивал старый. Важно было изменить не мир, а Лизино место в этом мире.

Лиза разглядела Ольгу только в девятом классе и сразу же пожалела, что она не дружила с ней раньше, потеряв столько времени в самолюбивом одиночестве. С Ольгой было очень безопасно, спокойно и правильно.

– Как тебе удастся быть такой... необыкновенной? – спросила Лиза в самом начале их дружбы.

– Что ты имеешь в виду? Я как раз самая обычная...

– Ты не такая, как все наши девчонки. Они все хотят быть особенными... И я тоже, – честно добавила Лиза.

– А зачем быть особенной? Смотри, сколько в мире всего интересного, вот мир вокруг необычный, а людям и надо быть в нем обычными.

– А как же оригинальность? По-твоему, все должны быть такими скучными, серыми? – «Как мои родители...» – мысленно добавила Лиза и напряженно уставилась на Ольгу: что она скажет?

– А что плохого в обыкновенной жизни? Посмотри на своих родителей, на моих, по-моему, они вполне счастливы.

Твердо зная, что у нее есть свое, Ольга никогда не делила с окружающими чужое – внешнюю привлекательность, отметки по не важным для нее предметам, ненужных ей мальчиков, которых одноклассницы добывали исключительно из желания самоутвердиться. Лизу такой уверенный отказ от участия в конкурентной борьбе завораживал. «Ольга никогда не дергается, чтобы узнать, что о ней думают, как оценивают, нравится ли она окружающим, – размышляла Лиза. – Счастливая она». Сама же Лиза беспрестанно регистрировала малейшие изменения в отношении к ней учителей и одноклассников, самолюбиво следила, кто учится лучше, у кого одежда дороже, кого мальчики любят... «Ну ладно, не хватало еще позавидовать Ольге в том, что она не умеет завидовать!» – мысленно била себя по рукам Лиза.

Лизе необходима была положительная, спокойная, уверенная в себе Ольга, а Ольге было хорошо с Лизой, которая представлялась ей похожей на матрешку. Из первой, самой большой матрешки выглядывал злобный завистливый волчонок, ни на секунду не прекращающий свою битву с жизнью за все, что жизнь была должна. Зато в остальных матрешках, поменьше, сидели разные другие личности.

Раздумьям о своей будущей профессии Лиза посвятила много времени.

Начинались ее размышления всегда одинаково. Позаботиться о ней, по-настоящему подумать о ее будущей жизни некому. Помочь тоже некому. «Вот говорят – „простые люди“, я и есть такая простая, простая-препростая, какая только может быть: ни денег, ни связей, зато к этому прилагается убеждение родителей, что самое лучшее – это быть как все, то есть как они. Быть никем!» – совсем не горестно, а очень по-деловому размышляла Лиза.

– Ты понимаешь, что, выбирая профессию, мы выбираем жизнь? – говорила она Ольге.

– Почему? Я только решаю, что буду заниматься химией, но я же не выбираю себе сейчас друзей, не выбираю мужа...

– В том-то и дело, что выбираешь. С кем будешь учиться, с тем и дружить, и замуж чаще всего выходят в институте. Можно подумать, что моя мама – актриса, а папа – летчик... Они же оба инженеры! Или твои – оба врачи. А я хочу жить интересно!

– Интересно – это, по-твоему, как?

Лиза задумалась.

– Хочу, чтобы меня по телевизору показывали, – засмеялась она. – Каждый день, ну или в крайнем случае раз в три дня!

– Бедная Лиза... Тогда тебе дорога только в театральный.

– У меня таланта нет, – серьезно ответила Лиза. – Вообще никакого, ну просто ни одного талантишки.

Лиза решила, кем она будет. Журналистом. Ни актрисой, ни художницей ей не стать, а «попасть в телевизор», как выражался Мона, можно было, только став журналистом. Пусть она сама не будет знаменитой, зато увидит этих особенных людей – актеров, режиссеров, писателей, – будет рядом с ними, они пустят ее к себе. Это единственная возможность для нее выбраться из серой второсортной маеты в постоянный Новый год.

Больше всего она боялась прожить такую же пресную обывательскую жизнь, как родители. В жизни Мони была война, он невероятно гордился двумя своими медалями «За отвагу», со слезами смотрел военные фильмы, и если читал иногда книги, то только про войну (мемуары маршала Жукова, например). У Мани, как догадывалась Лиза, тоже был свой жизненный рывок: из деревенской девчонки она превратилась в городскую жительницу, которая почти всю жизнь, до ссоры с родственниками, была центром большой суетливой семьи. Но родители... Бессмысленнее их жизни ничего нельзя вообразить! Когда в начале десятого класса Лиза наконец догадалась, что станет журналистом, ее даже перестала раздражать

семейная скука, которую оживляли только Монины шуточки. С потаенной радостью она лелеяла свой секрет. Лизе недолго оставаться в этой душноватой жизни, наполненной Маниной властью и молчаливой уклончивостью отца. Она придумала, как убежать!

Ближе к весенним каникулам Лизина уверенность в том, что у нее, отличницы, не будет проблем с поступлением, стала ослабевать. Оказывается, в городе существует Школа журналистов, в которой ребята занимаются по несколько лет, приносят на журфак публикации... Лиза узнала об этом случайно. Расстроилась, почувствовала себя бедной провинциалкой, но в Школу пришла.

В Школе журналистов все было странно: никто не давал никаких заданий, как на уроках, все приходили, показывали какие-то работы. Где ребята добывали темы, было непонятно, а спросить Лиза стеснялась. Правда, какие-то общие для всех темы все же предлагались, но лучше бы их не давали вовсе. Лиза была смущена и растеряна.

Она, отличница, ни разу за все десять лет обучения не получившая за сочинения оценку ниже пятерки, обескураженно списывала темы творческих работ. «Я проснулся утром весь зеленый»... Почему зеленый и что об этом можно написать?! «Стакан хлеба»... Какая чушь, как это может быть стакан хлеба?» – стараясь не заплакать тут же над листком бумаги, думала Лиза.

А вот еще одна тема. Лиза потрясла головой: «Ужасный шрам на прекрасной шее». Ей, должно быть, почудилось, или преподаватель ошибся. «Спросить кого-нибудь, что это значит?» Оглянувшись по сторонам, она увидела увлеченно строчивших ребят. Многие были младше, у других были неприятно отстраненные лица... «Нет, спрашивать стыдно!»

– У меня было чувство, как будто я не туда попала! – рассказывала Лиза Ольге. – Знаешь, как будто звонишь куда-то, а тебе вежливо так отвечают: «Вы не туда попали, набирайте правильно номер».

– Это просто другой подход. Конечно, после ста тысяч сочинений на тему «Образ все равно кого...» тебе это непривычно. Ты способная, Лиза, справишься! Скоро начнешь с такой же силой строчить: «Я проснулась вся зеленая, сгрызла стакан хлеба и в ужасе заметила шрам на своей прекрасной шее...»

Но сколько бы ни сидела Лиза, часами пытаясь придумать что-нибудь оригинальное или просто остроумное, дальше первых вымученных строчек дело не шло. Лиза пыталась вжиться в предложенные обстоятельства, просыпаясь, представляла себя зеленой и одновременно украшенной жутким шрамом. Но проснуться хотелось нормального цвета, выпить

стакан чаю, а не хлеба. Вольные темы трудно давались Лизе.

– Я не тяну, я беспомощный дебил? – полуутверждала-полуспрашивала она Ольгу.

– Неужели все должны уметь сочинять всякую чушь? – возмущалась Ольга. – Открой газету и найди мне статьи про шрамы и стаканы!

– Да-да, – кивала Лиза, а у самой тревожно сжималось что-то в животе. – Буду пробовать... – Но слово «пробовать» звучало очень страшно. Нельзя было пробовать, надо было поступить!

Оказалось, что для поступления на журфак нужно иметь пять публикаций, лучше, конечно, в настоящем издании – «Пионер» или «Мурзилка», но можно и в любой многотиражной газете, например в НИИ, где работал отец.

– Ты даже этого не можешь устроить! Что здесь сложного, пойди и договориться! – в слезах кричала Лиза, не веря, что отец не хочет помочь ей в такой малости.

Костя пожимал плечами, отмахиваясь от наседающей на него Лизы:

– Ну как я приду, я там у них никого не знаю... Просить о чем-то... Ты же знаешь, я не умею договариваться...

О публикациях договорился Моня, нашел знакомого на большом заводе, где Лизе разрешили напечатать пять требуемых заметок, три из которых назывались: «День рождения слесаря Потапова А.В.», «День рождения слесаря Мамутова П.Г.» и «День рождения слесаря Калмыкова Н.С.», а две оставшиеся были совсем невнятного содержания. Публикации Лиза поместила в аккуратную папочку и отнесла на журфак.

Творческий конкурс состоял из двух позиций: сочинение на вольную тему и собеседование. Из двух тем, «О матери» и «Что я больше всего ненавижу», Лиза выбрала первую, показавшуюся ей более нейтральной.

Начав с самых общих слов о любви к матери, она довольно ловко, как ей показалось, в первом же абзаце сравнила любовь к матери с любовью к Родине и закончила сочинение пышными уверениями в любви к собственной матери Веточке. «Не любить свою мать – невозможно», – написала Лиза в конце и поставила восклицательный знак. Не все абитуриенты были с ней согласны. Одна смелая девочка громко хвасталась за дверью аудитории, что объединила обе темы, написав, что она больше всего ненавидит свою мать. Смелая девочка оказалась дочерью известной певицы.

Лиза неслась по набережной. У таблички «Факультет журналистики» она остановилась, перевела дыхание и резво побежала вверх по

ступенькам. Она почти не волновалась за свое сочинение: экзаменаторам не придаться к ее грамотно выраженной любви к матери. Само собеседование ее почему-то совсем не страшило. Лиза была готова ответить на все вопросы – почему она хочет быть журналистом. А что еще могут у нее спросить? Собеседование – это формальность!

– Бедная Елизавета! – вызвали Лизу.

В аудитории за несколькими столами сидели женщины, и только за одним молодой полноватый мужчина. «Если попаду к нему, все будет в порядке!» – быстро загадала Лиза и вздохнула облегченно, усаживаясь перед ним и складывая руки, как на парте.

– О вашем сочинении мы поговорим позже, – начал экзаменатор. Пиджак на нем был в мелкую коричневую клетку, а галстук красный, в мелкий белый горошек. Человек в таком веселеньком галстуке не мог сделать ей ничего плохого. Лиза кивнула, преданно глядя ему в глаза. – Расскажите о себе.

– Я родилась... училась в средней школе...

Экзаменатор зевнул и неожиданно прервал Лизу:

– А скажите, давно ли вы были в корпусе Бенуа?

Лиза растерянно оглянулась.

– Нет, корпус Бенуа находится не здесь, – без тени улыбки заметил экзаменатор.

«На кролика похож», – подумала Лиза.

– Скажите, а кто ваш любимый художник из «Мира искусства»? – спросил Кролик.

Перед Лизиными глазами быстро-быстро замелькали конфетные фантики, почему-то сплошные медведи: «Мишка в лесу», «Мишка косолапый», «Три медведя», «Мишка на Севере»... Нет, это, кажется, просто конфета...

– Шишкин! – уверенно сказала Лиза и приосанилась. – И еще этот... Репин!

– Ах, Репин! Ах, Шишкин! Очень мило, – проснулся Кролик.

Лиза внимательно следила за выражением его лица. Кролик улыбался, но она почувствовала что-то странное. Только что они были вместе, абитуриентка и экзаменатор, почти уже студентка и преподаватель, будущие коллеги-журналисты... Сейчас между ней и этим молодым преподавателем внезапно образовалась невидимая черта, как будто кто-то мелом чиркнул на столе.

– Вы не любите живопись?

«Нет, не Репин», – в ужасе подумала Лиза.

– Люблю, я очень люблю живопись, – отчаянно уверила она Кролика, думая про себя: «При чем тут живопись?» – Спросите что-нибудь еще!

– Приезжала «Джоконда» в Москву. Вы были?.. Нет? Почему?

Что она должна сказать? Что не было денег – это неправда, на билет в Москву деньги нашлись бы, но ей и в голову не пришло поехать смотреть картину.

– А что вы любите читать?

– По программе? – обрадованно спросила Лиза и заметила, как Кролик скривил губы. – Не по программе я люблю Майн Рида...

– Несколько детское чтение для взрослой девушки, которая желает стать журналистом, вы не находите?.. Ну хорошо... Давайте перейдем непосредственно к журналистике. Ваш любимый публицист?

Кролик радостно сыпал вопросами:

– Как вы относитесь к Отто Лацису?.. А может быть, вам больше нравится Мэлор Стуруа?.. Ну что же, девушка... Вы, похоже, не имеете понятия ни о чем, кроме школьной программы. Как же вы к нам пришли с таким ужасающе низким... – Кролик закашлялся и брезгливо пожевал губами, как будто попробовал что-то неприятное, – культурным уровнем?..

Лиза молчала. Она чувствовала себя сейчас не просто плебейкой, которая не имела права прийти «к ним», а натуральной свиньей. «Со свиным рылом в калашный ряд», – чуть не сказала она вслух. Может быть, Кролик сжалился бы над ней, если бы она сказала так и добавила бы к этому, что да, это правда, она ничего не знает... Она только училась в школе как зверь, но даже пятерка по физике, все-таки выгрызенная, вырванная зубами, не может ей сейчас помочь! Может быть, надо было пообещать Кролику, что она узнает, где находится этот корпус Бенуа, и будет ходить туда каждый день...

Лиза молчала. Ее обманули. Оказывается, кроме учебы и общественной работы, требуется еще что-то, а она-то думала, что за отличные успехи ей поставят еще одну отличную отметку – поступление в университет. Надо было ходить в Школу журналистов, но ведь она не виновата, что не знала! Она же просто не знала!

– Как вы видите работу журналиста? О чем бы вы хотели писать?

Лиза чувствовала себя невнятной серой комковатой манной кашей.

– Последний вопрос. Почему вообще вас привлекает журналистика? Может быть, вам попробовать себя на ином поприще?

На последний вопрос Лиза ответила слезой, выкатившейся из глаз и повисшей на подбородке.

– А как же мое сочинение? – обернулась она у двери.

Кролик махнул рукой и недовольно взглянул на худенькую невзрачную девчонку, скривившуюся от яростного старания не расплакаться при всех:

– Не нужно.

Лиза направилась в приемную комиссию и таким тоном спросила, каков порядок поступления на вечерний, что ненавидящая абитуриентов и их родителей секретарша записала ей все подробности и сама положила листок в сумку.

Ольга стояла у выхода, с любопытством заглядывая в лица проходящих мимо абитуриентов.

– Я угадываю по лицам, поступил человек или... Ой, только не плачь, пожалуйста!..

Лиза плакала уже несколько минут. Высмотрев Ольгино лицо с верхней ступеньки лестницы, она мгновенно затряслась мелкой дрожью и начала подвывать, некрасиво распустив губы.

Ольга подхватила мелко дрожавшую Лизу у выхода.

– Ты бы лучше писала на тему «Что я ненавижу», – сказала она.

– Я слишком много всего ненавижу... Мне трудно выбрать... – вытираясь Ольгиным носовым платком, ответила Лиза. – Я уже была в приемной комиссии, узнавала, как попасть на вечерний.

– Скажи что-нибудь, не молчи! – тормошила Ольга подругу по дороге домой.

Лиза молчала. «Это мне за то – за Аню», – думала она.

История с Аней, всплывая в ее сознании только в самые черные минуты, давно уже представлялась ей глупой детской игрой. Сейчас, когда вся ее жизнь оказалась чередой позорных неудач, Лиза снова, как несколько лет назад, с мрачным наслаждением принялась размышлять о том, что ее постигло справедливое наказание.

Она горячо зашептала на ухо Ольге:

– Может быть, и правда стоило написать о том, что я ненавижу? А что я ненавижу? Ненавижу отца за то, что он не договорился о газете в своем НИИ... Вдруг это все из-за дурацких заметок про дни рождения слесарей?.. А маму я люблю, я правду написала... – Лиза помолчала и, больно сжав Ольгину руку, проныла как котенок: – Никто меня не любит, никому я не нужна... только Моне... ну и Мане, конечно... Про это надо было написать? Написать, что я не люблю своего отца за то, что Додик всегда гладил и целовал Аню, и шептался с ней, и говорил ей «мусенька», а я...

Лиза опять заплакала. Все обиды слились вместе, образуя одно огромное невыносимое горе.

Два дня она пролежала, отвернувшись к стенке. На серых обоях вились голубоватые цветы: пять лепестков – два длинных, один покороче и два совсем маленьких, правый чуть отогнут в сторону. Она подпускала к себе только Моню.

– Лежит, обои рассматривает... Сотворит, сотворит с собой что-нибудь... – суетился Моня у двери. – Это же выше моих человеческих сил на это смотреть...

Маня сидела на кухне с каменным лицом, непрерывно жарила картошку, крутила котлеты, надеясь Лизу накормить.

– Сходил бы ты туда, узнал... – предложила она сыну.

– Да-да, сходи узнай, почему девочку не взяли, она хорошо училась, не еврейка! – всполошился Моня.

– Попробуйте только куда-нибудь пойти! – впервые за два дня раздался голос Лизы, проследовавшей мимо кухни в ванную.

– Сказала, бульону поест, – на следующий день донес преисполненный сознания своей важности в качестве Лизиного посланца Моня и суетливо прикрикнул на Маню: – Бульон давай! Курицу туда положи. Про курицу она не говорила... может... не обратит внимания и съест.

Вечером Лиза выползла из комнаты.

– Внученька, как ты? – бросился к ней Моня. – А я узнавал...

– Дед, ты ходил в университет?! – страшным голосом прошипела Лиза, наливаясь краской. – Как ты посмел! Мало мне позора, так еще и ты!!!

– А что такое, – засуетился Моня, испуганно поглядывая в сторону, – зато все узнал... Да я и не ходил. Ты только не кричи, а то соседи подумают, что я тебя режу.

– Ты звонил, что ли?

– Неправда, не звонил... – отнекивался Моня, бегая глазами.

– Неужели ходил?! – в ужасе спросила Лиза.

– Ну уж это совсем неправда!

– Значит, звонил, – спокойно сказала Маня. – И что сказали?

– Я надел медали и позвонил! А что? Сказали... Сейчас... Я записал. – Он достал из кармана обрывок газеты и очки. – Вот: «Собеседование проводится с целью определения творческого и человеческого потенциала», – гордясь собой, прочитал он.

На третий день Лиза ушла из дому в семь утра. В списке недобравших баллы и успевших перебросить документы на вечерний она оказалась первой. Тем, кто не успел так быстро сориентироваться, пришлось сдавать вступительные экзамены на вечерний еще раз.

Ольга поступила в Техноложку, сдав все экзамены на пятерки и немного повздорив с экзаменатором по химии.

– Он хотел поставить мне четыре, представляешь? – грозно хмурилась она. – Это мне – четверку? А я ему говорю, а за что же тогда получают пять? Спросите меня еще что-нибудь. Я знаю все. А он мне тогда вопрос не из школьной программы. А я ему тогда все из институтского учебника! И тогда он мне говорит так склочно: «Ну ладно уж, пятерка, раз вы такая настырная!» – Она уже почти кричала, возбужденно размахивая руками и пытаюсь подsunуть Лизе листок. – Смотри, какие реакции я ему написала...

– Успокойся, скажи спасибо, что тебя не спросили, кто твой любимый художник! – засмеялась Лиза, вытянув вперед губы, как Кролик, мучивший ее на экзамене. – А я теперь все про «Мир искусства» знаю!

Она провела три дня в корпусе Бенуа с библиотечной книжкой, стоя перед каждой картиной и аккуратно заполняя в тетрадке две графы – данные о художнике из книги и свои впечатления. Графа «Мои впечатления» оставалась почти пустой. Теперь Лиза могла рассказать биографию каждого художника и перечислить достоинства каждого полотна, только вот что ей самой нравилось, пока не знала. В секретной записной книжке она обращалась сама к себе: «Бедная Лиза! Развивай свой личный вкус!!! А то останешься глупым попугаем!» Но как его развивать?

– Поедешь со мной на море? Папе обещали две путевки недорого.

– Не могу, у меня есть план.

– У тебя всегда есть какой-нибудь план, Бедная Лиза. Поехали лучше на море!

– Да, я человек плана, – гордо ответила Лиза. – Понимаешь, летом все отдыхают, а в сентябре все вечерники бросятся искать работу. Вдруг на меня работы не хватит? Моня принес мне старую пишущую машинку, я сейчас быстренько научусь печатать и попробую устроиться в газету, семестр проработать, сдать сессию на «отлично» и потом перевестись на дневной. Я пока, правда, печатаю медленно... Так что мне любую работу, только бы не уборщицей. Ну, как мой план?

План удался с некоторыми неточностями в пользу Лизы. Через полгода она уже и не помышляла о переводе на дневной и даже так равнодушно унизившего ее Кролика вспоминала почти беззлобно, вернее, не очень злобно.

К середине августа, через неделю хождений по редакциям, Лиза наконец устроилась курьером в большую городскую газету.

– Что же ты, внученька, будешь с конвертами по улицам гонять, как будто ты не студентка, а беспризорник? – с жалостью сказал Моня,

представив внучку, бредущую под дождем и снегом с тяжелым ранцем на спине.

– Ты не понимаешь, дед, это же большая газета, выходит раз в неделю, и пишут в ней в основном о культуре! Мне как раз надо... чтобы культура... Отличная работа! Это же почти что самая главная городская газета!

– Но курьер?.. Мальчик на побегушках? – сомневался Моня.

– Я девочка. Девочка на побегушках! Ура!

Лиза на секунду прижалась к Мониному животу. Она не позволяла себя трогать лет с десяти, и оба в ту же секунду почувствовали неловкость. Моня растерянно мигнул и суетливо попытался Лизу обнять, но она тут же отпрянула, криво улыбаясь от смущения.

Утром полная счастья Лиза приходила в комнату редакции с торжественной табличкой «Секретариат». Вишневые бархатные портьеры обрамляли огромные окна, спадая на облезлые батареи, от потолочной лепнины по стенам спускались высохшие желтые русла протечек, а в центре комнаты располагались два стола: один простой ученический, да еще с подломанной ногой, а другой огромный, на круглых львиных лапах, с незакрывающимися дверцами. На зеленом сукне вился затейливый узор, оставленный следами всех выпитых за ним чашек чая. За столом восседала сухопарая крашеная блондинка Ирина Михайловна, также являющая собой смесь великолепия и усталой заброшенности, которые чередовались, как разноцветные колечки в детской пирамидке. Сверху пышная блондинистая прическа, под ней подсохшее, как лежалое яблоко, лицо, затем нарядная блузка, обязательно с жабо или бантом, а снизу Ирина Михайловна находилась в носках и разношенных тапках, рядом с которыми стояли черные лакированные лодочки.

В первый день пребывания в волшебной стране Лиза долго, робея, топталась у порога, пока к ней не обратились.

– Можешь взять почту! – не поднимая глаз, наконец велела Ирина Михайловна.

Рабочий день прошел в разъездах по городу. Сидя в автобусе с папками и конвертами на коленях, Лиза повторяла про себя: «Редакция, редакция газеты, эта девушка работает в редакции...» Когда пожилой мужчина рядом с ней странно посмотрел на нее и отодвинулся к самому краю, Лиза поняла, что все громче и громче произносит заветные слова вслух.

Через три недели Лиза примчалась домой возбужденная и с порога закричала:

– Эй, есть кто? Мне повезло!

На ее крик из кухни вышли Маня с Веточкой.

– Уволили машинистку... Меня возьмут на ее место... машинисткой... у нас в редакции... – От счастья произнести эти слова Лиза приостановилась и затаила дыхание.

– Да уж конечно, лучше машинисткой, чем не емши не пимши по улицам мотаться, – одобрила Маня.

– А ты сможешь печатать с нужной скоростью? – засомневалась Веточка.

– На людях теперь будешь, надо тебе купить что-нибудь новенькое, у меня как раз заначка есть, – подмигнул Лизе довольный Моня. – Растешь по службе, внученька! Скоро главным редактором станешь!

За три недели работы курьером в волшебной стране Лизе несколько раз удалось побывать дальше секретариата. Проходя по коридорам редакции, Лиза встречала небритых, иногда подвыпивших небожителей, сжимаясь от робости всякий раз, когда случайно встречалась с кем-то взглядом. Теперь же она не просто продвинулась дальше, а оказалась в самом центре редакционной жизни.

На пороге машбюро Лиза остановилась, испуганно оглянувшись на сопровождавшую ее Ирину Михайловну. Покровительствовать мышке Лизе было приятно, мышка смотрела так, что Ирина Михайловна чувствовала себя добрым великаном в Лизином лилипутском царстве.

– Не может быть... – прошептала Лиза, осматривая огромную захламленную комнату. – В редакции так не бывает...

– Как видишь, очень даже бывает, – хладнокровно ответила Ирина Михайловна. – Я договорилась с главным, тебя неделю не будут трогать, приведешь тут все в порядок. До тебя тут работала одна... запойная... Выгнали ее наконец. Кстати, можешь называть меня Ириной.

– Спасибо, – удивилась Лиза и, осторожно обойдя грязь на полу, подошла к круглому незанавешенному окну. – Вот это грязь! Даже улицы не видно! – восхищенно сказала она, немного завидуя чужой свободе обращения с жизненным пространством. – Как же я тут справлюсь одна?

– Машинисток всего четыре, у одной ребенок болеет, вторая в отпуске, и завтра придет еще новая девочка, тоже студентка, так что тебе будет не скучно. Все, старайся!

Неделю Лиза старалась – мыла, скребла и чистила.

– Давай я приду тебе помогу, – предложил Моня, с жалостью глядя на Лизины красные потрескавшиеся руки. – Небось не уберешься как следует, дома-то ни разу еще тряпку в руки не брала...

– С ума ты сошел, дед! – радостно отмахнулась Лиза и засмеялась,

представив Моню в его украшенном медалями парадном пиджаке со шваброй в руках.

Впервые в жизни Лизино счастливое настроение не чередовалось с приступами недовольства и отчаяния, она даже по утрам вставала теперь легко. Радость будила ее раньше, чем звенел будильник.

– Запойная машинистка, видимо, ловко печатала носом, потому что в руках у нее всегда была жирная котлета, сигарета и чашка с кофе, – жаловалась Лиза Моне. – Представляешь, ее машинка воняет! Я замучилась ее отмывать!

Привести в порядок пишущую машинку, принадлежавшую запойной машинистке, оказалось самым сложным. На черных от грязи клавишах застыл многолетний слой жира.

– А еще я мечтаю о кожаном диване. Я нашла один бесхозный в коридоре, – с упоением продолжала Лиза. – И еще хочу выпросить у Мани старую занавеску... и горшки с цветами, хотя бы два. Как ты думаешь, дед, она даст?

Диван организовала Ирина. Появившиеся через неделю машинистки увидели идеально чистую комнату, в которой за идеально вычищенной машинкой в окружении цветов, сутулясь от волнения, сидела идеальная Бедная Лиза.

Обещанную Лизе новую девочку-студентку звали Машей. Маша Рокотова оказалась важной полноватой девушкой, не особенно красивой, но очень в себе уверенной. Центром ее фигуры был несоразмерно крупный зад, из которого Маша произрастала вверх тонкой талией, переходящей сразу в шею, минуя грудь, а внизу раздваивалась тонкими ногами. Серые глаза навывкате, покатый нос, презрительно оттопыренная нижняя губа, зачесанные наверх светлые волосы и спокойное равнодушие, с которым она взирала на все происходящее, делали Машу немного старообразной, во всяком случае, по сравнению с легкой порывистой Лизой, стреляющей любопытными глазами во все стороны.

– Дома считают, что я похожа на представительниц австрийского королевского дома, – заявила она Лизе.

– Где ты их встречала, этих представительниц? – удивилась Лиза.

– Пойди в Эрмитаж и посмотри портрет Марии-Антуанетты.

Лиза послушно пошла, полдня искала портрет, но никакого сходства Маши с холодной красавицей, кроме презрительно оттопыренной губы, не обнаружила.

Маша была добродушной и, кроме странной претензии на сходство со знаменитой королевой, в ней не было ничего неприятного, так что это ей

Лиза простила. Она находилась сейчас в таком хорошем расположении духа, что даже забывала завидовать, сама не заметила, как прекратилась нервная автоматическая операция мгновенного сравнения собственных достижений с чужими, облегченно не заглядывалась больше на соседские тетради и на чьи-то кофточки, искренне считая, что достигла сейчас максимально возможного. Маша необходимо хорошо одевалась на взрослый манер – в костюмы и пиджаки, не возбуждая в Лизе привычной зависти. Сама Лиза носила попеременно джинсы и юбку с черным и белым свитерами и впервые в жизни не думала, что она хуже всех.

Маша всячески подчеркивала, что она из хорошей семьи, учится на вечернем, потому что так интеллигентней, а на должности машинистки оказалась случайно. Она любила рассказывать, кто бывает в их доме, мимоходом, небрежно называя известные фамилии, от которых Лиза испуганно вскидывалась, чувствовала себя безродным щенком, но щенком не печальным, а веселым. Это было дополнительным преимуществом ее новой жизни, подтверждавшим, что Лиза попала именно туда, куда мечтала. У нее все впереди: и карьера, и замечательно интересная жизнь!

Обе девочки, и Лиза и Маша, с легким презрением смотрели на двух других машинисток. Обе считали, Лиза робко, а Маша уверенно, что уж их-то подобная судьба не постигнет. Ни за что!

Таней звали и ту, и другую машинистку, девочки называли их Таня Толстая и Таня Тонкая.

– Больше всего боюсь случайно назвать их так в лицо, – томно говорила Маша.

– Да, представляешь, вежливо так: Толстая, нет ли у вас ленты для машинки? Она тогда тебя убьет! А если она вообще не догадывается, что она толстая? – веселилась Лиза. – Воображает, что стройная!

– Девчонка как девчонка, – оценила Лизу Толстая, – лица вообще нет, все смазано, не за что уцепиться. Где глаза, где губы? Зато зубы есть, торчат вперед как у кролика.

– Фигурка ничего и в лице, мне кажется, что-то есть! И не без характера дитя, – откликнулась Тонкая. – А как тебе Маша?

– Фигурки у всех в этом возрасте ничего, – проворчала Толстая, втягивая живот. – Маша... та еще штучка, впрочем, как и эта... Лиза. Мало того что на мышь похожа, так еще и зовут Бедная Лиза! О чем только родители думали!

Обеим машинисткам было около тридцати пяти, и они с настойчивой страстью принялись учить жизни девчонок-студенток.

Таня Толстая и Таня Тонкая находились в бессрочных долгоиграющих романах с творческими работниками, у обеих были дети от их хронических любовников, но схожие жизненные ситуации каждая воспринимала по-своему. У Толстой было счастливое мироощущение, а у Тонкой – трагическое, поэтому Толстая проживала жизнь в жанре водевиля, а Тонкая – в жанре трагедии, иногда сбиваясь на пафосную склоку.

– Девочки, только не повторяйте наших ошибок! – трагически восклицала Тонкая, закатывая глаза и прижимая к груди руки с выступающими венами.

Ее ошибка звалась Петром Ивановичем и стояла тут же на столе, обрамленная в бисерную рамочку. Рамочка была бесхитростно повернута боком к посетителям, и таким образом Тонкая блюла тайну. Петр Иванович, обозреватель из отдела культуры, вел собственную колонку, появляясь в редакции всего два раза в неделю. Он просовывал голову в приоткрытую дверь машбюро и, старательно изображая общую дружбу со всеми «девочками», кричал из коридора: «Как вы там, девчонки?» Через минуту пятнисто красная Тонкая бежала на этот условный знак под лестницу, где законно встречались все редакционные парочки. Все это продолжалось годами, у Тонкой росла от него девочка, а Петр Иванович все сохранял конспирацию.

– Вот старый идиот, – признавалась Тонкая, – у нас ребенок уже в школу идет, а он все думает, что никто ничего не знает! Тоже мне... секрет полишинеля!

– Что это такое, секрет... кого? – Твердо решив узнавать все, что возможно, Лиза не стеснялась показаться необразованной и без конца задавала вопросы.

Толстая не считала своего любовника, редактора отдела информации, ошибкой и, не опускаясь до глупых девчоночьих встреч под лестницей, вела с ним упорядоченную семейную жизнь по очереди с законной женой. Раз в неделю они уходили из редакции вместе, по-супружески дружно волоча огромную сетку с продуктами. В авоське, сталкиваясь, позвякивали бутылка кефира и бутылка водки.

– Самое главное, не заводите отношений с творческими работниками, это засасывает, – радостно хихикала Толстая. – Будьте проще, девочки. У нас есть грузчики на складе, наборщики из типографии и два ночных сторожа! Это безопасный для вас контингент.

– А что такое контингент? – не отставала Лиза.

По соседству с машбюро через коридор находился буфет. За всю

неделю, что Лиза провела в одиночестве, орудуя тряпкой, она так и не решилась туда зайти. Заглянула раз через дверь... Как много там людей, и все сидят вместе за сдвинутыми столами... Лиза представила, как она будет стоять посреди зала со своей тарелкой, как дура, не зная, куда сесть, а потом притулится в стороне и будет делать вид, что ей хорошо и не стыдно быть одной.

С Машей было тоже страшно, но все-таки не настолько, они могли сесть за столик вдвоем. Лиза распустила волосы, снова завязала хвост, затянула потуже ремешок на юбке и расстегнула верхнюю пуговку на рубашке.

– Лиза, ты идешь в буфет, как на первый бал! – засмеялась Маша.

В буфете стояло всего два отдельных столика, остальные были сдвинуты вместе, и за ними сидели компании. Похоже, что с утра и собирались коротать так время до вечера. Никто не торопился. Перед некоторыми женщинами красовалось по нескольку пустых чашек, а перед мужчинами – батареи пивных бутылок.

– Все на нас смотрят, – озираясь, шепнула Лиза. – Ой, смотри, перед этим, симпатичным, с краю... пятнадцать бутылок пива!

– Девочки, идите к нам! – позвали их мужские голоса из-за стола, заставленного пустыми бутылками.

Девочки робко присели к столу. Лиза постаралась незаметно обогнать Машу, ей не хотелось оказаться с самого края. «Хорошо бы уметь курить, было бы чем руки занять, – думала Лиза, стесняясь приступить к еде. – Надо было взять только кофе, что теперь делать с этим дурацким винегретом и гречневой кашей!»

Соседи по столу больше не обращали внимания на девчонок, пили кофе, курили, опять пили кофе и еще пиво, курили... До Лизы доносились обрывки: «Камю...», «Сартр...», «а как мы вчера напились...».

Лиза всегда помнила, что улыбаться ей нужно одними губами, стараться не показывать выступающие вперед зубы. Сейчас она изобразила светски небрежную улыбку в пространство, но сама быстро почувствовала, как светская улыбка превращается в натужную гримасу. Так, с вежливым оскалом, она и сидела, притулившись к незнакомой взрослой компании, пока Маша не толкнула ее в бок:

– Нам пора к станку. Станешь творческим работником, тоже будешь пить здесь кофе целыми днями, а пока что пошли...

Мечта стать творческим работником еще только подлежала Лизину исполнению, а пока что Лиза научилась пить кофе.

Дома все пили чай, потому что Маня считала кофе вредной и, кажется,

слегка буржуазной привычкой. Теперь Лиза научилась манерно тянуть кофе маленькими глотками, подолгу просиживая за одной чашкой. Кофе был ей противен, но что же делать, пить чай было совсем не по-светски, все равно что у всех на глазах наливать киселем или компотом.

Машбюро было местом, миновать которое не мог никто из сотрудников. Постепенно все перезнакомились с Лизой, каждый считал своим долгом сделать ей козу и пошутить, услышав, что за машинкой сидит Бедная Лиза. Кто-то нарочито церемонно жал руку, насмешливо раскланивался, кто-то щипал за щеку и говорил что-то типа «у-тю-тю» или «кто это у нас такой новенький, такой хорошенький». Лиза пожимала руки, раскланивалась в ответ, робко улыбалась, проверяя, правильно ли все делает. За день в машбюро заглядывали человек десять, одинаково ухмыляясь: «Говорят, у вас завелась Бедная Лиза? Покажите!» В их глазах мелькало разочарование, возможно, они готовились увидеть темноволосую томную красавицу, сошедшую с портретов девятнадцатого века, а за машинкой пряталась девушка с вопросительно-смущенными глазами на стертом лице и стянутыми в хвостик волосами мышиного цвета – портрет машинки на фоне лица. Если всмотреться в Лизино определенно нехорошенькое лицо, можно было разглядеть следы частого плохого настроения от чужих успехов, недолюбленность и робкую, опасующуюся себя обнаружить недоброту. Лиза была как подтаявший городской снег с темными, уходящими в глубину бороздками.

От смущения Лиза горбилась и неловко наклонялась вперед. «Миленькая», «никакая», «нормальная», «клевая», «не урод», «страшненькая», «бывают и хуже», «мышь белая», «хорошенькая», «да ну, не о чем говорить», «девица как девица» – вот какие отметки были выставлены Лизе за внешность, а за поведение и прилежание оценки еще не поставили.

Все собирались в машбюро. Кроме двух девочек-студенток и двух полусвободных-полумолоденьких, всегда готовых к общественному празднику Толстой и Тонкой, сотрудников привлекал большой кожаный диван, прежде много лет без дела пылившийся в коридоре. Теперь на диване, покрытом выпрошенным у Мани цветастым покрывалом, постоянно кто-то лежал – думал, творил, просто отдыхал или дремал полупьяный.

– Я желаю простого человеческого общения! – орал главный редакционный красавец Стругацкий, немедленно укладывал себя на диван и замирал, оживляясь только на звон принесенных кем-то бутылок.

Клубок умных разговоров в сигаретном дыму перемещался из

кабинета в кабинет и наконец устраивался в машбюро. Рядом с машбюро буфет – удобно принести закуску, сыр и докторскую колбасу, недалеко таскать кофе и пиво. Буфет закрывался в пять, но домой уходить никто не спешил, и все вечеринки, прежде бурлившие по крошечным кабинетам, теперь централизованно проходили в машбюро. На вечеринках Маша сначала сидела с поджатыми губами, потом освоилась, с напряженной спиной восседала на коленях у редакторов, но не в сексуальном контексте, а только из-за нехватки места для всех желающих выпить и повеселиться.

Небритые, часто подвыпившие корреспонденты виделись Лизе небожителями. У нее нервно рябило в глазах, и от восторга она могла только преданно смотреть в казавшиеся ей мутно-неразличимыми лица. Лиза очень старалась быть заметно-полезной – бегала за пивом, мыла посуду.

– Девушка должна быть девушкой, а ты хочешь быть своим парнем, – выговаривала Лизе Ирина Михайловна, обнаружив ее в коридоре с бутылками.

– Она у нас колеблется между образом своего парня и инженерю, – насмешливо заметила Маша, высунув голову в коридор.

– Что это – инженерю? – прошептала Лиза, выгружая бутылки на стол.

– Когда ты всех боишься и смотришь как невинная овечка, – ответила Маша.

– Она и есть невинная овечка! – вмешалась Тонкая.

От смущения Лиза схватила сигарету и, быстро затянувшись, пошатнулась. «Сейчас вырвет, – подумала она, – и будет уже все равно...»

Отношения с Машей образовались светски-официальные: вроде бы подруга, а вроде бы и не поделишься тем, что на самом деле волнует, близко к себе не подпустишь, да и сама Маша с Лизой особенно не откровенничала. Домой они друг друга не приглашали. «Маша меня стыдится», – уверенно и необидно подозревала Лиза. Маше и Ольга не понравилась. «Простоватая», – сказала она. А Ольге всегда все нравились, она про Машу сказала: «Умная, симпатичная...»

– А почему ты Машу не позвала с нами домой? – удивилась Ольга.

– У нее такие люди дома бывают... Что интересного для нее в том, чтобы выпить чай с Костей и Веточкой? Маня скажет что-нибудь со своим деревенским говором, или Моня с анекдотами...

– Я не понимаю, почему ты так стыдишься своих? Моня такой смешной, я его обожаю! А родители твои милые, спокойные, и Маня, между прочим, очень интересный человек. А ты – дурочка!

– Ольга, это два разных мира, поверь! – горячо принялась объяснять Лиза. – Я от них вырвалась...

Ольге можно было признаться, как Лизе бывает неловко за то, что она часто не понимает многих слов, шуток и намеков.

– Да зачем тебе понимать все, что происходит в редакции? Ты же машинистка: принесли работу – сиди и печатай! – удивлялась Ольга.

– Я хочу, мне надо... – Лиза не могла сформулировать, почему ей так страстно хотелось разобраться в существовании процесса и в отношениях людей.

– А почему ты ничего не рассказываешь про университет, как будто и не учишься?

– Да нечего рассказывать. Четыре раза в неделю приходишь, сидишь на лекциях, уходишь...

– А с кем ты познакомилась? Компании какие-нибудь образовались?

– Да нет, по-моему, все так – пришли-ушли... Учиться интересно, а жизни там никакой. Я, во всяком случае, ее не обнаружила.

Лиза, будущий журналист, своя в редакции, только вчера сидела на мужских коленях и запросто общалась с редакторами. Теперь она занимала в собственных глазах значительно более высокое положение, чем Ольга с ее техническим институтом. Ольга своя, родная, но похвастаться новой жизнью все же хотелось!

– У меня не работа, а образ жизни... какой-то богемный притон...

– Ты устала от людей? Отдохни в выходные, посиди тихонечко дома.

– Мы с Машей в субботу пойдем в Дом журналистов. Там хороший бар и люди интересные собираются... Только туда без пропуска не попасть.

– Да?

Неужели Ольге совсем не обидно?

– Хочешь пойти с нами?

– Хочу, – кивнула Ольга, – я все хочу!

– Я тебе скажу в субботу утром, сможем мы взять тебя с собой или нет, – нарочито небрежно протянула Лиза. – Ты мне позвони около двенадцати, не раньше...

– Я больше не буду с тобой общаться, Лиза, если ты не прекратишь свои штучки, – спокойно ответила Ольга, и Лизу моментально прошиб пот.

Она представила, что у нее больше не будет спокойной, безопасной Ольги и вокруг останутся только чужие. Ольга ей нужна! Она смотрела на Ольгу, глупо открыв рот и беззащитно признав свое поражение.

Прошло совсем немного времени, и Лиза начала различать лица, соотносить их с именами и прозвищами, и слова «полоса», «текущий

номер», «макет» понемногу обрели смысл, перестали звучать бессодержательно-волнующе.

Однажды, когда Лиза с Машей шли из секретариата к себе в машбюро, из полупритворенной двери раздался тягучий, как густой кисель, низкий голос:

– Девочки, зайдите ко мне.

Завотделом культуры Нинель Алексеевну в редакции называли Мадам. Она единственная была признанным искусствоведом, занималась художниками двадцатого века. Называла она себя «мы, деятели культуры» и «я как доктор искусствоведения». Низким, с придыханием голосом Мадам вещала, поучала, наслаждаясь звуками собственной речи и пафосно разглагольствовала о самых обычных житейских вещах, почти не прерываясь на простые человеческие реакции. Даже капусту в редакционном буфете Мадам поглощала так значительно, как будто совершала некий культурный акт. Была она очень образованна, остра на язык и в меру для таких достоинств злобна.

Лиза не задумывалась, сколько ей лет, для нее Мадам просто находилась в категории «взрослых» или «пожилых». В действительности Мадам была еще почти что молодой, чуть за сорок, женщиной, одинокой, несмотря на завидную успешность и прочное положение «мэтра». О личной жизни Мадам никто ничего не знал, но было похоже, что соперников в любви к себе она не имела.

Если не знать, что Мадам доктор искусствоведения, то ее можно было принять за притопывающую в валенках на морозе продавщицу из овощного ларька. К кулькообразному туловищу были прилеплены короткие пухлые ручки, смешно растопыренные в стороны, как у резинового пупса. Маленькая, по сравнению с бесформенно толстым телом, голова сидела на массивных плечах как кукиш. Мадам всегда была ярко и незатейливо накрашена. Оставалось загадкой, как могла женщина, профессионально судившая о живописи, ежедневно рисовать себе такое пестрое клоунское лицо. Синие веки над маленькими глазками, пухлые оранжевые губы, даже крупный нос картошкой, казалось, был подкрашен розовым. Голову венчал соломенного цвета шиньон, частично из волос Мадам, частично из чужих, на лоб спадала редкая соломенная челочка. Вся эта разноцветная пышность отнюдь не являлась результатом недосмотра или равнодушия. Наоборот, считая себя от природы безнадежно некрасивой, Мадам в течение жизни старательно и успешно трансформировала свою крайне неблагоприятную внешность в выбранный ею в качестве идеала облик работника советской торговли.

Контраст между тем, как она выглядела, и тем, о чем говорила, был столь разительным, что собеседнику хотелось, зажмурившись, недоуменно потрясти головой. Вещать Мадам предпочитала в положении сидя, и действительно, за столом она смотрелась фундаментально.

В буфете Мадам всегда восседала во главе стола. Ее коронным номером было огорошить собеседника внезапным вопросом. Жертва, предпочтительно женского пола, спокойно поедала свой обед, когда Мадам громко спрашивала: «А что ты думаешь об экзистенциализме?» Ошарашенная внезапным культурным тестом жертва испуганно утыкалась взглядом в свой борщ. «А что ты сейчас читаешь?» – с доброжелательным интересом спрашивала Мадам, играя толстую шаловливую девочку. Маленькие свинячьи глазки лучились невинностью. Как только жертва отворачивалась, Мадам бросалась обсуждать ее культурный уровень.

Кроме чужой некультурности, любимой темой Мадам были сложные многоступенчатые диеты, но завести с ней разговор о диете не разрешалось, начать его должна была она. На любое упоминание о полноте Мадам реагировала болезненно, принимая его на личный счет. В своей идиосинкразии к слову «толстый» Мадам была трогательно беззащитна. Однажды молоденькая редакторша из отдела информации, хвастаясь своей собакой, сказала: «У хороших щенков должны быть толстые лапы». Мгновенно встав в стойку, доктор искусствоведения заподозрила, что у нее, известного деятеля культуры, такие же «толстые лапы», как у хороших щенков. От Мадам в редакции зависело многое – от профессионального роста до мелких профсоюзных благ, и бедная редакторша напрасно настойчиво посылала Мадам глазами свою преданность. Сделавшая ложный шаг любительница толстых лап для нее больше не существовала.

Мадам побаивались, но назвать отношение сотрудников к ней нелюбовью было все же нельзя. За глаза все бодро осуждали ее жесткость, высокомерие и страсть к интригам, но при личном общении заглазная неприязнь мгновенно сменялась искренним восхищением, поэтому единственным, что Мадам видела прямо перед собой, были преданно взирающие на нее собачьи глаза. Мадам обожали, но она страстно искала еще большей преданности и, подсев на восхищение, как на наркотик, всегда находилась в поиске новых конфидентов.

– Садитесь, – пригласила Мадам.

Стол возвышался на небольшом помосте так, что Мадам взирала на собеседников сверху вниз.

– Ну что же, милочка, начнем с вас, – обратилась она к Маше. –

Скажите мне, чего вы хотите от жизни?

– Я не могу так сразу ответить, Нинель Алексеевна. – Маша посмотрела на нее оценивающим взглядом взрослой женщины. На долю секунды в ее взгляде мелькнула насмешка, даже не насмешка, а так, облачко.

– Я хочу стать журналистом! – заторопилась Лиза, сделав чуть заметное движение вперед, и уставилась на Мадам с видом бездомной собачки.

Дальше на девочек обрушился шквал вопросов, напомнивших Лизе собеседование в университете. Читали ли вы Германа Гессе в «Иностранке», смотрели ли вы последний спектакль в БДТ, а что вы думаете о выставке Глазунова?..

По знаку Мадам девочки гуськом вышли из кабинета. Экзамен по культурности Маша сдала неважно, а Лиза и вовсе провалила.

«Серенькая пугливая девочка», – заключила Мадам и тут же забыла о ней.

– А с нами Нинель Алексеевна разговаривала! Долго! – похвасталась Лиза Толстой и Тонкой.

– Она нам: «Девочки-девочки, почему у вас такие глупенькие глазки?» – низким голосом спросила Маша и продолжила тоненько: – А мы ей: «Тетя-тетя, а почему у тебя такая большая попа?» – Маша презрительно выпятила нижнюю губу и добавила: – Я не хочу, чтобы меня культурно возглавляли.

Лиза специально несколько раз в день проходила мимо кабинета Мадам, замедляла шаг и с надеждой вглядывалась в дверь – не позовет? Однажды прислонилась к двери и стояла, вздыхая, как собака. Уже хотела было уйти, но вдруг, подчинившись внезапному импульсу, засунула голову в кабинет и пролепетала:

– Где можно найти ваши книги, Нинель Алексеевна?.. Я хочу почитать... очень... В магазинах их нет, раскупили, наверное...

– Принесу на днях, – коротко ответила всесильная Мадам. Чуткая на чужое обожание, она стала привечать Лизу, из-за приоткрытой двери все чаще раздавалось сладкое: «Зайди, посиди у меня».

Теперь Лиза носила кофе в кабинет Мадам, а не в секретариат опекавшей ее прежде Ирине Михайловне. Той было жаль расставаться с почтительным вниманием хоть бы и совсем незначительной девочки, и она откровенно обижалась на безыскусно изменившую ей Лизу.

– Мадам просто крокодил, пожует тебя и выплюнет, ты ей быстро

надоешь! – ревниво предупреждала она.

– Ты с Мадам как Дама с собачкой и, как ты понимаешь, Дама – не ты, – дразнили Толстая и Тонкая.

– Ты – типичная Лиза-подлиза, – по-детски возмутилась Маша. – Ходишь к ней, пресмыкаешься за культурный кусок!

Лиза не обижалась. В своем восхищении Мадам она была искренна, а к тому же понимала, что правильно выбрала себе хозяйку, безошибочно знала, что в темных глубинах будущего, где пересыпались песочные часы Лизиной жизни, встреча эта была очень важной.

Беседы их всегда состояли из трех частей. Сначала Мадам рассказывала о себе: как училась в Академии художеств, защищала диссертации, с кем дружила... Лиза слушала заворуженно, как сказки, которые ей в детстве рассказывал Моня, переспрашивала, уточняла.

– У меня дома портреты кисти Сарьяна и Мавриной, – гордо перечисляла Мадам, а Лиза тихонечко так, про себя, повторяла незнакомые имена, чтобы не забыть: «Сарьян, Маврина...»

– Две работы Пластова... редкость... – «Хвалите меня, хвалите!» – требовали маленькие глазки Мадам.

– Пластова... – эхом повторяла Лиза.

От желания выбежать и немедленно занести в блокнотик новые имена она нервно поглядывала в сторону двери.

Затем следовала вторая часть. Мадам упоенно учила Лизу: как жить, что смотреть, как учиться, что читать, как относиться к себе.

– Ты не очень привлекательная девочка, поэтому всегда должна думать о своей внешности! Вот я – некрасивая, и посмотри, как себя слепила... – Соломенная челочка весело металась над разноцветным лицом.

Мадам оценивающе взглянула на Лизу:

– У тебя хорошая фигурка, а вот лицо... Это не лицо, а фон! Тебе надо краситься поярче. Косметику купи приличную, больше толку будет, чем от лишней тряпки.

Лиза купила голубые тени, тушь и розовую помаду, и теперь, какая бы срочная работа ни лежала на ее столе, каждый день начинался с косметических манипуляций.

– Если человек не имеет возможности роскошно одеваться, у него должно быть мало вещей, но обязательно хорошие, дорогие! – Стараясь скрыть второй подбородок, Мадам всегда носила свитера с высоким воротом, а в жару обматывалась тонким шарфом. Свитера и шарфы были настоящими, из другой жизни.

Теперь Лиза знала, что она должна думать о людях.

– Работники машбюро всегда спят с творческими работниками, это закон жанра! – сказала Мадам.

«Какого жанра? Бывает трагедия, комедия... Толстая и Тонкая живут в разных жанрах...» – подумала Лиза, но озвучить свои мысли побоялась.

– Такая уж это специальная порода, у всех этих теток в жизни либо трагедии, либо дети от творческого состава, – объясняла Мадам. – Ты хоть понимаешь, что с ними случилось в жизни?

– Нет, а что вы имеете в виду?

– Они были такие же, как ты, – объясняла Нинель Алексеевна, – пришли в редакцию много лет назад на минуточку, пересидеть, собирались поступать в институт. А потом завели романы с женатыми мужиками намного старше себя. Начались аборты, страдания... А эти дурочки все надеялись на что-то. Вот и застряли в редакции. Образования не получили... При этом, посмотри, они же не совсем уж простые, у них были задатки, они и сейчас читают все, что печатают, высказываются очень неглупо... Думают, что у них еще все впереди, а жизнь уже не удалась!

И наконец, наступала третья часть. Менторская важность на пухлом лице сменялась умильным выражением «между нами, девочками», и Мадам начинала выпрашивать. Она желала быть в курсе всех событий: кто как живет, на что тратит деньги, что готовит на обед, с кем ест и с кем спит. Особенно, до мелочей, интересовали ее редакционные романы: как посмотрел, в чем были одеты, в котором часу ушли с работы... И совсем уж незначительными подробностями Мадам не брезговала, например, какое белье носит Маша и какие продукты купила сегодня Толстая. Лиза покорно рассказывала сплетни, стараясь припомнить все, что слышала, а иногда и от себя присочиняла. Она понимала, что теперь наступала ее очередь отдавать. Происходила, как говорили в детстве, менка: Мадам Лизе – культурный лоск, а Лиза ей – сплетни. «Это неэтично», – раздувая щеки, осуждала Мадам. Неэтично заглядываться на чужого мужа, покупать на одолженные деньги тряпки, оставлять ребенка одного дома! Никому ведь не станет хуже, если она немного порадует такую добрую к ней Нинель, она ведь не фашистам девочек предает! У самой Лизы не возникло бы мысли, что выкладывать чужие секреты и копаться в чужих жизнях «неэтично», но Мадам так жадно, словно не могла напиться, поглощала сплетни, что на выходе из кабинета Лизе почему-то всегда хотелось отряхнуться.

Устроившись у подоконника тут же, напротив кабинета, она аккуратно записывала все, что сегодня узнала, – Маврина, Сарьян, Пластов... или Пластова... Женщина? Обидно, не расслышала.

– У нее дома портреты хороших кистей, она столько всего знает, – пересказывала Лиза Ольге все разговоры с Мадам. – С ней разговаривать – все равно что энциклопедию читать!

Моне Лиза призналась:

– Дед, а я ей про всех рассказываю... Как ты думаешь?.. – И выжидающе замолчала.

– Не очень-то приличное дельце про подружек болтать...

– Но ведь она очень умный, известный человек!

– Кто в Жмеринке умный, в Одессе еле-еле дурак, – ответил Моня. – Она, Мадам твоя, над тобой старшая. Что велит, ты и делаешь, а с тебя что возьмешь, девчонка!

Лиза так Моню поняла, что ей можно не волноваться: действительно, Мадам знает, что делает.

У Мадам имелись еще конфиденты, бившиеся между собой за ее благосклонность, но таких быстрых успехов, как Лиза, не делал еще никто. Так близко подкралась она к сердцу Мадам, что даже удостоилась приглашения в гости.

– Это Кончаловский! – выдохнула Мадам, поведя рукой в сторону небольшой картины.

«Букет... Ну и что в нем такого особенного? Не понимаю я живопись, ну никак не понимаю!» – расстроилась Лиза, напряженно вглядываясь в неопределенные красноватые пятна лепестков. Она впилась в Мадам осторожным взглядом и беспомощно пробормотала:

– Да-да, здорово...

– Кончаловский создал особый, радостный мир, в котором нет места несчастьям, – лекционным голосом произнесла Нинель.

– Точно! – подтвердила отличница Лиза.

Завешенная картинами двухэтажная квартира Лизу не удивила, она ожидала увидеть что-либо в этом роде. Но больше всего ее поразила чистота. Дома у Лизы тоже было чисто, каждое воскресенье Маня отмечала уборкой, и они с Веточкой вдохновенно скребли, мыли и чистили, но в прихожей всегда в беспорядке валялась обувь, на диване лежала куча неглаженого белья, а Мониная грязная рубашка могла обнаружиться в любом месте квартиры, включая крошечную кухню, а уж ванная... У Нинель был красивый, принципиально иной быт, вернее, быта не было видно вообще, даже такому невинному предмету, как веник, не осталось места на виду.

– Маня, давай уберем все эти тряпки, – предложила Лиза бабушке в первое же воскресенье после ее визита к Мадам.

Маня посмотрела на нее недоуменно.

– Некрасиво же, Маня, ну пожалуйста!

– Не придумывай, тряпки же все чистые! – Маня удовлетворенно взглянула на рваные тряпочки, развешенные по кухне. – Уж у меня-то все как полагается, все отдельно – для стола, для посуды, для сковородки...

Лиза вздохнула: «Какая мне разница, это их дом – не мой, а у меня все будет красиво, как у Нинель!»

Эта квартира действительно перестала быть ее домом. Лиза почти не встречалась с родителями, перебравшись из общей с ними спальни на диван в «большую комнату». Приходила она поздно, когда все уже спали, только Моня всегда начинал ворочаться и кряхтеть на звук Лизиного ключа в двери. «Это ты пришла? Ну слава богу...» – бормотал он и тут же засыпал. Утром, когда все суетливо кружили по душному пространству между кухней и ванной, уже не время было вести семейную жизнь. Домашние лица казались вчерашними, а домашняя жизнь – не очень удачным фильмом, о котором забываешь уже на выходе из кинотеатра. Лиза никогда не была настолько далека от семьи, как сейчас, радостно ощущая свою отдельность. У нее как будто и не было семьи – только редакция и университет. Ура!

Все происходящее в газете казалось Лизе невероятно значительным, но вскоре она поняла, что сами корреспонденты и обозреватели называли обязателькой то, что пишут для газеты. Серьезно относиться к нудной обязательке считалось неприличным, принято было презирать. Так и относились – равнодушно, с большей или меньшей степенью искренности. Все претендовали на то, что они писатели и поэты, кто талантливый, а кто и гениальный. Творили, ваяли, пробивались печататься, кто за деньги, кто по дружбе, кто по любви.

– Все они бездарны! Эти их эпохалки, концептуалки, нетленки – просто отходы незрелых умов, – жестко сказала Мадам. – И все они комплексуют. Ты понимаешь, глупая девочка, что все эти гении почти всегда навеселе? Кто по-настоящему талантлив, не просиживает полдня в буфете и полдня в машбюро, а сидит и строчит... или от руки пишет, все равно! Это я тебе говорю как автор шести книг!

– Но Стругацкий, например, он очень талантливый... У него стихи... Он мне рассказывал, что пишет книгу о Маяковском, – осмелилась возразить Лиза. Стругацкий печатал на старом «ундervуде», машинка все время ломалась, и тогда он начинал писать от руки...

– Он уже десять лет считается талантливым и столько же без перерыва пьян. Года через два совсем сопьется, – вынесла вердикт Мадам.

Лиза не поверила, но послушно кивнула.

– Все питерцы творят, печатают по углам на своих «ундервудах», а провинциалы делают карьеру. Это особая порода... Все наше редакционное начальство – провинциальные мальчишки с журфака...

– Это плохо?

– Что плохо – карьера? Замечательно! Главное – ни в коем случае не выходи замуж за еврея, – поучала Мадам. – Пусть у тебя будет муж хоть с фамилией Помойкин, но русский.

– Вы не любите евреев? – напряглась Лиза и тут же сладко предала Моню. – Ну, евреи, они, конечно...

– Какая ты неразвитая, Лиза! Кто говорит о любви? У меня почти все близкие друзья евреи. Повторяю еще раз! Если хочешь сделать карьеру, не выходи замуж за еврея!

Между собой все сотрудники редакции разговаривали на птичьем языке, непонятном посторонним. Лиза старалась яростно, как шпион: вслушивалась, всматривалась, ловила и потом, не стесняясь поинтересоваться, расшифровывала шутки и намеки. И понемногу начиная разбираться, сама переходила на птичий язык. Так постепенно Лиза становилась своей.

Замглавного редактора, бывший артиллерист, был глуховат и говорил громовым голосом. Он писал пьесы, которые иногда ставили в захолустных театриках. Почему-то все пьесы были о знаменитых актрисах: Ермоловой, Комиссаржевской. В одной из пьес Комиссаржевская, умирая на сцене, кричала: «Я чайка, я чайка!» В спину замглавного всегда кто-нибудь, закатывая глаза, томно стонал: «Я чайка!», а обнаглевший Стругацкий однажды на спор спросил его, интимно наклонившись к самому уху: «Вы чайка?» Теперь и Лиза называла его Чайкой, каждый раз ощущая при этом приятное покалывание причастности к этой удивительной жизни.

Миновать машбюро не мог никто из сотрудников, даже те, кто не принимал участия в вечеринках, все равно тащили печатать свои нетленки, и Лиза волей-неволей находилась в центре мужского внимания. Правда, это внимание было обращено к ней всего лишь как к такой же части интерьера, что и всеобщий любимец кожаный диван. Интересы именно к Лизе не проявлял никто, кроме заведомо информации, грузного, с вечной растянутой клоунской улыбкой на мясистом лице. Он бросался на нее в коридоре, прижимая животом к стене. Худенькой Лизе удавалось просто из-под него выскользнуть и убежать. Но и в его внимании не проскальзывало даже оттенка подлинного сексуального интереса, это была всего лишь поза,

не относящаяся лично к Лизе игра, он в буквальном смысле слова не мог пройти по коридору мимо любой женщины моложе тридцати лет.

Лизе нравился Стругацкий, несчастный и талантливый. Раз в год Стругацкий уезжал к друзьям на Север и, возвращаясь, сдавал книжку про оптимистичных, поющих у костра полярников. На гонорар жил, сколько жилось, по мере утекания полярного гонорара все чаще упоминал недописанную книгу о Маяковском, и облик его приобретал все более меланхолические черты. Женщинам он нравился как в имидже страдальца, так и в имидже бодрого друга полярников. И в том и в другом случае у него было трогательное выражение лица оторопевшего человека, который вышел посреди ночи на кухню попить, сонный и беззащитный, и обнаружил, что уже день и все обедают без него. Перепутал день с ночью, и это навсегда. Стругацкий нравился не только Лизе и Маше, Толстой и Тонкой, всем женщинам в редакции, но, как подозревала Лиза, даже самой Мадам. Чтобы обратить на себя внимание Стругацкого, Лизе непременно надо было лучше одеваться.

Маня разрешила Лизе оставлять зарплату себе, и несколько месяцев она копила свои деньги в тумбочке у Мони. Когда Тонкая принесла на работу очередной джинсовый ком, Лиза вытянула из него несколько джинсовых предметов.

– Хочешь как все? Вот посмотри, как Маша оригинально одевается, – презрительно сморщилась Мадам.

Но тут Лиза была тверда. Да, она хотела как все! Просто мечтала! Джинсы, джинсовая рубашка, джинсовая заколка в волосах...

– Лиза, ты просто уморительна! Ты похожа на джинсовую вешалку! Женщине, как художнику, прежде всего необходимо чувство меры.

Лиза покосилась на разукрашенное пятнами лицо Мадам с ярко-розовыми щеками, глазами-воронами и надулась:

– Тогда я вместо рубашки надену свитер, и не будет столько джинсового. Можно?

У бездетной Мадам еще никто не спрашивал, можно ли что-то надеть, и это оказалось неожиданно приятным.

Лиза не виделась с Ольгой уже неделю, вечерами та работала в студенческом научном обществе, и, чтобы похвастаться новыми вещами, Лизе пришлось отправиться к Ольге в институт.

– Я уже почти закончила. Сложи эти детали в коробку и пойдем.

Ольга сунула Лизе какие-то гайки и болты. Лиза недовольно поморщилась, но ей хотелось поскорее домой, и, поставив на колени

коробку, она двумя пальцами взяла гайку. С гайки на джинсы упала капля. На глазах у онемевшей от ужаса Лизы на коленке расплзалась дыра, оставляя обугленные кусочки ткани по краям.

– Оля, что это? – прошептала она.

– Похоже на серную кислоту, – принявшись, деловито ответила Ольга. – Интересно, откуда она здесь?

Закрыв глаза, Лиза помотала головой, но дыра не исчезла.

– Меня дома убьют за джинсы!

Пришивая на джинсы кожаную, вырезанную из старой сумки заплатку, Моня бормотал себе под нос:

– Кто же в нарядном работает, обе вы девки-дуры. Зачем всю зарплату на штаны потратила?.. А Мане мы не скажем. Убьет, пожалуй... Скажем, так модно, с заплаткой... вот и хорошо будет, красиво...

Лизино благостное состояние, длившееся несколько месяцев, закончилось в один миг. Утром она проснулась, вспомнила про испорченные джинсы и до прихода на работу не смогла избавиться от тяжелого гнетущего чувства, что все идет не так. Сегодня все казались ей ужасными: Тонкая посмотрела на нее неодобрительно, Толстая не ответила на ее приветствие, Маша пришла на работу в новом костюме, и Лиза в своих заплатках почувствовала себя рядом с ней замарашкой.

В буфете она специально замешкалась, чтобы оказаться рядом со Стругацким, и, взяв свой кофе, подседа вслед за ним и его теперешней девушкой из отдела информации к секретарше главного, у которой тоже когда-то был с ним роман.

– Знакомьтесь, девочки, – Стругацкий указал своей новой девушке на секретаршу, – вы молочные сестры!

Девушки, понятливо переглянувшись, засмеялись, а Лиза почувствовала себя как первоклашка, которую старшие не взяли в свою игру...

– Знакомить старую и новую любовницу – это дурной тон! – оценила ее рассказ Мадам.

Стараясь не демонстрировать злость, Лиза вежливо улыбалась. «Я вырасту и буду такая же умная, благополучная. Никто не посмеет мне указывать! Да, и еще... У меня будут деньги!» Она привычно сжала кулаки за спиной.

– А знаете, что он еще сделал? – оживилась она. – Сейчас расскажу.

Сегодня Стругацкий позвонил из машбюро в кабинет глуховатому замглавного и представился известной поэтессой Ренатой Крайневой, как известно, еще более глуховатой, чем бывший артиллерист.

– Семен Михайлович, это Рената Крайнева, – прошамкал Стругацкий.
– Я не слышу.
– Это Рената Крайнева!
– Говорите громче, я не слышу!
– Здравствуйте, это Рената.
– Здравствуйте, Рената! – расслышав наконец, обрадовался замглавного.

– Громче говорите, я не слышу! – ответил Стругацкий, изображая глуховатую Ренату.

– Это я, Семен Михайлович, здравствуйте!

– Это я, Рената! Я не слышу!

Пока «парочка тугоухих» якобы безуспешно переговаривалась, под дверью замглавного хохотала толпа, а часть зрителей умирала от смеха в машбюро.

Забыв про свою обиду, Лиза умилялась: «Кажется, будто Стругацкий всегда полусонный, а он проснулся и так остроумно пошутил».

Несколько первых месяцев Лиза так, преданно подрагивая лицом, смотрела на любого приносящего ей материал для печати, что казалось, сейчас она откроет рот и, пощелкивая зубами, с места в карьер начнет печатать. «Не будьте дурами!» – требовали Толстая и Тонкая, и девочки старались дурами не быть. Толстая и Тонкая вовсю печатали налево во время работы, и Маша с Лизой научились.

– У меня срочно, материал идет в номер! – возбужденно кричал редактор, требуя немедленно приступить к делу.

– А у нас другая срочная работа! – отвечали девочки и уходили в буфет. Редактор нагонял их за столом и, потрясая материалами, кричал: «Срочно!», пока они пили кофе.

Девочки заказывали бумаги и ленты в два раза больше, так как знали, что выдадут в два раза меньше, а если останется лишнее, то можно будет кому-то помочь. Перед ними бродили тучи начинающих: приносили пирожные, убеждали в собственной гениальности, высиживали девочек как яйца, умоляя перепечатать статью, рассказ, пьесу. Лиза очень гордилась своим человеколюбием. Одному из таких страдальцев она напечатала пьесу бесплатно – у этого мальчика из заводской многотиражки не было денег даже на кофе в буфете.

Главный редактор писал про войну, писал много, приносил им печатать свои опусы и не платил никогда.

– Мы не обязаны это печатать, – мрачно говорила Маша, глядя на

увесистый труд.

– Но мы не можем не печатать, – так же мрачно отвечала ей Лиза.

На третьем за полгода опусе девочки, осмелев, осуществили маленькую месть машинисток: первую страницу редакторского опуса напечатали на «собаке», специальном бланке со всеми выходными данными – кто автор, кто заказал, кто проверил, кто ответственный за выпуск. Любопытная Лиза желала знать, почему бланк назывался «собака», но этого не знал никто. «Так повелось с дореволюционных времен, „собака“, и все тут», – отвечали ей. «Собакой» девочки намекали, что главный злоупотреблял служебным положением, или невинно сомневались в том, что он настоящий писатель.

Главный ни разу не сделал им замечания. Кротко присылал секретаршу.

– Главный просил напечатать первую страницу на чистом листе.

«Лучше маленькая месть, чем никакой!» – думали девочки.

Так беззастенчиво пользовался ими лишь главный. Следующий по рангу начальник – ответственный секретарь – театральный критик, по словам Мадам, совершенно бездарный, не платил за свои опусы, но зато брал девочек в театр, и ему они печатали охотно.

Так бы и шла Лизина жизнь, но однажды, поучая Лизу, Мадам вдруг на секунду прервалась, задумалась и внезапно трезвым голосом спросила:

– Послушай, деточка, а почему бы тебе не начать писать? – И сама ответила: – Пиши.

– Как это – «пиши», я же не журналист? – удивилась Лиза.

Мадам сама привела Лизу в отдел информации.

– Вот моя девочка, не обижайте! – велела она.

Мадам выбрала единственно возможный для Лизы вариант. На первых полосах располагался официоз, большие программные статьи, а в конце отводилось место юмору, случаям из жизни, мелким событиям культуры. Там, на последней полосе, и подвизалась Лиза.

Она начала кропать мелкие информашки в несколько строк. Маша над ней посмеивалась:

– Что за ерунду ты пишешь? «Неизвестный попал под лошадь...» Ничем не гнушаешься!

Лиза писала! Открылась выставка, закрылся на ремонт Дом культуры, открылась прачечная, и жители района теперь смогут сдавать свое грязное белье, закрылась прачечная, и жители района вынуждены сами стирать свое грязное белье...

Появление в газете своих материалов Лиза восприняла совершенно

спокойно, ее состояние не имело ничего общего с эйфорией первых месяцев работы в редакции, когда она так успешно обживала окружающий мир.

– Что ты чувствуешь, когда смотришь на свои... – Ольга замялась, не зная, как назвать: статьи или заметки. – Ну... в общем... на свои строчки?

– Ничего не чувствую, нормально... – пожала плечами Ли-за. – Работа...

Времени на эйфорию не было, ведь напрямую задания не предлагали. Надо было добывать, толкаться, просить: «Дайте мне задание!»

– Я отпихивать локтями других не буду! – заметила Маша. – Закончу университет, тогда и стану писать, как все нормальные люди.

«А я буду отпихивать локтями!» – подумала Лиза.

Она очень старалась. Приходила в отдел информации каждый день, слонялась по двум небольшим комнатам от стола к столу, тихо стояла, ждала, пока ее заметят, спрашивала сама, нет ли для нее любого, хоть самого маленького и скучного задания, смотрела с готовностью в глаза, предъявляла свое желание немедленно отправиться в далекую и непривлекательную даль по самому незначительному информационному поводу. Ее называли «поди туда, не знаю куда».

– Дайте мне задание! Нинель Алексеевна вас просила, помните? – не стеснялась она немного пошантажировать сотрудников именем властной и мстительной Мадам.

Писала Лиза четко, ничего не путая, приносила задания минута в минуту, и вскоре никто уже не помнил, что она протеже Мадам. В отделе информации она со всеми дружила, опять бегала за пивом и пила сама.

Лиза с детства так болезненно много думала, как к ней относятся, что умела сразу же, при первом контакте, выхватить из внешней вежливости неодобрение или расположение к себе, умудряясь использовать всех, в ком находила хоть каплю доброжелательности. Она и получала задания в ущерб остальным.

Все газеты с Лизиными информашками хранились у Мони. Вечерами он надевал очки и перечитывал короткие сообщения внучки: «Открылась прачечная...», «Закрылась булочная...».

Маша сдала сессию на тройки, а Лиза на «отлично», но о переходе на дневной не было и речи.

– Зачем тебе это нужно? – сказала Мадам. – Пока детки будут в аудиториях сидеть, ты уже журналистом станешь!

Никто не умел смотреть на Мадам так трепетно, как Лиза. Нинель

Алексеевна снисходительно улыбалась, когда хвалили безотказность и исполнительность ее протеже, а хвалящие с удивлением обнаруживали в Мадам нехарактерные трогательные, почти материнские реакции. Сама Мадам с иронией называла себя доктором Хиггинсом, пытающимся превратить цветочницу в герцогиню, но ей действительно стала мила эта ничем не примечательная девочка с рабочих окраин, такая преданная, так головокружительно ее обожающая.

Весной Мадам то ли спросила, то ли велела Лизе:

– Тебе пора переходить к более крупной форме, попробуй написать репортаж или очерк.

– На материал покрупнее очень много желающих, мне не протолкнуться, – ответила Лиза. «Как дальновидно поступила Мадам, отправив меня в отдел информации. В любом другом отделе о репортаже не было бы и речи», – подумала она, радостно подобравшись.

Кого-то Мадам вызвала к себе, к кому-то зашла сама, и Лизу впервые послали на событие с большим заданием. «Мне дали сделать репортаж!» – пузырилась в ней радость, приправленная уверенностью, что все получится.

Отправляясь «на событие», Лиза даже предположить не могла, какой удачей обернется для нее открытие большого Дома культуры. Взяв интервью у директора и руководителей творческих студий, Лиза уже собиралась уходить, как вдруг поймала направленный на директора неприязненный взгляд такой силы, что, как притянутая магнитом, пробралась сквозь толпу к хозяину взгляда и на всякий случай подробно выспросила о причинах такого грустного вида при определенно радостном событии.

Лиза написала репортаж, как и положено было, для последней полосы, вот тут-то и случилась Лизина большая журналистская удача. Ничего другого, как оказалось, в этот день не произошло, и скромное Лизино событие вдруг было назначено начальством событием дня, а ее неприязнительный материал под шепот: «Вот повезло, ей просто ужасно повезло» – вынесли на первую полосу.

– Это произошло вне зависимости от качества материала, тебе действительно очень повезло! Но... – Мадам значительно подняла палец, – везение никогда не бывает случайным! Ты хорошо поработала.

Необыкновенное Лизино везение продолжалось! Ее репортаж вывесили на «Доску лучших материалов». Оказалось, что в репортаже высветилась проблема: Лиза отметила, что в общей радости по поводу

Дома культуры имеются некоторые нюансы – здание мешает жителям дома напротив, с обратной стороны окна детской студии выходят на больничный морг...

Это вам не «Ужасный шрам на прекрасной шее», это настоящая журналистская работа, торжествовала Лиза. Здесь требуется приехать быстро, проскользнуть ловко, оттолкнуть других локтем, поймать чей-то взгляд, найти и уговорить нужного человека, понять, как он к тебе относится... Все понятно, и все ей по силам. Успеть первой, узнать побольше, чем другие, на это Лиза была мастерица!

Работа в редакции стала не просто работой, а формой жизни, в том числе и формой светской жизни, что было особенно важно для Лизы. Пропуск в Дом журналистов, театральные премьеры по протекции замглавного, вечера с Машей в Доме писателей... Впервые в Дом писателей Лиза попала, когда Мадам пригласила ее на свой творческий вечер.

Ошеломленно-счастливая Лиза, в джинсах с заплаткой и одолженными у Маши блестящими клипсами-сердечками, оказалась за одним столом с писателями и артистами, которых раньше видела по телевизору, они и жили в ее сознании только на экране или на обложках книг.

Прислушавшись к шепоту соседей, Лиза различила слова:

– А что за девчонка с голодным лицом, в ужасных сердечках? Выглядит, как будто ее только что случайно на остановке подобрали и она еще не пришла в себя от счастья...

– Из нашей редакции. Так, никто, какая-то дворняжка, очередная протеже Мадам...

– А как ты думаешь, – актер, знакомый Лизе по многим спектаклям, наклонился к собеседнику, – нет ли тут сам знаешь чего?.. Что-то она больно девочек любит...

Машину сережку сердечком Лиза потеряла... Маша не рассердилась, ей эти сердечки не очень нравились, она подозревала, что они безвкусные.

Прошло два года. Маша сидела в машбюро, бегать по мелким информационным поводам типа открытия-закрытия считала ниже своего достоинства, но неторопливо раскачивалась, написала пару заметочек о кино. Друг Толстой теперь почти жил с ней, Тонкую почти бросил ее любовник... Кроме этих «почти», все шло своим чередом: Толстая и Тонкая

растили детей, красавец Стругацкий спился до срока, предсказанного Мадам, а третьекурсницу Лизу Мадам взяла на полставки корреспондентом к себе в отдел культуры. Для любой студентки это была редкая удача, замечательная карьера, феерическое везение, исполнение желаний...

«Лезет изо всех сил, как любая бездарность!», «Процарапывает себе публикации!»... Это были самые мягкие отзывы о Лизиних успехах. Все остальные сочетались со словом «жопа»: лижет, лезет без мыла...

Прозвище у нее было Сиротка Хася. Однажды кто-то очень метко назвал бледную, невыразительную, с настороженно-голодным лицом Лизу: «Писи Сиротки Хаси». Выражение оказалось удачным, точно отражавшим ее неприкаянную готовность немедленно узнать все, что пока еще не было ей известно. За глаза ее теперь называли не иначе, как Сиротка Хася или просто Хася. Как-то, когда Лиза сопровождала Мадам на премьеру в Дом кино, поздороваться с Нинель Алексеевной подошел знакомый журналист. Лиза скромным адъютантом стояла чуть поодаль.

– Здравствуйте, Хасенька! Я о вас много слышал, – вежливо поклонившись Лизе, без всякой задней мысли произнес журналист.

Лиза удивленно на него посмотрела, а Мадам хихикнула:

– Неловко получилось. Она не Хася, а Лиза. Бедная Лиза.

Дежурить по номеру должны были все корреспонденты по очереди. Эта рутинная обязанность требовала неприятной повышенной сосредоточенности сил, как школьная контрольная по математике для будущего фокусника – написать, что требуется, и, сунув учительнице листок, быстро убежать по своим делам.

Свое первое дежурство по номеру Лиза запомнила навсегда. Весь день она нервничала и донервничалась до спазматических болей в желудке.

– Лиза, поешь что-нибудь, – сказала Маша, взглянула с жалостью и подвинула к ней винегрет.

– Да-да, – ответила Лиза и, положив немного винегрета в чашку, принялась меланхолично размешивать кофе.

– Первый раз всем очень страшно. Не бойсь, все справлялись, это тебе не книгу написать, интеллекта не требуется! – пожалел ее Стругацкий.

Вечером Лиза осталась в отделе одна. Сидя за поцарапанным столом, она ждала, когда ей принесут полосы, и рассматривала фотографии толстой дочки заведомом: вот она на катке в смешной полосатой шапке, а вот в белом переднике с огромным бантом... Обмотанная двумя шарфами Лиза, поджав под себя ноги в унизительных шерстяных рейтузах, растирала замерзшие руки. Минус двадцать пять, а в редакции топили так, чтобы

люди могли вяло двигать пальцами как основным рабочим инструментом, не больше.

Ей принесли гранки. «Смешно, – вспомнила Лиза, – когда-то я не знала даже, что гранки – это всего лишь набранный текст». Гранки надо было вычитать, выправить ошибки и сверить все факты с отделом проверки. Лиза сосредоточилась.

«Так я и знала!» – поморщилась она. На первой полосе висел «хвост». «Хвост» означал, что материал занимает больше места, чем нужно, и его необходимо сократить на шесть-семь строк, а в чужом тексте это непросто. У Лизы задрожали руки.

Принесли вторую полосу. «Так... Не хватает трех заголовков! Может быть, меня подставили, а может, и просто поленились», – вяло подумала Лиза. У нее ничего не получится, сейчас она встанет, отдаст все материалы, положит аккуратненько в папочку «текущий номер», выйдет из редакции навсегда и пойдет в метро. Где это видано, чтобы человек первый раз дежурил по номеру, а ему подсунули такое – и «хвост», и три заголовка придумать!

В следующем материале она обнаружила «воздух» – не хватало текста, его надо как-то растянуть. У нескольких фотографий не было подписи. «Дописать статью, придумать подписи к фотографиям, находясь в панике, невозможно, нечего и пробовать...» Лиза уронила голову на стол и зарыдала. Все еще всхлипывая и не поднимая головы, она тупо уставилась на фотографию многодетной матери на фоне детей и березок. «Как же назвать? – лихорадочно соображала Лиза. – „Материнство“?.. Избито. „Материнская любовь“... сердце, руки, ноги, нос... Что?.. А, вот! „Материнские руки“. Сойдет!» Глядя на руки женщины, обнимавшей детей за плечи, Лиза явственно разглядела на стволе березки известное слово из трех букв. Размашисто перечеркнув фотографию красным карандашом, она внезапно успокоилась, перестала дрожать и принялась строчить. Сейчас она здесь урежет, там добавит, придумает все подписи...

Лизе не повезло – сегодня выпускающий редактор сам замглавного. Хорошо бы просто заслать ему полосы... Нет, лучше она пойдет к нему сама и сразу подпишет текущий номер в печать.

Старого замглавного, Чайку, добродушного глуховатого артиллериста, недавно проводили на пенсию, и на его место пришел Игорь Владимирович Сухоруков, бывший проректор одного из ленинградских вузов. Редакционная деятельность была для него новой, он нервничал, скандалил на планерках, гонял редакторов с малейшей неточностью в отдел проверки, сотрудников из отдела проверки вызывал к себе и ругал за пропущенные

ошибки. Как любой начальник, он был окружен слухами. Говорили, что он обещал разогнать половину редакции, что у него такой высокопоставленный родственник в Москве, что даже его фамилию нельзя называть, что, конечно же, Сухоруков связан с органами.

Мадам называла его Тартюфом, Лиза уже знала, что это герой Мольера – лицемер и интриган. Она вообще спрашивала теперь все реже и реже, многое уже почерпнула из университетских курсов, часто перечитывала свои блокноты-энциклопедии с цитатами Мадам, которых за эти годы у нее набралось на целую полку.

По Лизиному ощущению Сухорукову было лет пятьдесят – шестьдесят, она так и не научилась точно определять возраст. Может быть, Мадам была права, лицемерно-постным лицом замглавного действительно напоминал мольеровского героя, но Лизе казалось, что этот человек с изогнутой фигурой и всегдашним взглядом в сторону вылитый маньяк. Узкий овал лица с заостренным подбородком, тонкие горестные губы, неприятный липкий взгляд. Впрочем, каждый видел в замглавного какой-то свой образ.

– Он похож на некрупного хищного зверя... Легко представить, как он поедает свою жертву с благостным лицом, смахивая слезу... О, поняла, он похож на воспитанного шакала! – Это Маша.

– Нет, если не знать, что он начальник, можно было бы решить, что он маньяк... – настаивала Лиза. – Представляешь, такого в темном месте встретить! Он с тобой разговаривает, а глаза так и бегают в разные стороны, как маятник. А если вдруг взгляд на тебе остановит, у него сразу начинают желваки ходить. Как его только на свободе держат! Типичный маньяк...

Пока замглавного читал принесенную Лизой полосу, она переминалась в сторонке, сесть ей не предложили. Замглавного полагалось прочитать насквозь весь номер. Лиза ждала и неотрывно, как загипнотизированный кролик, смотрела на его руки с маленькими сухими пальчиками, перемазанными жирной черной краской. Полосы пачкали, у нее самой руки были такими же черными.

– Почему эту фотографию перечеркнула? – Сухоруков поднял голову от полосы.

– Тут... там слово неприличное на березке написано... – слабеньким голосом отрапортовала Лиза, стоя перед ним в странной позе – навытяжку и одновременно кроликом.

Разглядев слово, Сухоруков хмыкнул, сдвинул одну половину рта в улыбку, похожей на нервическое подергивание, и впервые внимательно

посмотрел на Лизу. Некрасивая, худенькая, очень старается сделать вид, что ей не страшно. А самой очень страшно! Молодец, девчонка, если бы проглядели слово «х...» на странице большой городской газеты, могли быть изрядные неприятности!

Замглавного вышел из-за стола, молча прошествовал к двери, запер ее на ключ, достал из кармана тщательно сложенный белый носовой платок и так же, не проронив ни слова, неслышно ступая, медленно двинулся к Лизе. Лиза замерла. Если она шевельнется, случится что-то ужасное, например, разорвется мир.

В том, что происходило в кабинете дальше, Лизы не было. Сначала, на секунду застеснявшись своих шерстяных рейтуз, некрасивого белья и не готового к любви тела, она мстительно-отстраненно думала: «Так ему и надо! Пусть голубые теплые штанишки, рейтузы, синие, страшные, дырявые! Пусть прошел целый день с тех пор, как утром принимала душ, пусть!» Стоя спиной к замглавному с открытыми глазами, она настолько отсутствовала, что постаралась не шелохнуться, даже почувствовав боль, только вцепилась пальцами в стол.

Пока он возился, устраиваясь поудобнее в ее теле, Лиза размышляла. Две мысли крутились в ее голове, сменяя друг друга. Первая была, как всегда: «Это мне за Аню, сестру», а вторая – странно для такой ситуации раздумчивой. Почему она это делает, почему не попыталась сопротивляться, когда он к ней подошел, ничем не помогла ему, но и не шевельнулась? Из-за работы? Боится ему отказать, потому что в отместку он ее выгонит? Лиза прислушалась к себе. Нет, точно нет, честное слово, это не так. Если бы ее кто-нибудь спросил: «Выбирай, спишь с Сухоруковым или завтра же уходишь с работы?» – она, без сомнения, выбрала бы уход с работы, ни за что не стала бы... с этим Тартюфом, маньяком, шакалом! Испугалась его, как маньяка в темной подворотне? Нет, наверное, он все-таки не маньяк, не настоящий маньяк, он – профессор, доктор наук, заместитель главного редактора газеты. Может быть, испугалась, что он рассердится, он такой важный человек, а она никто, девчонка-печенка... Постеснялась, да, скорее именно так...

Замглавного что-то аккуратно произвел со своим носовым платком. Оставшаяся чистой Лиза натянула свои голубые штанишки и рейтузы и осталась стоять в той же позе, опершись руками на стол. Из-за спины она услышала: «Не ожидал, что ты еще девица».

Она повернула голову и увидела, как неприятно улыбнулся он одними губами, как будто сгримасничал.

Дома Лиза долго рассматривала свое новое тело, все в полосах жирной

черной краски, и вдруг засмеялась:

– Я настоящая журналистка, потеряла девственность на газетной полосе.

Утром Моня почему-то встал раньше, чем всегда, обычно в это время по дому шуршала-прихорашивалась только одна Лиза.

– Внученька, скажи мне, а у тебя есть кто-нибудь?.. Ты ведь уже большая девочка... – сморщившись всеми складками полного лица, нерешительно спросил он, для верности придерживая Лизу за рукав.

– Дед, еще раз скажешь мне «внученька», убью! – машинально пригрозила Лиза.

«Это не дед, а колдун какой-то! Почему он именно сегодня поинтересовался?!»

– Лизанька, есть у тебя кто? Скажи бабушке на ушко... – умоляюще настаивал Моня, придвигая к Лизе ухо.

– Не приставай ко мне! Опять ты выполз из комнаты в каких-то лохмотьях! Когда я тебя научу одеваться прилично! – возмутилась Лиза и убежала, на пороге показав Моне язык. Из всех людей на свете только она и Моня умели ловко складывать язык в трубочку, с Лизиною детства это оставалось их любимой шуткой, знаком общности.

В метро, ловко втиснувшись между двумя толстыми тетками на сиденье, Лиза прикрыла глаза и задумалась. А существует ли, собственно говоря, секс в ее собственной семье? Родители всегда представлялись ей бестелесной парочкой приятелей. Много лет, до первого курса, она спала с ними в одной комнате, ни разу не задумавшись, не мешает ли им... Между ними не мелькала даже тень неподотчетного интереса друг к другу. А вот Моня... Он очень любил рассказать анекдот с сексуальным намеком, игриво хлопнуть Маню по задку. Но он же дед, он старый! Лиза вдруг вскинулась и, открыв глаза, недоуменно уставилась куда-то в пространство. Моне... сколько лет?.. Он восемнадцатого года, значит, ему шестьдесят семь. А Сухорукову, говорили, около пятидесяти. Следовательно, вчера ее лишил девственности почти что ровесник ее отца, да и деда!.. «Это мне за Аню», – по-утреннему вяло подумала Лиза и встрепенулась – ей выходить.

* * *

– Сегодня обозреватель номера сам Сухоруков! – сообщила Маша. Лиза пожала плечами. Обозреватель разбирал полностью весь номер и,

как правило, уходил с летучки, окруженный облаком негативных эмоций, колеблющихся от легкого недовольства до ненависти, в зависимости от придиричivosti и профессиональной честности, от дружеских и любовных связей, от стремления свести личные счета. Обозревателями номера бывали все по очереди, и после «разбора полетов» все дружно ненавидели сегодняшнего обозревателя, а после следующей летучки уже другого. Обиды не накапливались, а волной бродили по редакции, образуя в целом нормальный творческий процесс. Лизу обычно сильно не ругали, так, вяло поругивали за шаблонность мышления и школьную прямолинейность изложения.

– Возьмем материал Бедной, – поигрывая желваками, произнес Сухоруков. Лиза испуганно вскинулась. – Написано неинтересно, мыслей нет, одни клише! Это городская газета, а не конкурс школьных сочинений! Учитесь писать, Бедная! Или уходите из редакции.

– Хочу заметить, что Бедная сдает все вовремя, не то что некоторые таланты, которые месяцами тянут с материалом, – вступилась за Лизу Мадам с натуральными красными пятнами гнева, перемежающимися с искусственно наведенным истерическим румянцем.

После летучки Лиза принесла Мадам в кабинет кофе. Мадам она не стеснялась и сейчас собиралась как следует поплакать при ней.

– У меня действительно проблемы с формой... Что делать?

– Выражайся яснее, моя дорогая! Ты имеешь в виду форму своего тела? – выплюнула струйку яда распаренная конфликтом Мадам.

– Нинель Алексеевна, я говорю о форме моих материалов, стараюсь писать пооригинальней, а все равно выходит, как замглавного сказал, клише...

– Ты плохо пишешь, Лиза... – зевнула она. – У тебя действительно клишированный текст, и, очевидно, это следствие твоих клишированных мыслей. Вот и пишешь невкусно, стандартно, обкатанными глупыми официальными фразами. – Мадам неважно себя чувствовала и изливала желчь на Лизу. – Деточка, существует элитарная и элементарная журналистика. Так вот, способности в элементарной журналистике означают способность не что именно написать, а как. С «как» у тебя проблемы. Заметь, я говорю всего лишь об элементарной журналистике. Критиком, например, тебе не быть никогда, для этого надо собственные мысли иметь.

Мадам была права. Лиза писала плохо, мучилась над каждым маломальски творческим заданием. Сначала строчила легко, не задумываясь, а

потом часами исправляла каждую фразу, выдавливая из себя слова, как фарш из мясорубки, только вот ручка вертелась очень медленно, застревая или проворачиваясь впустую. У Лизы напрочь отсутствовало чувство стиля, она не умела начать, не знала, как закончить, часами искала интересный ход. Зато четко брала информацию. Мадам в основном и держала ее на информациях, а к крупным формам допускала лишь изредка.

Несмотря на явное отсутствие творческих способностей, Лиза была в редакции на хорошем счету. Оказалось, что она обладает неким удобным вспомогательным журналистским свойством, скорее технического и концептуального плана. Откуда-то она знала, как выцепить главное из готового чужого материала, что обратит на себя внимание, будет иметь успех. Лиза мгновенно делала «вынос», забойную фразу из материала, начало материала, «врез», «боксик» – маленькую фразу в рамочке на подложке. Как-то незаметно она перестала быть Сироткой Хасей. За скорой технической помощью к ней ходили из всех отделов, и умением своим Лиза не жадничала, помогала охотно. И еще была очень ценной «свежей головой».

– Подумаешь, «свежая голова»! Всего-то и нужно прийти накануне непьяным и прочесть полосы насквозь! – говорила Маша.

– Да, а когда я, между прочим единственная из всех, обнаружила, что во всех колонтитулах проставлено не то число? – возражала Лиза. – А случай с обезьяной?!

На первой и четвертой полосах абсолютно симметрично были расположены фотографии генерального секретаря и обезьяны. Лидер Советского Союза и орангутанг Василий из Ленинградского зоопарка, застыв в идентичных позах, с интересом рассматривали друг друга. Лиза заметила, никто другой! Надо было не полениться полосы развернуть и все тщательно проверить. Это уже настоящий профессионализм! Все-все-все тогда говорили, что она спасла газету!

Лиза давно уже жила автономно, пользуясь правом приходить как сложится, не предупреждая, но последнюю неделю она исправно звонила домой каждый вечер. Маня лежала в больнице с сердцем. Болезнь была несерьезная, скорее просто недомогание, но Костя с Веточкой каждый день после работы сидели у нее часов до девяти, и к десяти они уже обычно были дома с подробным отчетом. Если Лиза не звонила, Моня надувался и

осуждающе шуршал по квартире, а если звонила, то пытался в деталях обсудить все больничные новости.

– Позвоню домой, а то родители спать лягут, – сказала Ли-за. – Только бы на деда не нарваться.

«Почему они так любят придавать значение всякой ерунде? Что Маня сегодня съела, что сказал врач... У Мани не инфаркт, ничего страшного, отдохнет немного и выйдет как новая... От скуки, наверное, больше-то ничего в жизни не случается...»

Сегодня вечером им с Машей неожиданно достались контрамарки на премьеру в Мариинку. Опера! От полного засыпания с позорным похрапыванием спасло только то, что сидели в ложе прямо над оркестровой ямой. Первый акт Лиза провела, наблюдая за арфисткой. Арфистка читала «Литературную газету» и ни разу не прикоснулась к инструменту, а во втором акте вообще исчезла, отправилась, наверное, домой.

– Зачем приходила?.. Сидела бы себе лучше дома в тепле и уюте, – зашептала Лиза Маше в шею. – Ей, похоже, дали контрамарку, как нам.

– Сосредоточься и не свались в оркестровую яму, меломанка! – Маша ущипнула Лизу, не отрывая взгляда от сцены.

Заледеневшими пальцами Лиза крутила замерзший телефонный диск.

– Лиза, быстро иди домой! – услышала она голос Веточки.

– Почему это?! – возмутилась она и задним числом уловила напряженность в материнском голосе.

– Иди домой, Лиза, Маня умерла. – Веточка положила трубку.

– Я не понимаю... – Лиза обернулась к Маше, вопросительно-жалко улыбаясь и все еще держа трубку под шапкой, около уха.

«Нет, все-таки есть какие-то высшие силы. Я вчера не собиралась к ней в больницу, а зачем-то пошла... получилось, что попрощалась...» Лиза сидела в метро с закрытыми глазами, гоняя вялую мысль по кругу. Забежала, правда, она на минутку, не раздеваясь... Маня гордо повела взглядом по палате: «Смотрите все, какая у меня внучка! Приходит, навещает!» Лиза положила пачку печенья на тумбочку, нервно подергивая ногой, постояла у кровати, ждущим Маниным глазам скороговоркой пробормотала: «Дела нормально», поцеловала Маню и убежала. А теперь оказывается, что это было самое что ни на есть прощание навсегда! Разве так бывает? Спасибо... Кому, чему? Предчувствию или этим... высшим силам, что привели ее, можно сказать, за руку притянули с Маней попрощаться?

В детских Лизиних воспоминаниях почему-то отсутствовала мама,

зато всегда была Маня. Большая, как целый мир. Главной, по Лизе, была Маня. Лиза с Аней на даче шалаш построили, а он набок завалился, Лиза плакала. Утром встали, а шалаш как новенький: пока все спали, Маня больших еловых веток принесла, а в шалаше чудо – печенье и лимонад! Грибы, толстые боровики, срезала и Лизе подсовывала, как будто это Лиза нашла... Манина широкая улыбка... Белочку вместе кормили, Маня так радовалась, что белочка приходит к ним есть, больше Лизы, сама, как ребенок, всему удивлялась... Лиза начала подвывать, как воспитанный щенок, тихонечко, с оглядкой на соседей.

– Никто не будет нас с тобой так любить, как Маня! – плакал Моня.

Лиза подносила к его рту рюмку с валокордином, Манину любимую, вытирала ему слезы рукавом своего свитера и тупо думала: «Никто... никто не будет его так любить... бедный Моня... И меня никто, неужели правда?»

Через неделю после похорон Моня попросил Лизу и забежавшую к ним Ольгу вместе разобрать Манины документы.

– Дед, почему я и при чем здесь Ольга? Пусть папа!

Но Моня скривился такими жалостными складочками, что Лиза махнула рукой.

– Там все тебе, – значительно пошамкал губами Моня и вытянул из глубины Маниного шкафа черную потертую кожаную сумку с металлическим замком-бантиком. – Она здесь все самое важное хранила... А сначала это была ее сумочка, Манечка с ней долго ходила... – Он всхлипнул, как потерявшийся ребенок, тихо и безнадежно.

Со дна шкафа Моня извлек картонную коробку. Сверху лежала стопка Лизиних фотографий, с тех самых пор, когда Маня торжественно водила ее каждый год в мастерскую к Науму. На последнем по времени снимке Лиза с пионерским галстуком, дурацкой полуулыбкой и как будто подмигивающим глазом. Лиза эту фотографию ненавидела, как и себя в том времени. Под фотографиями жила стопка открыток, а под ними почему-то банка сгущенки десятилетней давности и выцветшая коробка геркулеса пятидесятого года выпуска.

– Положила сюда и забыла, – с нежностью произнес Моня. Сколько Лиза помнила себя, столько лет Маня приходила с работы с большой продуктовой сумкой, отстояв после суток все встреченные по дороге очереди...

– Сгущенка сама сварилась от времени... – заметила Ольга.

Маня была женщиной без тайны, без внутренних глубин. Ни писем от любовников, ни каких-нибудь посмертных секретов, ни дневника и ничего

ценного, даже на память взять нечего. Из недр старомодного ридикюля были извлечены Манино обручальное кольцо, она давно уже не могла натянуть его на распухшие пальцы, несколько пожелтевших газетных вырезок, кажется, из Костиной институтской газеты, три пары старых женских наручных часов, одни вообще совершенно доисторического вида, пара Мониных запонок с темно-зелеными камнями, несколько книжечек в красных и синих переплетах... «Ударник коммунистического труда»... А вот открыточка с пальмами и Лизиными каракулями... Две Монины медали «За отвагу» аккуратно завернуты в кальку... Крошечная Лизина плюшевая собачка, локон чьих-то волос, похоже, Дининых... Все.

«Какая бедная жизнь...» – стараясь не плакать от острой жалости к своим старичкам, думала Лиза.

– А что это такое? – Лиза взяла в руки красные глиняные бусики. – И что за пуговицы, почему они здесь?

«Вот манера хранить всякие пустяки!»

– Мама всегда любила Немку больше... Она поэтому Манечку и не полюбила как следует. – Моня уплыл глазами.

– Дядя Моня, расскажите... – попросила Ольга и значительно прошептала Лизе: – Пусть рассказывает, отвлечется, ему легче будет.

...Улица Троицкая отходит от Невского проспекта короткой толстенькой кошачьей лапой. Так всегда думала Маня, быстро-быстро перебирая ногами по тротуару. До середины лапы добежала, вот уже до когтей, до самых кончиков, сейчас когти Маню зацапают. Вот она уже во дворе, красивом, в центре двора липы, над подъездом чуть кольшутся от ветра фонари. В 1911 году Толстовский дом, где Маня жила с мужем и его семьей, получил вторую премию на Парижской выставке. К 1940 году бывший доходный дом почти полностью сохранил всю свою изящную красоту, даже стекла с фасетами удивительным образом пережили трудное время.

Маня двумя руками держала на весу огромную сумку, страшась поставить ее на заплеванный пол. Сегодня ей удалось достать селедочку, две штуки, потом еще картошка, немного, всего килограммов пять, огромный рыхлый кочан капусты... Вот и набралось. Ключи не достать, руки заняты, ну не носом же жать в звонок! Хотя можно попробовать... Сведя глаза в точку, она приблизила лицо к двери и прикоснулась носом к синей кнопке звонка. Дверь открыл Наум. Недовольно взглянув на Маню, брезгливо поджал губы на ее сумку, не сказав ни слова, повернулся и торопливо засеменил по коридору к себе.

– Нема, я картошечку с селедочкой принесла! Придете? – крикнула она ему вслед.

Наум, не оборачиваясь, важно кивнул:

– Придем.

Как вопрос, так и ответ был совершенно формальным. Не прийти было невозможно, поскольку Наум жил в одной комнате с матерью, Марией Иосифовной, ежевечерне собирающей вокруг себя всех своих детей.

Квартира темная, мрачная, с закопченными потолками, а двери – высокие, тяжелые, дышащие другой жизнью, – ручки, шпингалеты, петли, все сохранились с начала века.

Когда-то здесь была анфилада, теперь, в коммуналке, все двери между комнатами забили. Дверь осталась только между двумя комнатами, которые занимала семья Гольдманов. Большая, метров сорок, комната с двумя окнами и эркером была перегороджена на три части. Получились гостиная и два пенала по двенадцать метров. В одном из пеналов жил Наум с женой Мурой и двухлетней дочкой Диной. Там стояла двуспальная кровать красного дерева с резной спинкой, купленная Наумом в комиссионке, и детская кроватка. Пеналы отгородили друг от друга шкафом, повернутым дверцами в сторону Наума. Раньше шкаф был повернут в сторону родителей, а после того, как умер отец и Наум женился, шкаф торжественно развернули лицом к Науму. Моря с Маней и младенцем Костей занимали смежную с «гостиной» девятиметровую комнату через дверь.

В эту соседнюю комнату можно было войти из коридора, а можно через анфиладную дверь из «гостиной». В комнате стоит Манино приданое: кровать с никелированными набалдашниками и подзорами, белое кружевное покрывало связала Манина мама в деревне. На маленьком столике белая кружевная салфетка, чтобы салфетка зря не пачкалась, на ней лежит сверху пожелтевшая газета с заголовком: «Все на борьбу с мухой!»

Центральная часть комнаты без окна – «гостиная»: круглый стол, стулья с гнутыми спинками и больше ничего. Каждый вечер приходят дочери и Моря с семьей, тогда к столу прямо на диване выдвигают из пенала Марию Иосифовну. Этот ужин – кульминация ее дня, как же тут не прийти?

Вокруг круглого, покрытого клеенкой стола собирались девять человек. Мать, Мария Иосифовна, старший Наум с женой Мурой, младший Моисей, по-семейному Моря, с женой Маней и девочки-сестры – Циля и Лиля.

Сестры жили в крошечной комнатке на Маклина, но каждый вечер

пешком приходили сюда, в огромную мрачную квартиру, к матери и братьям. Годовалый, прозрачно-светленький Костя, сын Мони и Мани, переходил с рук на руки по кругу, а двухлетнюю Дину, угрюмую и некрасивую как обезьянка, Наум не доверял никому. Он держал дочку на коленях, а Мура пыталась разжать плотно закрытый ротик и затолкнуть в девочку хоть что-то. Семейство Наума присутствовало за общим столом, но было целиком поглощено друг другом: Наум не сводил тяжелого, трепетного взгляда с Дины, а Мура перебегала глазами с дочери на мужа, небрежно, как мебель, минуя всех остальных. Над столом витала их любовь и равнодушие ко всему, что не касалось их хлопотливо-любовного круга.

– Ты селедочку пробовала? – нежно спрашивал Муру Наум и, отталкивая локтем Цилю, тянулся за селедкой через стол, даже не замечая обиженной гримасы сестры.

Мария Иосифовна уже не могла сидеть. На время ужина стол придвигали к ее дивану. Из-под лысоватого красного пледа выглядывало только ее лицо. Все, что осталось от маленького сухонького тела, было укутано в плед и скрыто от глаз детей. Она слабела с каждым днем, но уходило только ее тело, а дух не только оставался с родными, а, казалось, укреплялся в этой комнате все сильнее, цепляясь за родные лица, фотографии на стенах, затертую клеенку и щербатые разномастные тарелки. Взгляд ее останавливался на лицах сыновей и дочерей, минуя личики внуков. Внуки были ей сейчас совсем чужими. Она любила всех своих детей: и Моню, и Лилю с Цилей, но ее нежный взгляд скользил по их лицам, легко отрываясь, и застревал, вцепляясь в лицо Наума. Оторвать взгляд от Наума было трудно, труднее, чем от младшего или девочек, невозможно было не смотреть на него с такой любовью, да и до стеснения ли теперь, ведь ей осталось совсем немного смотреть на дорогое лицо...

Семья Гольдман перебралась в Питер в 1932 году из Конотопа, местечка на границе России и Украины. Глава семейства, Давид Гольдман, – из-за постигшего те края голода, к тому же он испортил отношения с фининспектором и опасался, что его посадят. Из этих соображений он поменял отчества двум своим дочерям и младшему Моне. Старшему сыну Науму, несмотря на свои опасения, оставил. Младший, Моня, глубоко затаил обиду на его опасливую предусмотрительность, справедливо полагая, что отец, отобрав у него отчее имя, в душе считает Немку главным сыном, а его, Моню, второстепенным, таким же незначительным для продолжения рода и сохранения имени, как девочек –

Лилю и Цилю.

Таким образом, в Ленинграде обосновались родные братья и сестры Наум Давидович, Моисей Данилович, Цецилия Семеновна и Лилия Львовна. Отец выбрал Лиле такое звучное отчество, надеясь, что оно отвлечет от ее некрасивости.

Давид умер вскоре после переезда в Питер, так и не успев как следует обустроить семью. Деятельность его в Питере была неудачной, все привезенные из Конотопа деньги пошли на жилищное устройство. Цилю и Лиле досталась маленькая комнатка на Маклина, отец считал, что им будет легче устроить свою жизнь, проживая отдельно.

Мура – невестка из богатой семьи, ее отец-ювелир перебрался в Питер из Конотопа вслед за Гольдманами. Мура необыкновенно хорошенькая, просто чудо какая нежно-румяная, хрупкая, бархатные черные глаза, вьющиеся волосы заплетены в косу, одна прядь все время выбивается из косы.

Мурочка почти всегда молчала, думала о чем-то своем, с окружающими не делилась, смотрела серьезно и застенчиво, говорила тихо... Незаметно пройти по улице, как всем, было ей невозможно, всегда находился кто-нибудь, кто свистел вслед и громко окликал: «Эй, красавица!» Она смущалась, краснела и тут же сутулилась от стеснения. Особенно Мура стеснялась своего «богатства»: каракулевой шубы, которую ей было неловко носить, кольцо и серег, которые всегда лежали дома, – их спрятал Наум, а Мура даже не знала куда. Да что там кольца, даже где лежат ее документы, она не знала. Мура не работала и не вела хозяйство, дома готовила мама, потом свекровь, а когда Мария Иосифовна слегла, как могла, старалась-кашеварила Маня. Мурочка же подробно и нежно занималась дочкой Диной.

Кривоножка Дина вся состояла из маленьких острых уголков: острые коленки, острый взгляд Наума из-под насупленных мохнатых бровок. Дина часто болела, да и здоровая всегда была немного простужена. Наум обожал обеих своих девочек. Страстное обожание Муры и Дины полностью заслонило для него даже простой интерес к окружающему миру. Страшно сказать, но с тех пор как он женился, у него, кажется, осталась только одна настоящая родственница – жена! Так раздраженно говорила сестра Циля, и сестра Лиля была полностью с ней согласна.

Моня сутулился. «Моня, выпрямись!» – привычно покрикивали мать и сестры. Он был худощав, даже излишне, но конституция его тела обещала появление такого же животика дынькой, как у Наума. Моня с детства отличался храбростью, зачастую даже бессмысленной. Все обрывы,

откосы, крыши, с которых можно было прыгнуть, все ямы, в которые можно было забраться, все самые высокие и опасные ветки деревьев, с которых прыгали конотопские мальчишки, – все были его. Если честно, то Моня не меньше осторожного Наума боялся высоты, глубины и неизвестных пространств, но уж очень хотелось ему сделать то, что было слабо старшему брату. Правда, соревновался Моня с самим собой, потому что Науму и в голову не приходило прыгать куда-либо без крайней на то нужды. Но Моня все равно прыгал с риском сломать шею, уж очень хотелось полюбоваться беспокойством в маминых глазах, пусть они оторвутся от всех остальных и хоть на секунду остановятся только на нем. Еще Моня серьезно рассчитывал на отцовское одобрение, пусть отец поймет, что хоть Моня и младший, но зато самый смелый. Мария гладила сына по голове, а Давид говорил шутливо: «Монька, ты у нас глупый, зато смелый!»

Было бы несправедливым сказать, что Моне в детстве досталось меньше ласки, чем положено от любящих родителей четверых детей. Очевидно, ему просто нужно было родиться единственным ребенком, нужно было ласки больше, чем определила судьба.

– Мама больше любила Нему, – совсем уж обиженно повторял Моня, и Ольга с Лизой гладили его по руке. – Манечка из городка Тихвин с тринадцати лет жила в Ленинграде в няньках в семье инженера... – продолжал он.

...Семья инженера хорошо относилась к безотказной ответственной Мане. Она мечтала выучиться на медсестру, и семнадцатилетнюю девочку с косами «корзиночкой» определили нянечкой в Мариинскую больницу, чтобы осмотрелась и начинала учиться. Из «корзиночки» падала прядь на лицо, правда, не красиво, как у Муры, а небрежно, неряшливо даже.

Выйдя замуж, Маня сохранила свою фамилию, осталась Бедная. «Мне все в больнице сказали, что брать фамилию мужа – буржуазная привычка! – доказывала она. – Все так говорили!» К мнению «людей» Маня была очень чувствительна. А как же еще сориентироваться в городской жизни, когда все поначалу чужое? Люди и подскажут. Она скучала по георгинам в палисаднике, по коринке в саду, на чердаке сундук с книгами, что остались от деда, Маня помнила пыльный сухой запах, хотя книг этих и не открывала никогда. Но от деревни отстала, была уже городской.

Откровенно показывать свою любовь к Моне казалось Мане

неприличным, но взгляд ее выдавал: так она своим Монею любовалась, что его сестрам-девушкам даже становилось неловко, будто что-то интимное подсмотрели... Перед Марией Иосифовной и Наумом она робела, а с Мурой стремилась дружить по-свойски, называла ее «Мурка», подмигивала. Мура же дружить и не отказывалась, и не соглашалась, просто не умела.

Моня посмеивался над женой, но осторожно, нежно даже, Маня очень была обидчивая. Если что-то не так, вспыхивала, поджимала губы, резко поворачивалась, так, что обдавало струей воздуха. «Ах так!» – говорила и бросалась рыдать. Маня не очень хотела сразу рожать ребенка, но ей показалось, что Моне завидно, что у Наума есть Дина, а к тому же ей «все сказали», что так уж положено в еврейских семьях, сразу рожать.

Манина мать жила в маленьком деревянном домике с палисадником на заросшей березами и шиповником деревенской улице. Мария Иосифовна тихо не одобрила женитьбу на гойке, считала Маню второсортной невесткой, вот и Наум тайком называл ее «беднейшее крестьянство». Деревенским же родственникам было не до того, чтобы блюсти чистоту крови, скорее всего они вообще не поняли, что зять Моня – еврей.

Зато сестры, Лиля и Циля, Маню сразу приняли, любили ее больше, чем другую невестку, Мурочку-неженку-красавицу. Маленькая унылоносая Лиля всегда наряжалась во что-то невнятное, бесформенное, так умудрялась одеться, чтобы никто не заподозрил, что под всеми ее шальями и балахонами скрывается женщина. Тихая Лиля вся была насмешка над придуманным своим отчеством Львовна, данным ей Давидом в наивном желании переломить ее судьбу. Лиля была старше Мони, следующая за Наумом и Цилей, но еще ни разу не проявила интереса к мужскому полу, пугливо отворачивалась даже от голенького Кости в пеленках. В свои двадцать пять лет она была уже вполне сложившейся старой девой, всегда готовой услужить всем родственникам: пока Маня работала, сидела с Костей, когда разрешали, нянчила Дину. Правда, Дину Наум и Мура позволяли понянчить редко, всегда давали множество строгих указаний. Наум все проверял, сколько съела, во что переодели, и всегда оставался недоволен. Циля пока тоже была одна. Был, правда, один неудачный роман... В семье о нем не говорили, как-то уже высветилось, что сестры суждены друг другу.

– У мамы была брошка очень красивая, цветок с розовым камнем... – Моня улыбнулся. – Она ее иногда прикалывала, по праздникам...

...Мария Иосифовна умерла и незадолго до смерти вложила в руку

Науму брошку – замысловато изогнутый золотой цветок с аметистом посередине. Больше у нее ничего и не было. «Тебе всегда доставалось от родителей все самое лучшее», – холодно сказал Моня старшему брату. Моне было так горько, как будто он прыгнул с самого высокого дерева у них в городке, а мама не заметила... И отец тоже не похвалил... Моня припоминал: Немку не наказали, Немке дали, а ему нет... Мать любила Немку больше, теперь это совершенно ясно! Простить брату такую несправедливость было невозможно!.. Только если он сам поймет... И что?..

– Немка опять меня обманул, – сказал он Мане и отвернулся.

Он не знал, почему «опять» и почему «обманул», но это было правдой. Так продолжалось всю жизнь, это точно!

– Брошка... – зашипела Маня, как будто плюнули на утюг. – Наследство!..

Брошку Наум завернул в газету и положил в картонную обувную коробку.

Теперь, встречаясь с кастрюльками в руках в коридоре, братья, не глядя друг на друга, старались посторониться. Лица были разными: в Науме читалась важная уверенность в правильности своего поведения, у Мони – искательность и упрямство одновременно.

Мура носилась по коридору, ласково-небрежно обегая родственников, как велосипед или таз. Ее не тронула эта ссора, поглощенная своей жизнью, она ее почти не заметила.

– Да отдай ты Моне эту брошку, зачем она нам? И Манечка ее станет носить, а я все равно не буду... – как будто думая о своем, легко говорила она Науму и тут же забыла, отвлеклась на Дину: – Диночка! Солнышко, мусенька родная!

Двери между комнатами братьев забили досками и заставили мебелью, вернее, Наум заставил. У него появились бархатный диван «жакоб», красивый резной буфет, у бывшей двери качалась в кресле-качалке маленькая Дина.

Маня объявила родственникам войну. Встречаясь с ними в коридоре или на кухне, сжимала зубы, сводила глаза в одну точку, ни за что не отворачиваясь, яростно полыхала взглядом. Бедная Маня мучилась зря, от мнимого плохого отношения к себе страдала, но, находясь с родственниками в страстной ссоре, даже не представляла, насколько она безразлична Муре... да и Науму...

Брошка была нужна Мане меньше всего на свете, ненависть ее к родственникам проистекала из безоговорочной, какой-то первобытной преданности мужу, его обиженных глаз было достаточно, чтобы страстно

возненавидеть кого угодно. Но было еще кое-что. Моню обошли с наследством, это так, но, сказать по правде, с жилплощадью тоже вышло несправедливо! Наум занимал теперь сорокаметровую комнату, а они остались в двенадцати метрах. Теперь при словах «жилплощадь» и «метры» Маня заходилась от злобы и подбиралась, как голодный волк, только что зубами не щелкала. Важно было, что скажут люди. Поэтому она жаловалась соседям, шептала многозначительно «эти евреи», в жаркой злобе запамятовав, что ее муж тоже еврей. Побрызгивая слюной и убегая глазами наверх и вбок, она повторяла на кухне, что их-то с Монею всего лишили, они не умеют за себя постоять, а вот Немка с Муркой шикают! Соседи, охотно объединившись с ней, вершили свой русский суд между двумя еврейскими братьями, поддерживали ее, кивали согласно: «Еврей-то эти всегда нас, русских, обманут». Когда у Мани с Наумом доходило дело до открытых перепалок, она убежденно доказывала ему: «Все говорят, что вы с Муркой...» – и так далее.

– Манечка, может быть, уже помириться? – робко спрашивал Моня.

– Ты что, с ума сошел? Уступить?! Не-ет уж! Не на такую напали!

Однажды скандал разыгрался грандиозный, соседи радовались, будто в цирк всей квартирой сходили. Мура надела свою каракулевую шубу, сомневалась, может, не стоит, ей и в пальто очень хорошо, а шубы не у всех людей есть...

– Надо шубу проветрить, – велел Наум. – Авось беднейшее крестьянство не заметит.

Но беднейшее крестьянство заметило. Маня на кухне, ловко набирая воду из чашки в рот и прыская, гладила белье. Услышав голоса родственников, она, все еще с чашкой в руке, метнулась в коридор, увидела Муру в каракулевой шубе до полу, подбоченилась и зашипела злобно про то, что люди-то все в шубах не ходят... Наум кричал, требовал оставить их в покое, Мурочка слабо охала, а Маня набрала полный рот воды и со злобой прыснула ей прямо в лицо. А потом еще раз!

Ну и понеслось. Маня ссорилась с Мурой как умела: на коврике перед ее комнатой оставляла свои грязные с улицы боты, вбила в закутке прямо у их двери гвоздь и вешала на него одежду, еще любила занять Мурину конфорку на кухне. Когда Мура бывала на кухне, Маня всегда выходила тоже и стояла посередине, громко рассуждая в воздух. В конце концов Мура стала готовить в комнате. А однажды Маня украдкой брызнула томатным соусом на белую Динину рубашечку, сохнущую на кухне над Муриным столом. Мурочка ничего не говорила Науму, а Мане так ужасно хотелось, чтобы сказала, чтобы заплясал хороший, большой, с ором и

оскорблениями скандал – скандал, в котором она как следует подтвердила бы свою любовь и преданность мужу.

Первый же праздник без Марии Иосифовны, Первое мая, братья праздновали раздельно. У Мони с Маней гости: Манина сестра из Тихвина, девочки – нянечки и медсестры с мужьями, и Монин сослуживец, приглашенный для Цили или Лили, как получится. На Манином столе огромная тарелка с холодцом, плотным и упругим, пирог с капустой, соленые грузди и огурчики. Маня постаралась, навела уют, примус сиял начищенный, блестящий, как зеркало, на окошке цвела герань, еще появились бумажные открытки с цветами и портретами артистов и артисток, а забитая между братьями дверь была занавешена старыми календарями.

У Наума тоже гости. За торжественно накрытым Наумом столом, кроме него самого, Муры и Диночки, сидела Мурина школьная подруга. Наум поглядывал на нее со скрытым неудовольствием и сухо улыбался. На столе ничего приготовленного Мурочкой, только деликатесы из коммерческого магазина – прозрачная ветчина, балык и осетрина.

Лиля с Цилей весь вечер через коридор ходили от младшего брата к старшему, от пирога к балыку. Раньше было удобнее, но теперь дверь была забита.

Через два месяца старший и младший – Наум и Моня – ушли на фронт, не помирившись и не попрощавшись. Только двадцатидвухлетний Моня, в последний раз проходя мимо комнаты брата, вдруг остановился и тихо, беспомощно в закрытую дверь простонал-подумал: «Мама...»

Моня оживился, рассказывая, даже дрожащий голос окреп:

– Лиза, Оленька, вот послушайте, что Маня рассказывала... У Муры была знаменитая на весь дом сумочка, небольшой такой черный ридикюль, с которым она не расставалась ни днем, ни ночью. С этой сумочкой она спускалась в бомбоубежище, Дину держала на руках, а сумочку прижимала к себе, между собой и ребенком. Сумочка была плотно набита шоколадом. Мура думала, что эта сумочка их спасет, спасет от голода, от смерти, если придется просидеть в убежище долго... У Мани такого запаса не было, откуда же? А через месяц после начала блокады Мура заболела. Болезнь называлась пузырьчатка, не знаете? Это такие язвы внутри человека, во рту, в гортани, когда он не может проглотить ничего, просто ни глотка не может сделать, понимаете? Я думаю, что она заболела оттого, что слишком опасалась проглотить лишний кусочек, боялась, вдруг Дине не хватит. Не выдержала одна с ребенком, под бомбами... Я лично считаю, ее нервы

погубили... Она была такая нежная, Мура... – Моня задумчиво кивал, сам себя подтверждая. – А еще через три месяца, в ноябре, Мура умерла в больнице, и Маня забрала трехлетнюю Дину к себе и годовалому Косте. Без карточек, потому что карточки куда-то пропали вместе с Муриной сумочкой... И прожила с Диной и Костей всю блокаду и эвакуацию.

Лиза погладила Моню по голове, как маленького, а Ольга спросила:

– А почему именно она взяла Дину? У них же были еще родственники, а Маня же ненавидела Муру и Наума?

– Мура была такая неприспособленная, ничего не умела делать! – с неостывшим за полвека осуждением скривился Моня. – И вечно все говорили: «Мура – то, Мура – се»! Хотя она такая была... особенная...

– Но ваша Маня просто героиня! А почему все-таки Маня взяла эту девочку, Дину?

– А как же ты хочешь? – удивился Моня, сделав значительное лицо. – Лилька с Цилькой ведь не взяли... Пришли, поохали...

– Взять такого маленького ребенка! Они сами голодали, наверное, да еще без карточек... – неуверенно припоминает Ольга все пройденное в школе про блокаду. – И вообще с маленькими детьми ужасно много суеты, у моей сестры дочке четыре года, так она весь день мечтает, когда та заснет!

– Собираясь в эвакуацию, Маня навязала одиннадцать тюков, на каждом из которых аккуратным детским почерком написала «Дина». «Мало ли что случится, – сказала она, – в случае чего пусть люди знают, что это твое!» В тюках были Мурины шубы, одеяла, шерстяные отрезы. На теплоход они опоздали, потому что по дороге Дина два раза просилась писать, а одежды на ней было намотано много. Маня разматывала ее и орала: «Потерпишь!» – а та орала в ответ: «Ой, Маня, ой, не потерплю, ой, описаюсь!» Опоздали. С Костей, Диной и ее одиннадцатью тюками Маня погрузилась в лодку, которая шла вслед за уплывшим теплоходом. Если бы они не опоздали, если бы Дина не захотела писать, именно два раза нужно было писать... В общем, пароход разбомбили прямо у них на глазах...

– Представь, Лиза, тебя бы не было... – прошептала Ольга, а Лиза представила и заплакала.

– А потом, в эвакуации... Это уже что, ерунда. По сравнению с блокадой-то все ерунда. Меняла из Дининых вещей на рынке, старалась, конечно, сохранить, но и кормиться надо было! А Лилька-то с Цилькой потом Науму пели, я знаю что! Что Маня, дескать, на Мурины вещи блокаду прожила и эвакуацию тоже! – Моня печально покачал головой и укоризненно погрозил девочкам пальцем, как будто это они наговаривали

Науму на Маню.

– Да что ты, никогда тетки такого не думали даже, – торопливо ответила Лиза.

– В эвакуации Дина чуть не погибла, почти совсем уже, можно сказать, погибла. В комнате были только дети – пятилетняя Дина и трехлетний Костя. Дина прислонилась к печке погреться, стояла-стояла и вдруг... раз и вспыхнула! Выбежала в коридор. Маня открыла входную дверь... Сколько случайностей на свете, могла ведь прийти на пять минут, на три минуты позже... Видит, по коридору несется маленький факел. Маня решительная была, никаких тебе обмороков, ничего такого. Вбежала в комнату, схватила одеяло, пригасила факел, а там внутри – Дина... Бросилась искать Костю, а тот под столом сидит и ни за что вылезать не хочет... А вот, смотри. – Моня вытащил из кармашка сумки марлечку, а из марлечки черный камешек, похожий на обмылок.

– Дед, ты что? – Лиза испуганно взглянула на него и следом на Ольгу.

– Думала, дед с ума сошел? Это... знаешь что? Неужели Маня никогда не показывала? Это кусочек сахара, по дороге в эвакуацию кто-то Дину угостил, а Дина большая уже девочка была, четыре года или пять, она и принесла Мане, угостила... Маня после ссоры с Диной хотела выбросить, я не дал, ведь столько лет хранила... Да... – гордо продолжал Моня. – Маня-то для них на все шла... У них случай был в эвакуации, в деревне. Маня курицу украла. Да, вот так взяла и украла. За это знаете что было? Расстрел! – пугал Моня. – Маня тогда заперла дверь, закрыла ставни, и Дина с Костей, сидя взаперти, в темноте съели курицу... Девчонки, а вы знаете, что в деревне-то все удивлялись, что у Мани, русской, двое еврейских детей. Они никогда не видели евреев, думали, это прямо чудовища какие-то, все ходили на них смотреть и удивлялись, где же у Кости и Дины рога и копыта! – улыбнулся Моня.

...Первым с войны вернулся Наум. Моня ушел на два дня раньше, а пришел на два года позже, служил в оккупационных войсках. Ушел на войну из Толстовского дома на Троицкой Моисей Давидович Гольдман, а вернулся Михаил Данилович Бедный. В 1943 году Моня потерял документы, а в новых записался русским, заодно и Манину фамилию взял, стал Бедным. Переписываясь с еврея на русского, он думал о возможном плене, о смерти, но совсем чуть-чуть, а по-настоящему он думал о жизни, о жизни с Манечкой и Костей, в которой ему лучше будет Бедным. Между прочим, Монин отец сам показал ему дорогу отречения от предков, примерив на него отчество Данилович.

Прослужив в оккупационных войсках два года, Моня привез домой две медали «За отвагу», красные глиняные бусики и еще большие золоченые пуговицы от пальто.

– Ну, Монька, ты и дурак! – сказал сосед. – Люди-то столько тянут... и сервизы, и отрезы... Хоть бы Мане кофту какую привез!

– Мне не надо, – вмешалась Маня, зверем поглядывая на соседа, – мне как раз пуговицы очень нужны. У нас таких не делали... Какие красивые!

– Вот они, пуговицы, смотрите, девчонки!

Ольга дотронулась до пуговиц пальцем так осторожно, как будто они могли рассыпаться на глазах...

...Примирение братьев произошло буднично, само собой. Наум, покачивая головой, внимательно рассмотрел медали.

– Две медали «За отвагу» – это... – Он долго уважительно цокал языком. – Монька у нас глупый, но смелый! – Наум наконец повторил слова, что когда-то давно произнес отец.

– Да... – очнулся Моня. – Манечки-то моей больше нет... А ведь ты, Лиза, похожа на Маню!

Ольга припомнила крупную значительную Маню с ее широкой простодушной улыбкой и готовыми к обиде глазами и с сомнением посмотрела на Лизу. «Маня была... как монумент Родина-мать, только лицо не такое суровое, а Лиза похожа на приукрашенного мышонка-отличника», – любовно подумала она.

– Похожа, похожа, – утверждал дед. – Если чего хочешь, так будешь изо всех сил трепыхаться, пока не получишь. Вылитая Маня!

– Лиза, у меня просто нет слов...

Девочки уложили Моню на его оттоманку и на цыпочках вышли из комнаты. Ольга вытирала слезы.

– Слушай, а где эти ваши родственники, Дина, Наум?.. Их на похоронах не было. Они все умерли?

– Поссорились, – неохотно ответила Лиза. – Из-за какой-то ерунды... комнаты и еще... столового серебра. Поссорились навсегда.

– Да-а... прямо «Сага о Форсайтах». Там тоже две семьи ссорятся из-за собственности, – протянула Ольга. – А у нас в семье все так просто, никаких тайн и страстей... Слушай, а ты действительно на Маню похожа! Ты и похороны организовала сама, и поминки. Собралась, молодец!

Лиза действительно на время стала главной в семье, растерявшейся от внезапной смерти своего рулевого.

– Для меня они всегда были просто бабушка и дедушка, Маня с Мoneй, а оказывается, у них была... жизнь. Какой же он все-таки бедный, Моня! Я буду с ним каждый вечер сидеть, никуда ходить не буду, вот увидишь! – обещала Лиза. – Ой, я же завтра дежурю по номеру!.. Тогда послезавтра обязательно буду дома!

Они прожили сейчас вместе целую Манину жизнь, и Лиза почувствовала, что ей необходимо вернуться и засмеяться, иначе горечь затопит ее с головой.

– Знаешь, что у нас один парень на экзамене сказал? Его спросили, какой он знает образец древнерусской литературы, а он на голубом глазу отвечает: «Переписка Ивана Грозного с Крупской» вместо «Переписка Ивана Грозного с Курбским», представляешь? По всему курсу ходит как анекдот!

– Да, конечно, с Крупской Иван Грозный никак не мог переписываться! – вдумчиво ответила Ольга. – А кто он, этот Курбский?

– О-о, это очень интересно! – Лиза принялась рассказывать.

– Везет тебе, столько всего знаешь, что нам, бедным технарям, и не снилось! А я зато знаю принцип неопределенности Гейзенберга. – Ольге надоело слушать. – Если ты знаешь, где находится предмет, то не уверен, что это именно этот предмет, а если уверен, что это именно он, тогда не имеешь понятия, где он находится!

– Это что, всего касается? – подозрительно спросила Лиза. – Ужас какой!

Сначала Лиза старалась приезжать домой пораньше, потом жизнь закрутилась по-прежнему, дома она уже не сидела, но каждый вечер, пока Моня не укладывался спать, звонила.

– Дед, это ты? – виноватым голосом спрашивала она.

– Еще да, – отвечал Моня жалобно, но с достоинством.

Он был доволен внучкой. Звонит, интересуется... Конечно, у нее своя жизнь, а так она хорошая девочка и дедушку любит.

Трагический случай произошел не напрямую по вине Мадам. Специалист по советской живописи, член Союза писателей, редактор отдела культуры, Нинель Алексеевна писала обо всем понемногу. Ее рецензия на последний фильм одного не самого великого, но все же известного режиссера была не очень злобной, а режиссер, немолодой уже человек, прочитал рецензию маститой Мадам и умер... Возможно, это было всего лишь трагическим совпадением, но для нагнетания обстановки

считалось, что умер он с газетой в руке: увидел язвительные, несправедливые слова Мадам... и все, умер. «Доигралась!» – таково было общее мнение.

Дверь ее кабинета, как всегда, была приоткрыта, но Мадам никого не зазывала, ждала, пока кто-нибудь зайдет сам. Все, кому положено было, заходили, но Нинель кожей ощущала шушуканье за своей спиной. Впервые за многие годы она сама под села в буфете к девочкам из своего отдела. Девочки отводили глаза. С праведным негодованием набросились на всесильную Мадам те, кого она когда-либо обижала, а остальные, с жестоким удовольствием поддавшись желанию куснуть сильного, обсуждали и осуждали. Мадам, ощущая себя детсадовкой, с которой перестали играть в песочнице, смотрела просительно, нервически перебирала руками. Ловить обидно ускользящие взгляды вместо привычных восхищенных было невыносимо. Формально Мадам не потеряла влияния, но в своих собственных глазах она упала бесповоротно и трагически. Ей требовалась поддержка, необходимы были Лизины влюбленные глаза, но у Лизы как-то вдруг образовалось много дел, и ей было не до Мадам.

Она не справилась, легла в больницу с чем-то придуманным, несерьезным, как говорили, симулировала от стыда. Оказалось, вовремя – требовалась серьезная операция. В больнице ее навещали коллеги из редакции, а после операции, дома, когда Нинель Алексеевна перестала быть «Мадам», навещать забыли, и Лиза забыла вместе со всеми. Сколько же можно, в конце концов, ходить при ней в девочках, она уже взрослая!

Замглавного, Сухоруков, оказался ровесником Мадам – всего сорок пять, совсем еще не старый человек. Лиза иногда бывала у него в кабинете, нечасто, и тогда все происходило в точности как в первый раз: она тихо стояла, а он несколько минут манипулировал за ее спиной рукой с зажатым в ней носовым платком. Лиза недоумевала, использует ли он носовой платок только для этого? Или еще и сморкается?

1983 год

СЕСТРЫ

2 октября

Одной рукой Лиза торопливо листала гранки, через строку проглядывая свой материал, в другой держала чашку, стараясь не пролить кофе, и вяло отбивалась от Ольги, зажав телефонную трубку между плечом и ухом.

– Пойдем со мной в гости, Лиза, – уговаривала Ольга. – Отвлекись хоть на минуточку от своей карьеры и от охоты на своего выгодного мужа. Расслабься, а то у тебя уже появился какой-то волчий взгляд!

– Нет, зачем это мне, – упрямо качала головой Лиза. – Какая-то никому не нужная вечеринка у не интересного мне человека... В конце концов, я, может быть, скоро замуж выйду!

– Это ты считаешь, что он тебе подходит, а сам клиент скоро будет готов для выполнения твоего плана?

– Я решила, и он тоже... скоро решит. И не называй его клиентом!

– Ты, Бедная, всю жизнь только к чему-то стремишься, что-то добываешь... А ты никогда не задумывалась – зачем? Когда ты последний раз ходила в гости просто так, без всякой цели? Потанцевать, познакомиться с кем-то... Ах да, извини, тебе не требуются мальчики, которые еще ничего в жизни не добились... – На другом конце провода Ольга смешно выпятила губы и, помолчав, просительно добавила: – Господи, о чем мы спорим, всего лишь одна маленькая вечериночка. Это незнакомая компания, мы с этим факультетом почти не встречаемся... меня туда случайно позвали. Я точно знаю, что тебе надо отдохнуть. И тебе будет весело.

– Ольга, ты всегда хватаешь и выкручиваешь руки, чтобы потом сделать человеку хорошо.

– Лизка, ты мне нужна!!! Я хочу тебе кое-кого показать... Ты моя самая близкая подруга и не хочешь посмотреть на человека, который мне нравится...

За институтские годы у Ольги было такое множество романов, что Лиза нисколько не считала нужным знакомиться с очередным предметом Ольгиного внимания, но устоять против «самой близкой» Лиза не могла, ей всегда льстило быть «самой», и она тут же бросалась подтверждать свою исключительность.

– Ладно, пойдём в твои гости, только отстань! Все, Ольга, я бегу вниз, сейчас Игорь за мной заедет.

Лиза неслась по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, вырвалась наружу и приостановилась, замерла. Подышала глубоко, поймала мгновение и наслаждалась: это её ожидает этот взрослый симпатичный мужчина в темно-синей «шестерке»! Лиза разглядывала свое достояние – полноватый, среднего роста, светлые волнистые волосы зачесаны на лоб, лицо мягкое, на щеках трогательные ямочки. Темные брюки, свитер с желто-голубыми ромбами прикрывает намечающийся животик. Никто не даст ему его почти что сорока лет, а если и даст, то Лизе это не важно. Лизе все в нём было приятно, и уютная полнота, мягкая складка на животе – животик особенно ей нравился, – а главное, что взрослый, совсем взрослый, по возрасту почти как отец. Убрав с лица выражение судорожной спешки, Лиза украдкой вытащила из сумки зеркальце, махнула пуховкой по лицу и покусала губы, чтобы они казались ярче. Игоря привлекала её юность, всего лишь раз он неодобрительно покосился на её раскрашенное лицо, и теперь Лиза старалась, подчеркивала свою безыскусственность.

– Где хранятся такие женихи, красивые, неженатые, с положением? – приставали к ней Толстая и Тонкая. Смеялись, но интересовались всерьёз.

– Где может найти бедная девушка такого мужчину? – вдумчиво повторяла за ними Лиза и сама же себе отвечала: – Конечно, на задании!

...В начале осени Лизу отправили на задание в строительное управление. В редакцию пришло письмо, затем ещё одно. Строят спортивный комплекс, это, конечно, неплохо, но вот незадача: во-первых, снесли детскую площадку, во-вторых, на месте строительства располагался сквер, который по плану не должны были сносить, а половину деревьев уже взяли да и уничтожили, оставшуюся часть завалили строительным мусором, и где теперь гулять детям, пенсионерам и собакам – разберитесь, дорогая редакция.

Разбираться отправили Лизу. Взять интервью у начальника строительного управления ей не удалось, он её не принял, направил к заместителю, Игорю Петровичу Овчинникову. Игорь Петрович откровенно удивился невзростости корреспондента, умилился старательной важности, с которой девчонка играла в опытную журналистку. А про себя решил, что пригласит эту угловатую, похожую на подростка щенка девочку пообедать и за обедом обсудит с ней все вопросы. Смешно приглашать такую малышню в ресторан, улыбнулся он про себя, ей хотелось купить мороженое или петушка на палочке.

– Ситуация не конфликтная, вы можете написать о строительстве с учетом наших интересов, а нам, конечно, не хотелось бы неправильного освещения в прессе.

Игорь Петрович неопределенно покрутил рукой, чуть снисходительно поглядывая на Лизу. Корреспондентка уже несколько минут отчаянно жевала кусок мяса и с подозрением изучала оставшийся в тарелке шашлык.

– Что, мясо ужасное? Да выплюньте вы его, не стесняйтесь! – вдруг по-свойски посоветовал он и улыбнулся мгновенной растерянности покрасневшей Лизы.

Лиза бросила вилку, нагнулась и выплюнула мясо под столом в салфетку, а вынырнув из-под стола, рассмеялась так по-детски, что Игорь Петрович совершенно неожиданно для себя пригласил ее вечером в кино. Или в театр. Или еще куда-нибудь... Вот вам и роман.

Игорь Петрович не только не делал Лизе предложения, но и не собирался. Какая женитьба, ему тридцать девять, а девочке Лизе чуть за двадцать... Жена умерла семь лет назад, и до того, как в его жизни появилась Лиза, он честно вдовел, даже быстрые летучие связи у него не случались. И вот Лиза. Смеется, зубки торчат вперед, брови морщит, жестикулирует быстро... Какая-то она очень настоящая, в отличие от хорошеньких барышень на одно лицо. Кажется, он ее любит... Ему тридцать девять, а Лизе двадцать четыре... скоро будет... Нет, только двадцать три, и то недавно исполнилось. А что, бывает и больше разница в возрасте. Детей у него нет.

Если бы у Игоря были дети, ничего бы у них не вышло, как считала Лиза. Она не смогла бы делиться с ними его любовью, хватит с нее борьбы за родных с Аней. Все детство она вела счет, кого любят больше, кого любят меньше, а Игорь любит только ее, Лизу, и она любит только Игоря. К жизни с женой она его не ревновала, семь лет назад она была ребенком, так что все это было давно и ее не касалось. Но предложения он все-таки не делал...

Сегодня не просто обычная встреча, они едут на дачу к его друзьям. Лиза понимала: смотрины. Дача красивая, светлая, изнутри отделана вагонкой, мебель сосновая, старинная люстра на цепях. «Взрослые люди, не такие красивые, как дача», – улыбнулась про себя Лиза. Улыбнулась и хозяевам, только улыбка вышла кривая и плечо неловко дернулось. Страшновато... Мужики, некоторые даже уже лысоватые, улыбались. Женщины, толстые и некрасивые, смотрели на Лизу неодобрительно. Лиза волновалась, краснея, протягивала потную ладошку: «Лиза. Лиза. Лиза».

Она умела быть полезной. И тут, преодолев первое смущение, кинулась помогать: чистила картошку, бегала с ведрами воды, не ждала, пока мужчины принесут, пол протерла, посуду помыла, лук порезала, расплакалась. Плакала горько, горше, чем от лука обычно плачут.

За столом Лиза села в уголок, под столом взяла Игоря за руку и только тогда успокоилась. Он взрослый, разумный; все делает правильно, смотрит, вписывается ли она. Лиза собралась и вписалась. Смеялась скромно, отвечала, только если к ней обращались, на женщин в компании глядела преданно, как она умела.

Баня в конце участка топилась с утра, и после ужина женщины пошли париться первыми.

– Ах, черт! Шлепанцы в доме забыла, как лень идти, – нахмурилась хозяйка дачи, полная и одышливая, с покрытым сетью красных сосудов лицом.

– Я принесу, – вызвалась Лиза. Разыскала забытые шлепанцы, еще раз сбегала за чьим-то термосом с заваренной травой, все спокойно, ненавязчиво, вроде бы и услужить хочет, и в то же время вполне достойно.

– Девочки, мы все толстеем каждая своим способом, у меня, например, весь жир идет в живот, – грустно сказала хозяйка, рассматривая в парилке подруг.

Лиза завернулась в простыню и скромно уселась в сторонке от голых «девочек», обсуждавших диеты, вроде она есть и нет ее. Плоский живот, маленькая грудь, твердая попка, фигура у нее была прекрасная, это Лиза твердо знала и простыню снимать – показывать себя этим озабоченным диетами толстушкам – не собиралась. Самовар включила, заварила чай.

Взрослые чужие женщины мало-помалу приняли ее, покровительственно простили ей молодость. Будь она яркой, красивой, шумной, не простили бы ни за что, а продемонстрировать превосходство зрелости невзрачной девочке, да к тому же такой скромной, было неинтересно и как-то даже неловко.

Там, на даче, не было у них с Игорем ничего, отдельной комнаты им не хватило. Легли рядом, не раздеваясь, тихо, уютно пошептались и заснули, словно много лет уже были вместе. А утром Игорь спросил: «Ну что, жениться будем?» – и улыбнулся, будто пошутил. «Ура, ура!» Лиза испытывала нежность к нему, а еще чувство, схожее с тем, которое посещало ее от удачно сделанного материала, хорошо написанной статьи – удовлетворение, что удалось получить правильный результат.

Ольга пронеслась по всем трем комнатам задымленной квартиры,

таща за собой Лизу и быстро оглядываясь по сторонам. В дверях небольшой кухни она остановилась и прошипела Лизе на ухо:

– Это он сидит, Олег, смотри, какой красивый! Эй, Лиза, отомри! – Она ущипнула Лизу за руку.

– Да, симпатичный... – равнодушно пробормотала Лиза.

Рядом с Олегом, положив ему на плечо руку, стояла яркая черноволосая девушка с хрупкими плечиками, тоненькой талией и пышной грудью. Губы полные, верхняя губа чуть вздернута, из-за этого рот кажется полуоткрытым. Аня. Но Аня должна была занимать в пространстве больше места! Лиза смотрела на сестру, ошеломленно обегая взглядом предполагаемый ореол, искала и не находила прежнюю нездоровую полноту, и от этого ее лицо стало недоуменно-птичьим.

– Ты же была толстая... – прошептала она.

– Лиза, Лизочка, ты моя сестричка! – бормотала Аня, уткнувшись Лизе в шею.

«В точности такая же, как прежде, ничего не стесняется», – подумала Лиза, стараясь незаметно отодвинуться. Ей было неловко этой мелодраматической сцены. «Если уж она так счастлива меня видеть, могла бы и позвонить за эти годы... Сколько мы не виделись... лет десять...»

Доброжелательно поглядывая на Аню, Ольга дергала Лизу за рукав:

– Это твоя сестра? Лиза, ну Лиза, объясни!

– После того что произошло... ну то есть когда мы с тобой расстались, – Аня смущенно отвела глаза, – когда все поссорились... я резко начала худеть, ела много и все равно худела... а мама тогда посадила меня на диету. Это даже была не какая-то специальная диета, просто она вдруг перестала меня кормить. Помнишь, как она всегда кричала, чтобы я все доела? А тут вдруг раз, и все! Я плакала, а она мне не давала еды, тоже плакала и сама ничего не ела. Я похудела на четырнадцать килограммов, а она на восемь, а ведь она не была толстая, худощавая всегда была...

Намеком на толстое Анино прошлое остался лишь небольшой животик, скорее даже не животик, а приятная мягкая выпуклость фигуры, как у игрушечного пупса. «Очень сексуальный животик, – придирчиво рассматривая Аню, решила Лиза. – Она вообще очень сексуальна... пухлые губы, глаза томные... движения какие-то особенные, плавные и в то же время порывистые... Как возможно было сотворить это чудо с той жирной уродкой, какой была Аня! Не зря я в детстве считала, что Дина может все!»

«У девочки гормональный взрыв, с такими полными детьми случается, что они резко сбрасывают вес в пубертатный период, – сказали Дине врачи. – Не упустите момент, помогите организму диетой, она у вас очаровательной худышкой станет!»

Додик, с момента Аниного рождения испытывающий физическое удовольствие при взгляде на то, как еда исчезает в ротике дочери, сейчас мучительно переживал ее вынужденное голодание. Он запирался в ванной и плакал, чтобы не слышать жалобное «мама, дай мне поесть, хоть немножко» и не видеть Дину, которая каждый вечер, когда Аня уже шалела от голода, подбиралась, как генерал перед боем. Иногда они запирались одновременно – Додик в ванной, а Дина в туалете. Там, тупо глядя в одну точку, она повторяла про себя: «Я должна это выдержать, должна сделать это для нее, должна, должна...»

Ее вина представлялась ей неисчерпаемой. Дина отнюдь не была наивной дурочкой, к тому же уже почти двадцать лет она наблюдала, что происходило в семьях учеников. Не одна она родила ребенка не от мужа, но только она родила от двоюродного брата, и это могло послужить причиной Аниной полноты. Начитанная Дина знала из литературы, что браки между двоюродными были приняты в королевских семьях. Бог с ними, с королевскими семьями, но почему разумные евреи позволяли такие браки, она не понимала.

Вместо того чтобы постепенно отдалиться от Костиной семьи, она поддерживала с ними такую близкую родственную связь, что их общий ребенок рос на его глазах в точности как его законная дочь Лиза. И даже то, что Додик так любил Аню, чужую девочку, казалось ей несомненным доказательством своей страшной вины перед всеми.

Дина вполне могла бы называть себя фрейдисткой, с такой причудливой логикой сложилось все в ее голове. Причиной омерзительных сексуальных игр дочери с Лизой она считала то, что девочки имели одного отца и росли вместе. Дина была убеждена, что именно это привело их к извращенной тяге друг к другу, навсегда сделав «ненормальными». Поэтому и помириться с родственниками было невозможно, сама мысль о возобновлении прежних близких отношений казалась ей теперь кощунственной. По Мане она скучала, как щенок, отлученный от теплого материнского брюха, но эта тоска была ее жертвой, искуплением, наказанием, чем угодно.

Дина не просто посадила дочь на диету, она яростно боролась за ее будущее счастье. Ежедневно вглядываясь в деления на шкале весов, Дина пыталась понять, будет ли будущая Анина жизнь пусть не счастливой, но

хотя бы обычной. Если похудеет, значит, все у нее сложится нормально.

Кухня, откуда исчезли прежние запахи печеного теста, тушеной картошки с мясом и вообще всего, что наполняло их семейную жизнь уютом и смыслом, превратилась в подобие химической лаборатории. Дина поила Аню травами. Постоянно что-то специальным образом замачивалось, нагревалось на водяной бане, что-то строго по часам выпаривалось, после процеживалось.

Всегда внимательная к Додиковым гастрономическим вкусам, Дина теперь норвила сложить весь его недельный паек в одну кастрюлю. «Ну затолкай мне эту кастрюлю под кровать, я буду ночью из нее есть, как собака! Не забудь положить в суп второе, компот и шоколадку, чтобы не очень затрудняться моим питанием!» – возмутился Додик. Дождавшись, когда Дина заснет, он на цыпочках крался к Ане, расталкивал спящую и быстро засовывал ей в рот шоколадку, кусок колбасы или куриную ножку. Аня, не просыпаясь, ела из его рук и, как щенок, поискав ртом еду и убедившись, что больше ничего нет, мгновенно ныряла под одеяло. Подпольное кормление продолжалось до тех пор, пока Дина не обнаружила на наволочке следы шоколада. «Ты преступник и враг своей дочери!» – сказала она так тихо и страшно, что Додик прикрыл глаза и обнял себя обеими руками, чтобы спрятаться от жены и от неююта, в который превратилась их жизнь. Дина, конечно же, права, но... Физически страдая от Аниного голода, он старался теперь реже бывать дома, чтобы не слышать голодного подвывания дочки.

Аня с Диной голодали, Додик страдал, и через некоторое время Анина полнота ушла окончательно. Бесследно исчезли бугристые розовые стреи, опоясывающие пухлое тело, и под толстым слоем жира обнаружился прелестный, чуть даже угловатый подросток. «Дина совершила невозможное! Это был просто подвиг!» – гордо сообщал всем Додик, любуясь дочерью.

Подвиг – да, только что-то неуловимо надломилось между ними. Додик опасливо старался не встречаться взглядом с истовыми сухими глазами похудевшей Дины, как будто она и над ним может учинить такой эксперимент – запретит есть, или пить, или дышать!

Последние, взрослые годы институтской учебы сестры провели по-разному. Помчавшись по своей жизненной тропинке, Лиза оставила семью, как ненужный узелок на обочине, бежать налегке ей казалось удобнее. Аня переминалась вокруг семейной оси, как привязанный к кольшку козленок на лугу, где весь остальной мир если не враждебный, то уж точно чужой.

Не отодвинувшись ни на йоту от семьи по сравнению с тем временем, когда была ребенком, она даже, кажется, еще плотнее выросла в семейное существование. При всех внутренних сложностях они – Додик, Дина и Аня – сплелись в один плотный, пушистый и невозможно уютный клубок.

Почти пять лет с ними еще была Лиля. Завладев комнатой теток, послужившей в свое время поводом для решительной семейной ссоры, Дина загорелась выменять их «трешку» в Сосновке и Лилину комнату на четырехкомнатную квартиру. Некоторое время она занимала себя тем, что ездила по городу, примеривалась к большим квартирам, но, подумав, решила, что разумнее пока оставить комнату как резерв для будущей Аниной квартиры. А чем без конца ездить навещать старенькую Лилю, рассудила она, разумнее забрать ее к себе.

Проблемы с Лилей были минимальны, с возрастом она становилась все более бестелесной и безответной. Только вот комнату она занимала, пришлось отдать ей Динину спальню. Последние годы Дина с Лилей почти не разговаривала, но и не раздражалась, смирившись с ее затянувшимся присутствием, как смиряются с плохой погодой. Додик подсовывал Лиле круглые желтые конфетки-лимончики, которые она особенно любила, гладил сгорбленные узкие плечики. Аня, жалея, рассказывала о чем-нибудь, все равно о чем, Лиле нравилась ее медленная мягкая речь. Иногда Лиля тихо, как будто подул ветерок, плакала и, всхлипывая, говорила: «Моню бы повидать, хоть перед смертью». А иногда, совсем редко, вдруг вздумывала сердиться на Дину, чаще всего за то, что та не звала ее к общему столу, и тогда она легко всхлипывала: «Маня... Разве я при Мане бы так жила...» – но это случалась нечасто. Другая племянница, Танечка, никогда не была ей такой близкой, как Дина, ее девочка, кровиночка. Танечка, по всей видимости, здраво считала: кому комната досталась, тому и тетка. К тому же Танечка уехала в Израиль довольно быстро после семейной ссоры.

Танечке с Аликом разрешили выезд, а Наум с Раей, не веря своим глазам, удивленно прочитали: «В выезде на постоянное место жительства отказать».

– Какие я могу знать секреты? Как подретушировать снимок? Как из человека сделать на фотографии красавца? – мрачно спросил Наум, потрясая загадочно необъяснимым отказом на плотной белой бумаге. – Или, может быть, Рая знает ихние секреты?

– Зачем мы им нужны? – прорычала ни дня не проработавшая Рая. – Я понимаю, они бы не отпустили молодых, государство тратило деньги на их образование...

– Я сам тратил деньги на образование моих детей! – рявкнул Наум.

– Решение не поддается никакой логике, советская власть просто беспричинно вредничает, – нахмурился Алик.

– Мамочка, папочка! Вы приедете попозже, так не может быть, чтобы вас не выпустили! – плакала Танечка.

Танечка с Аликом уехали, обосновались в Израиле. Науму и Рае писали, посылали фотографии: сначала самих себя в тесной квартирке с метровым балкончиком в цветах, а вскоре, всего через несколько лет, они уже стояли у дверей собственного дома, сияли улыбками посреди цветов...

Дина писем от сестры не получала, приходя к отцу, брала в руки пачку ярких нездешних фотографий, небрежно перебирала и бросала на стол, немного даже отодвигая от себя. Рая тут же любовно подхватывала, прятала на коленях, гладила. «Мама совсем не здесь», – жаловалась Дина мужу.

Раин взор был направлен внутрь, там жила красивая кудрявая Танечка со своей постоянной светлой улыбкой, а здесь перед Раей была Дина с унылым, требующим любви лицом.

Получилось еще хуже, чем раньше, думала Дина, теперь она была не второй в Раином сердце, а вообще никакой... Они будто уже жили в разных странах. Все помыслы родителей были направлены к Танечке, удачливой и яркой.

– Мама, а у меня в школе... – заводила Дина. – Мама, а у Додика... А у Анечки... мама...

– А Танечка пишет... – перебивала Рая, поглаживая фотографии. Руки ее ласкали изображения дочери, ярко накрашенные губы кривились, а глаза смотрели мимо Дины.

– А меня хотят выдвинуть на звание заслуженного учителя, – старалась Дина расцветить свою черно-белую, по сравнению с Танечкиной, жизнь.

Разговоры такие ходили, но куда же ее могли выдвинуть с такими-то родственниками!

– Молодец, – вяло отвечала Рая. – А Танечка с Аликом будут брать кредит на свой собственный кабинет... – Она мечтательно жмурилась, видела перед собой зятя у зубоврачебного кресла и Танечку в белоснежном халате в приемной.

– Анечка... – бросала приманку Дина.

У Танечки не было детей, и мама с отцом обожали внучку.

– Танечка... – эхом отвечала ей Рая.

Так и шло. Дина с семьей к отцу и маме приходила, а Наум с Раей после Танечкиного отъезда почти Лилю не навещали.

Счастливая Лиля, она и умерла, как доживала, легко и

необременительно.

После Лилиной смерти Дина с Додиком не вернулись в свою спальню, и бывшая Лилина комната превратилась в плюшевый зоопарк: туда переехали Динины мягкие игрушки – подарки благодарных ей за науку родителей и учеников. За долгие годы игрушек набралось великое множество, и теперь повсюду – на Лилиной кровати, на шкафу и даже на полу – расселись добродушные медведи, зайцы и лисицы тусклых отечественных цветов вперемешку с ядовито-розовыми, мерзко-сиреневыми и безумно-зелеными экзотическими животными, преподнесенными Дине в последние годы.

– Половой жизнью живете регулярно? – не поднимая головы от карточки, задала Дине стандартный вопрос гинеколог, к которой Дина ходила много лет.

Дина задумалась. Так сразу и не скажешь... Когда же это началось, вернее, почти прекратилось? Аня заканчивает институт, этим летом они ездили все вместе в Болгарию, жили вдвоем в одном номере, и Додика, кажется, это вполне устраивало... В сентябре они затеяли небольшой ремонт на даче, потом она плохо себя чувствовала, затем в ноябре выбирали новую мебель, потом, кажется, Додик жаловался на желудок...

– Регулярно, – так же равнодушно ответила Дина.

Скучно-обязательные супружеские отношения между Диной и Додиком в последнее десятилетие их брака незаметно клонились к концу, ушла и былая дружелюбность, но они не отдалились друг от друга, а наоборот, слепились в неразрывный монолит. Додик с Диной были слаженной командой. Додик упоенно снабжал семью всем, чем было возможно. Дина красиво и правильно добытым пользовалась – расставляла, протирала и ухаживала, – и весь процесс от момента выбора новой вещи до любования ею дома доставлял им истинную радость.

Вечерами они почти не беседовали, молча смотрели телевизор, прерываясь лишь на короткие трепетные фразы типа «посмотри, какая мебель» или «а не завести ли нам цветы на кухне». В этих фразах проскальзывала нежность и даже некоторая сексуальность совместного пользования всем их общесемейным добром. Сами же телевизионные передачи, погоду, людей, отношения, политику и ситуацию в городе Додик подолгу, с неиссякаемым интересом обсуждал вне дома, а Дина – в

учительском коллективе в школе, где считалась одной из самых развитых и умных женщин. Друг с другом же они подробно и любовно обговаривали жизнь вещей и отношения вещей между собой. Причина была простой: их вещи всегда занимали особое, интимное место между ними, а вещей стало теперь настолько много, что они заняли все отведенное семейным разговорам место. Раньше, например, две минуты говорили о погоде, пять минут о новом фильме и пять минут о покупке новой куртки для Ани, теперь же все двенадцать минут отводилось обсуждению модели видеомэгагнитофона и подходящей стойки для аппаратуры, ну а потом уже шли спать. Во всем этом не было никакой угрозы их общей жизни, семью крепко-накрепко спаивали вещи, и между супругами надежно осуществлялась нежнейшая внутренняя связь «наше – любимое – наше».

– Посмотри, какая Аня у нас хорошенькая! – в восхищении поглядывал на дочь Додик, изображая руками в воздухе волнистые линии Аниной фигуры. Худощавый, с небольшой, уже полностью лысой головой, Додик почти так же резво пританцовывал, как в молодости, и по-прежнему «разговаривал» руками.

– Это платье стоило двести рублей, – монотонно отвечала Дина, и оба были довольны и преисполнены нежности друг к другу.

Отношения Ани с отцом были тягучими и сливочными, как ириска, яркими и сладкими, как непрерывный Новый год, а вот с Диной все обстояло не так идиллически. Даже очаровательная и стройная Аня все же не окончательно отвечала представлениям Дины о том, какая у нее должна быть дочь.

Выбор между педагогическим, который окончила Дина, и технологическим, где когда-то вместе учились Додик и Костя, был сделан в пользу Технологжки почти без сомнений. Аня не проявляла никаких ярких способностей, а Додик с его связями, решили они, поможет организовать ей жизнь более привлекательную, чем тусклая карьера школьной учительницы. Так постановили на семейном совете.

В институте Аня чувствовала себя спокойнее, гораздо более защищенной, чем в школе. Школа пугала ее, она умудрилась за десять лет так и не привыкнуть к скопищу сверстников, гаму на переменах и до десятого класса, опасаясь сбиться, стеснялась отвечать у доски. На лекции она по крайней мере твердо знала, что за кафедрой всегда находится лектор, а она не может очутиться там ни при каких обстоятельствах, к доске ее не вызовут. В школе она страшно боялась контрольных, а в институте экзамены всего два раза в год. Вот только рано вставать ей было

так же невозможно тяжело, как в детстве, и каждое утро начиналось с Дининого раздраженного крика: «Опять сидишь с колготками на коленях! За что мне такая дочь? Вот у Лены с работы...»

«Лена-с-работы» произносилось быстро и в одно слово. У Лены-с-работы была удачная дочь, которая с детства никогда не просыпала, отлично училась, ничего не стеснялась, легко общалась с людьми, была веселой и находчивой, как все капитаны КВН. Если бы Аня умела ненавидеть, она бы, конечно, возненавидела этот настырный идеал, но в том месте души, где у других людей случалась ненависть, Аню лишь изредка царапал мохнатый, как чуть колючая шерстяная кофта, комок недовольства собой. По сравнению с дочкой Лены-с-работы она и правда не очень удалась, но что же делать...

Дочь Лены-с-работы с утра до вечера учит языки и играет на пианино, а у неудачной Ани на редкость бессмысленное увлечение, даже как-то неловко перед людьми... Взрослая уже девушка лепит маленькие фигурки из пластилина, выставляет их на дощечку рядом с кроватью, передвигает, играет...

– Ты специально занимаешься такой бессмыслицей, чтобы меня расстроить, – тихим напряженным голосом говорила Дина. Она прекрасно знала, что слово «специально» не применимо к невинной, кроткой, как овца, Ане, ей даже в голову не придет нарочно ее сердить. – Это дебилская игра, может быть, ты дебилка?! – Дина быстро начинала злиться.

– Ты что, мамочка! Давай я их уберу подальше, чтобы они тебя не раздражали, – предлагала Аня, а Дина в ответ только махала рукой... Ну что это изменит!

– Ты должна... – скучным учительским голосом заводила Дина. – Ты обязана...

Аня дремала с широко раскрытыми глазами, подняв к ней лицо.

– Я все делаю для твоего блага, каждое мое замечание ты должна принимать как информацию о себе, чтобы сделать вывод и исправиться...

– Да, мамочка, – кивала Аня.

Она не задумывалась над тем, как сильно любила и мучила ее Дина. А вот Додик задумывался. Почему Дина с ее дипломом и большим педагогическим стажем не догадывалась, что она должна просто любить, любить безусловно, а вот он, Додик, отец – воспитывать, учить, и тогда Аня вырастет счастливой. И если уж случилось в ее семье так, что отец не воспитывает, а просто любит Аню, так и любить бы им вместе! Нет же, Дине всегда хотелось, чтобы дочь была такой, такой, такой и еще вот тут бантик.

Неприятность произошла на первом же экзамене в зимнюю сессию. Пожилая математичка сначала залюбовалась Аней, а потом как-то нечаянно, не от зависти к ее юности, а скорее от волнения впала в негативизм. Аня что-то вполне прилично мямлила, а математичка неожиданно для себя поставила ей двойку за румяную красоту и пухлые дрожащие губы.

Двойка... Первая оценка в первую же сессию – двойка... Домой Аня не пошла. Расположилась на скамейке в соседнем дворе, сначала поплакала над своей неудавшейся жизнью, потом очень сильно продрогла, а затем впала в какой-то ступор – сидела в бессилии и полном безразличии ко всему, рассматривая, как снежинки на варежке превращаются в крошечные ледышки... Вечером ее обнаружил полумертвый от ужаса, с трясущимися руками Додик. К тому времени он уже успел несколько раз съездить в институт, обегал пустые аудитории и теперь в запредельной истерике метался по окрестным улицам.

– Господи... Господи, я больше никогда, ни одного плохого слова... только бы жива... – бормотала Дина, замерев в прихожей и прислушиваясь к звукам на лестнице...

– Где ты была, дрянь?! – прошипела она, открыв дверь и увидев Аню, тряпочкой висящую на Додиковой руке.

Ей пришлось долго и тщательно лечить Аню от особенно злобного воспаления придатков, которое никак не желало исчезнуть окончательно, пряталось, радуя своим уходом, и затем возвращалось снова.

Анина детская привязанность к родным усугублялась еще и тем, что в группе Аня ни с кем особенно не подружилась. Она бы и рада, но дружить с ней не пожелали. Девочки с опаской и недоверием отнеслись к ее красоте, а робкую отгороженность от окружающих приняли за обычное высокомерие красивой и богатой. Одета она была лучше всех на курсе, всем, что считалось престижным, Дина ее снарядила: кожаный плащ, дубленочка, а уж джинсовых нарядов у нее было без счета. Девчонки по полгода отдавали долги за единственную пару джинсов. Какая уж тут дружба! Девочки простенькие, завистливые, большей частью из провинции. Аня смотрела на них не впрямую, застенчиво, чтобы не подумали, что навязывается, а девочкам казалось, что «богачка» воображает, гордится.

Стать в группе «своей» Ане помог случай. Как толстым неуклюжим ребенком, так и тоненькой девушкой, она стойко ненавидела физкультуру. В сентябре еще бегали стометровку на улице, а в октябре, когда зарядили дожди, начали заниматься в зале. По команде физкультурника Аня

забралась по канату почти на самый верх, залезла сама, а снимать ее пришлось физкультурнику. Посмотрела случайно вниз, тихо опала, сплелась вокруг каната, закрыв глаза, висела и думала, пусть все, что угодно, там внизу произойдет, но сама она ни за что не слезет!

Девчонки умирали от смеха, наблюдая, как злобный физкультурник ползет по канату, а Аня ждет его наверху, как непослушная обезьяна дрессировщика. Плачущую Аню физкультурник с отвращением выбросил в руки поджидающих внизу девчонок.

После этого случая отношения ее с девочками из группы стали ближе. Удивившись, что красавица-воображала может рыдать, размазывая слезы, они теперь относились к ней даже с преувеличенной нежностью. Оказалось, что замкнутая с виду Аня Гольдман излучает необычно уютную доброжелательность, и главное, равную для всех. С ней захотели дружить все одновременно, все немного в нее влюбились, шептали ей на ушко свои секреты, отбивали друг у друга, ревновали и ссорились. Аня ни с кем отдельно не сблизилась, и пик такой ее популярности довольно быстро прошел, оставив милые отношения со всеми без исключения.

Все секреты, доверенные ей каждой девочкой в период влюбленности, она оставила при себе, не передавала, не сплетничала. Влюбленность в нее девочек прошла, а всеобщей жилеткой, всеобщей подружкой она так и осталась.

«Анька, ты самая красивая на курсе, а никого у тебя нет, потому что слишком серьезная и грустная».

На вечеринках, куда она теперь ходила вместе со всеми по субботам, Аня старалась быть веселой, «своей», но выходило натужно, недостоверно, она украдкой поглядывала на часы, подсчитывала – сейчас еще повеселюсь до одиннадцати, и можно будет идти домой, прилечь с книжкой и приятным чувством, что провела время как положено. Если бы она просто пролежала с книгой весь субботний вечер, Дина ходила бы вокруг, подозрительно поглядывая, и наконец спросила бы: «Почему ты сидишь дома? Неужели тебя куда в субботу не пригласили?»

Пять Аниных институтских лет были заполнены посиделками в кафе, кино и театром с подружками. Со всех вечеринок она незаметно улетучивалась до двенадцати, но в отличие от Золушки без всякого сожаления. Так проходил год за годом, и вот уже почти что диплом, пятый

курс.

С институтскими девочками Аня дружила, но точно знала, что до конца в свою настоящую жизнь они ее не пускали. Чем старше они становились, тем более явным делалось какое-то невнятное различие между ними и Аней. Сама Аня не могла понять, в чем тут было дело, девочки не были умнее или глупее, они читали одни и те же книги, смеялись и плакали в кино в одних и тех же местах, но вот росли почему-то в разные стороны, что-то неуловимое вело их по параллельному, но никак не совпадающему полностью пути.

Каждая девушка имела собственную близкую подругу, но только с Аней делились всем-всем. Делились даже тем, что обычно стыдно, неловко рассказывать: деталями унизительных аборт, вынужденных браков со справкой о беременности, неприятными подробностями страстной добычи новых джинсов или дубленки. Аня не любила думать о людях нехорошо, поэтому и рассказать ей про себя плохое было возможно. Ей и в голову не пришло заметить, что провинциальные девочки-тихони, на первом курсе страстно осуждавшие ей в ухо курение, дружбу с мальчиками и обтягивающие джинсы своих ленинградских товаров, к третьему курсу повыходили за ленинградских мальчиков замуж на крайних сроках беременностей, видимо, полученных особенно стыдливым провинциальным способом...

А если девушки переговаривались о чем-то, что было явно не для ушей этой все-таки чужой красотули, все-таки маменькиной дочки из теплого гнездышка, то и ей это было ни к чему. Сама Аня все пять лет ходила с группой, но не вместе, а рядом. В ее сознании всегда четко присутствовало странное: «Неужели это я иду с ними, ведь на самом деле они отдельно, а я отдельно, сейчас они поймут это и выгонят меня, как обманщицу». Ругала себя за эти мысли, называла неполноценной кретинкой, но отдельность ее со временем лишь усугублялась. Странное это ощущение не мешало, а возможно, помогало ей состоять со всеми в нежнейших отношениях и считаться чистейшим ангелом. Ведь ангелам положено пребывать в отдалении от людей.

С институтскими мальчиками у Ани вышло в точности как с девочками. Поначалу, на первом курсе, они просто не решались начать ухаживать за ней – Аня отпугивала неискушенных, не очень обеспеченных инженерских детей яркой красотой, запахом французских духов, тщательно продуманными Диной дорогими нарядами. Затем, расчухав Анину неприятную милость, они, толкаясь, закружились вокруг нее в общем хороводе и так же вместе и отпали, поняв, что за вежливой Аниной

уклончивостью ничего для них не найдется.

В компаниях было неуютно. Сверстники ужасали грубостью, топорными шутками, жадными руками, никто из них не умел смешно шутить и быть таким заботливым и нежным, как Додик, никто не мог полюбить ее, как Додик, и так же тепло, как дома, не было нигде. Что могло быть лучше, чем ее собственный диван, где можно было угнездиться в старой пижаме с романом и чашкой чая? Больше всего Аня любила английские романы. Жизнь там текла так медленно и уютно, долго обсуждалось, где сегодня пить чай, на террасе или в беседке, не было несущественных мелочей, и каждое душевное движение рассматривалось с нежным вниманием. Дядя Тимоти разрешил своей сестре Джули оставить у себя бездомную собачку, только когда получил на это письменное разрешение полиции... Но прежде чем послать запрос в полицию, он на двух страницах советовался с адвокатом, затем еще две страницы сочинял письмо и волновался, а тетя Джули и бездомная собачка пока что спокойно ожидали решения. Какая же это была правильная спокойная жизнь, именно так и следовало жить...

Компании и ситуации, в которых мелькал хотя бы слабенький дух какой-то авантюры, вызывали у Ани неприязнь и опасение. Неожиданно сорваться и поехать в Таллин, отправиться на юг автостопом или даже просто на выходные на незнакомую дачу, прогулять лекцию или лабораторную или, не дай бог, не пойти на экзамен... И зачем, спрашивается, рисковать и что-то нарушать, если можно этого не делать?

Аня не понимала, для чего люди ищут острых ощущений, ведь они тут же нарываются на неприятности. Она никогда не пила в компании, вежливо отказывалась: «Я не люблю портвейн, мне не нравится вкус этого вина...» – но на самом деле испытывала непреодолимое отвращение к любому, даже самому невинному алкоголю. Бокал вина ассоциировался в ее сознании с распущенностью, несовладанием с собой и, значит, опасностью. Не счесть часов, которые она провела, тоскливо наблюдая за захмелевшими однокурсниками... Мальчишки начинали громче говорить, глядели друг на друга петухами, грубо обнимали своих и чужих девушек. Девушки возбужденно смеялись, позволяли себя целовать при всех... Ужас, ужас, ужас!

В глубине души, стесняясь признаться в этом даже себе, она так же неприязненно относилась и к самим вечеринкам, флирту и ухаживаниям. С бокалом вина Аня видела себя потерявшей соображение, валяющейся на полу, голова набок, руки и ноги некрасиво разбросаны... Гадость! А в каждом ухаживании ей чудилась угроза немедленной потери

девственности, последующей беременности, позора и Дининого навечного осуждения.

На первом курсе ей очень нравился староста параллельной группы по прозвищу Пупс, и состояние мягкой нетревожной влюбленности в Пупса ей нравилось тоже. Она знала, что у него никогда еще не было девушки, и это тоже было правильным и приятным. На лекциях мягкий, полноватый мальчик замирал как ребенок, любуясь Аней, словно машинкой в витрине игрушечного магазина. Ане он напоминал уютного пухлощекого малыша, которого вывели гулять в тяжелой шубе с лопаткой в руке, и он старательно делает вид, что вовсе он и не мамин малыш, а такой же отдельный, как все дворовые дети.

Ни Аня, ни Пупс никуда не спешили, и прошел целый семестр, пока Пупс решил проводить ее домой. Войдя в темный подъезд, он вздохнул так громко, как будто собрался нырять, и уткнулся в нее дрожащими губами. Целоваться с Пупсом было приятно, как будто жевала мятную конфету... «У меня теперь есть мальчик... Надо познакомить его с родителями», – подумала Аня, прижимаясь к нему, и вдруг совершенно явственно ощутила, что одной рукой он расстегивает «молнию» на своих брюках, а другой лезет к ней под пальто, под юбку... Она резко отстранилась. Что он хотел с ней сделать?! Что?!

– Не бойся, я не буду тебя е... просто поваляемся... – сдавленно бормотал он.

Почему он вдруг заговорил матом? Что он имел в виду под «просто» и «непросто»? Где он предлагал ей... «поваляться»? Здесь, в подъезде?! О боже, за что, какой ужас, какая грязь!

Пупс понравился ей своей непохожестью на других, развязных, мужественно-опытных, но если даже этот безопасный на вид толстый детсадовец оказался таким чудовищем, страшно представить, что могло ждать ее с другими.

Случалось, конечно, что ей кто-то нравился, но как только дело клонилось к малейшей интимности – до постели еще даже не доходило, а только вот-вот должно было прийти, – как только этот кто-то обнимал ее, придвигался ближе, ее мгновенно сковывал ужас. Аня безглаголиво отстранялась, ей тут же казалось, что она улавливает неприятные запахи, и, главное, опять кошмаром вставала картинка – она приходит к Дине и шепчет: «Мама, я... у меня, только не сердись... задержка», а у Дины тут же, на глазах, вырастают когти и рожки, как в мультфильме!

Что берегла Аня, какую девственность? Формальная, физическая целостность была потеряна ею давным-давно при помощи толстого, давних

времен, карандаша-великана, с одной стороны синего, с другой – красного, теперь таких и не выпускали... Это было зарегистрировано в медицинской карточке неприятной теткой, смотревшей на нее как на грязь под ногами. И на Дину. Аня знала точно – она должна искупить грязную историю своего детства, и знала, как именно: теперь она больше ни за что не допустит ни одной, пусть даже самой маленькой неправильности в своей жизни.

5 октября

Познакомились Аня с Олегом на вечеринке у своего однокурсника, за час до того, как появились Ольга с Лизой. Факультет, на котором учился Олег, располагался в другом здании и даже в другом конце города. Аня почти никого с этого факультета не знала, но странно все же, он хоть изредка бывал в главном здании института, как она могла за пять лет учебы не заметить его, такого... нет, не красавца, а такого...

Светлые волосы, четко вырезанные жесткие губы, нос тонкий, неровный, то ли горбинка посередине... нет, на горбинку не похоже, просто правильный мужской нос, глаза небольшие, серо-зеленые, ресницы как у немецкой резиновой куклы. Высокий настолько, что всегда немного наклонялся к собеседнику, изящный и узкий, совсем не атлетического сложения, он был весь вытянут вверх. Очень длинные ноги, чуть изогнутые вовнутрь бедра, и слегка журавлиная походка вроде бы не отвечали стандарту мужской красоты из американских фильмов, но красавцы были бессмысленно глянцевыми, а Олег.. У нее замерло сердце. Она так и подумала: «У меня сладко замирает сердце...» И тут же одернула себя: «Какие пошлые слова». Но внутри ее происходило именно это – пониже живота зарождался горячий вихрь, вился вверх и ввинчивался в сердце... Очевидно, сердце замирало не только у Ани, ей тут же о нем нашептали: «Любимец женщин», «На курсе все по очереди были в него влюблены», «От него все девчонки умирают, и что они в нем находят, неизвестно». Одно шептание было откровенно недоброжелательным: «Девушки-однокурсницы за него учатся, лекции ему пишут, лабораторные отмечают, прогулы не ставят...» Аня не удивилась, она и так не сомневалась в его неотразимости. Пусть Олег не был воплощением мужской силы и атлетической красоты, но все мужское обаяние в мире совершенно точно представлял он.

Она очень постаралась произвести на Олега впечатление... Вдруг вспомнила, что все пять лет считалась на курсе первой красавицей, и, будто кто-то ее повел, так властно его к себе притянула и не отпускала, что девочки из группы впервые зашептали о ней осуждающе: «Сама к нему

лезет». Аня смеялась, старательно закидывая голову, как красавицы на балу в ее любимых романах, танцевать его потянула, а когда он уселся на кухне, встала рядом, положив ему руку на плечо – «мое». Кстати, в романах значилось, что самое привлекательное для мужчины – это влюбленная в него женщина!

Правда, вся ее на ходу созданная конструкция женщины-вамп тут же обрушилась, когда она увидела Лизу. Раскованная, дерзкая, обаятельная принцесса, какой, она надеялась, увидел ее Олег, на глазах у всех разревелась от счастья, вцепившись в свою сестру, как маленькая девочка, которую родители наконец забрали из садика.

– Это моя сестра, мы не виделись десять лет! – взволнованно объясняла она Олегу по дороге домой. Все ее усилия по созданию нужного образа оказались напрасными, но под конец она все-таки собралась, улыбнулась, прошептала Олегу на ухо что-то неразличимое, и он послушно отправился ее провожать.

– Почему не виделись? – поинтересовался он.

Ане вдруг так захотелось считать, будто они давно близкие люди, что она подробно рассказала Олегу все. Все, конечно же, кроме их с Лизой позорных отношений... Какая у них была замечательная большая семья, как всю жизнь они были единым целым, а потом поссорились навсегда! Лиза сказала ей, что Маня умерла... «Как же могло получиться, что мы не знали, это же просто дикость какая-то, как говорит мама...» – недоумевала Аня.

Олег сосредоточенно слушал, и она окончательно уверилась, что встретила своего мужчину, чуткого, внимательного, понимающего. Олег умел слушать. Чутко, внимательно, понимающе...

– А вы с этой... как ее, Лизой, похожи, – заметил он. – Как родные! У вас одинаковые скулы, овал лица, форма глаз... Только она бесцветная, как набросок карандашом, а ты ярко раскрашенная! Нет, правда, у меня глаз точный! Я художественную школу закончил.

«Художественная школа» была не совсем школой, а всего лишь кружком рисования, куда он ходил с третьего по седьмой класс. Руководитель кружка его хвалил, и глаз у него действительно был точный, а в том, что в его городке не было художественной школы и еще много чего не было, он не виноват. В ответ на Анин рассказ Олег рассказал ей про городок, не переставая изумляться своей необычной откровенности.

Легче было перечислить, что в городке было. Была одна небольшая фабричка, один лесопильный завод, в центре невысокие здания из противного серого кирпича, комбинат бытового обслуживания, на первом этаже синие вывески магазина и кафе со стеклянными стенами, Дом

культуры с разбитыми желтыми колоннами, поодаль полуразрушенная церковь, внутри склад, у реки кладбище. Все, если не считать гнетущего тоскливого ужаса провинциальной жизни, который ощущали все, кто был в состоянии его ощущать и предполагать для себя иную судьбу.

Рассказывая, Олег морщился, как будто видел перед собой что-то неприятное. Аня смотрела на него с жалостью, кивая в такт его словам. Страдания провинциального героя были многократно описаны в ее любимых романах, особенно страстно почему-то страдали французские провинциалы, а французская провинция, российская ли, очевидно, без разницы. В детстве Олега не было залов Эрмитажа, филармонии со скучливым пересчитыванием рожков на люстре, абонемента «Музыка от А до Я» в Октябрьском зале с обязательным кофе глясе в перерыве. Она понимала... она умела понимать. Аня обычно вся подавалась к собеседнику, неосознанно принимала его позу, и почти всегда происходил некий таинственный «щелк» – она вдруг начинала чувствовать, как он, и переживала не за него, а вместе с ним.

– Пойдем ко мне, – позвал Олег.

Аня смешалась, привычно забегала глазами, но что-то уверенно вело ее в тот вечер. Мягко улыбнувшись, она предложила:

– Лучше ты приходи к нам завтра вечером... придешь?

– Мама, папа! – крикнула Аня из прихожей. – Я Лизу встретила!

Из спальни высунулась Дина.

– Случайно... – прошептала Аня. – Ой, мама... Маня умерла... Лиза сказала, давно, несколько лет назад...

Дина молча развернулась и ушла обратно в спальню. Аня услышала короткий сухой звук, как будто пробка вылетела из бутылки. Один звук, и потом стало тихо. Рыдает она или поперхнулась? Аня бросилась к матери. «Закрой двери», – без всякого выражения отозвалась Дина. Она всегда говорила невыразительным голосом.

Утром Дина не вышла, не вышла и днем, а из спальни не доносилось ни звука, ни шороха. Додик, не решаясь войти, переминался у закрытой двери, озабоченно цокал языком. Аня там же вертелась, чуть не плача.

– Мама Маня для Дины была больше, чем мать, ты-то уже этого не помнишь... – бросками перемещая себя по кухне, объяснял Додик. Он то дергал себя за ухо, то почесывал нос, то перебирал руками.

«Нервничает... – с нежностью подумала Аня. – Маму жаль, но как же теперь быть, вечером придет Олег, а она заперлась...»

К вечеру Дина появилась на кухне. Она была тщательно причесана и

подкрашена, ни одной неровной смазанной линии. Дина всегда красилась изумительно твердой рукой, а у Ани все дрожало, смазывалось, то один глаз подведет ярче, то махнет помадой по подбородку.

– Если ты еще когда-нибудь посмеешь упомянуть в моем доме Лизу... эту дрянь, это чудовище... – она говорила тихо и размеренно, и с каждым ее словом Ане становилось страшнее и страшнее, – тогда ты... можешь... искать себе другое пристанище. Поняла?

Аня кивнула, неловко дернув головой, как кукла на веревочке.

– Додик! – громко позвала мужа Дина. – Иди пить чай. – У нее подрагивали уголки губ.

6 октября

Поднимаясь по лестнице, Олег лениво размышлял, начнут ли они прямо с секса или девица еще немного поломается, предложит сначала чаю... Лучше бы сразу, у него были еще планы на вечер.

В прихожей Олега встречали Додик в толстой вязаной кофте, накинутой на белую рубашку с галстуком, Дина в чем-то скромно-дорогом и Аня. Господи, вот дура-девица! Зачем ему ее родители?!

Олег воспринял Анино приглашение однозначно: девочки всегда звали его, когда родителей не было дома, это никогда не оговаривалось открыто, но подразумевалось само собой. За годы учебы он побывал во множестве ленинградских квартир, правда, не таких богатых, как эта, но зато там не толкались никакие родители.

Секс с самыми скромными на узких, детских еще кушетках, с самыми смелыми в родительских спальнях, торопливый секс в гостиной на молниеносно расставленных диванах... Ему казалось, что диванные гобеленовые обивки стоят у него перед глазами – в крапочку, в точечку, в пупырышку... А девушки всегда украдкой поглядывали на часы: «Давай скорей, вот-вот придут с работы родители, бабушка из магазина, брат из школы... Скорей, скорей!»

Аня волновалась, Олег заметил это, как обычно замечал все, что происходило вокруг и каким-то образом его касалось. Она улыбалась, но руки сжимали край нарядной блузки, когда она отняла руки, белая кружевная блузка оказалась мятой и влажной. «Как будто корова жевала» – так всегда говорила его мама. Мама не носила дома таких нарядных вещей, у нее было два нарядных платья, серенькое и синенькое. И повседневных платьев тоже было два, серенькое и синенькое. Отец не ходил по дому в галстук, то есть, возможно, ходил, но где-то в другом месте, не по их с мамой общему дому. Мама не жаловалась, носила серенькое и синенькое,

они у нее бывали нарядными по очереди.

«Как будто тебя заперли в ящике буфета», – подумал Олег, незаметно окидывая взглядом обитую дубовыми панелями прихожую с множеством встроенных шкафов.

– Как у вас хорошо! – улыбнулся он.

Чай пили в гостиной. Чай оказался не просто чаем, были еще легкие закуски, а стол Дина сервировала доставшимся ей от теток столовым серебром. «Папа, я познакомилась с одним человеком, он красивый и так слушает хорошо, все понимает, не такой, как все...» – нашептывала Аня днем. Неужели весь парад устроен из-за этого, удивлялась она, ведь столовое серебро доставалось только для самых важных гостей, к которым никак нельзя было причислить ее нового знакомого. Родители не могли знать, насколько он для нее важен... или могли? Дина всегда все про нее знала.

Олег вертел в руке изящную фарфоровую чашечку. Такие чашки выпускались Ленинградским фарфоровым заводом, у них с мамой было две точно таких же – маме подарили на сорок лет ее подруги-учительницы, каждая по одной чашке. Они с мамой поставили чашки в буфет и никогда не доставали, а чай пили из старых кружек.

«Богатые», – думал Олег без неприязни и без заискивающего уважения, просто отмечал для себя. «О господи...» – думала Дина. «Ну и что особенного девочка в нем нашла? Хотя красивый, конечно, парень, держится уверенно, в Анечку влюблен...» – убеждал себя Додик.

– Папа, а вы с Олегом похожи! – воскликнула Аня и, поймав Динин холодный взгляд, сникла и машинально договорила: – Только папа лысый...

Олег, незаметно всмотревшись в Додика, подумал: «Да девчонка-то права, что-то у меня с этим мужиком есть общее...» Вытянутый, обаятельный в своей некрепкой, не кряжистой стройности, с тонкими светлыми волосами, Олег действительно напоминал Додика, как улучшенная, породистая копия походит на несовершенный оригинал.

Додик умел улыбаться так, что отказать ему было невозможно. Как дружеские, так и необходимые продуктивно-вещевые связи он заводил моментально и без напряжения, казалось, просто из интереса к людям. Возможно, именно так и было, потому что нужные связи легко переходили в дружеские и наоборот – люди оказывали ему услуги с удовольствием. Правда, и он радовался, когда мог выручить, положить в хорошую больницу, устроить путевку в санаторий, обеспечить свадебный стол. Пляжные знакомые, вернувшись из отпуска, стремились дружить, случайные попутчики звонили, бесконечные знакомые знакомых

передавали приветы. И Додик звонил, просто поболтать, поздравить с праздником, ну и, конечно же, если что-то требовалось. Оказавшись в чужом городе, Додик легко справлялся с любой ситуацией, жизнеобеспечивающие знакомства возникали у него мгновенно. Стоило ему просунуть лысую голову в любое окошечко и улыбнуться, как любая персона «за» – за официальным окном, за прилавком – немедленно понимала: этот человек вовсе не «за», он с ней. Кассирши выдавали ему дефицитные билеты на поезд, в театр, куда ему было угодно. А у Олега в улыбке так приподнимались кончики губ, что мурашки бегали по телу...

С легкостью распознав в госте знакомую робко-нагловатую породу провинциалов, Додик вспомнил, как сам своим обаянием приручал, задабривал большой город. Тогда, в юности, он не обозначал словами свое одиночество. Динин отец, дядя Наум, помогал, дядя Моня с Маней старались как могли, тетки подкидывали, кормили... Додик вздохнул. Ему повезло, у него была замечательная семья!

– Аня очень похожа на свою сестру, – светски произнес Олег. Он начисто забыл все, что она ему рассказывала, помнил только, что была там какая-то сестра.

– Вряд ли, троюродные не слишком близкое родство, – безмятежно ответила Дина.

«Дина, конечно, великая женщина, но уж больно тяжелая. – Додик положил Олегу салат: вдруг, несмотря на всю свою сдержанную светскость, парень голоден и стесняется. – Это ведь и мои родственники тоже, я бы, например, хотел увидеть дядю Моню, да и Костю с Веточкой, ведь вся жизнь прошла рядом...» – взбунтовался про себя он.

«Кажется, я что-то не то сказал», – догадался Олег, почувствовав Динину холодность. Он всегда чувствовал отношение людей и старался всем нравиться.

– Сколько у вас книг... Вы, наверное, много лет собирали такую огромную библиотеку! В этих шкафах собрания сочинений, а в этих все разное... Вам нужен каталог, как в библиотеке, – восхитился он и увидел, как довольно улыбнулся Додик.

– Каталог, – поправила Дина с каменным лицом. Она сидела в засаде, поджидая ошибку, и теперь бросилась на нее, довольно пощелкивая зубами. Обычно это происходило из чистой любви к русскому языку, но иногда, как сейчас, она желала поставить собеседника на место.

Олег всегда знал силу своего обаяния, научился включать еще со школы, с учительницами, даже с мамой. Для мамы оно было искренним, просто чтобы ей было приятно, что у нее такой сын. Для мамы, но не для

чужих. «Ах ты, старая сука...» – думал он, глядя в глаза соседке или учительнице, и светло улыбался.

– Мама тоже меня всегда поправляет, она учительница русского и литературы, – мягко улыбнулся он.

Динино лицо немного распустилось.

– Мы с вашей мамой коллеги.

– Может быть, сыграем в карты? – предложил Додик.

«Черт, только этого еще не хватало, играть в карты со старыми мудаками!»

– Давайте сыграем, с удовольствием!

«Мальчишка наверняка не знает ничего, кроме самых простецких игр, как бы его не обидеть», – подумал Додик и предложил сыграть в подкидного.

– Олег, а в преферанс ты умеешь? – пропела Аня. – Мама с папой на пляже всегда играли и меня научили, я, правда, плохо играю. Мы дома иногда играем, не на деньги, конечно, на спички.

В преферанс играли сначала томно-вежливо, но вскоре Олег оживился, и его чинные манеры в стиле «хороший мальчик в гостях у школьной подружки» сменились жестким взглядом и короткими решительными жестами. Дина сидела со скучающим видом, но из-за карт бросала на гостя короткие заинтересованные взгляды.

Олег оказался азартным, всерьез собрался и по-детски упрямо стремился выиграть, так вдумчиво считал, яростно думал, всерьез прикрикивал на Аню и даже на Додика, будто, проиграв уже состояние, поставил на кон родительское имение. «Мальчишка, хоть и строит из себя опытного, взрослого человека», – беззлобно подумал Додик, удивившись, что Олег серьезно отнесся к ненастоящей карточной игре не знающих, как вместе провести время, людей. Ладно бы играли на деньги!

– «Этого не может быть!» – сказал Зяма, впервые увидев жирафа... – убедившись, что выиграл Олег, задумчиво пробормотал Додик.

Дина толкнула мужа в бок и приятно улыбнулась.

– Олег, вы всегда так азартно играете? Любите карты? – осторожно спросил Додик.

Дина нахмурилась:

– В русской литературе множество примеров пагубного влияния карт... вспомните Достоевского, Чехова, Куприна... А кстати, у Бунина есть такой рассказ.

– Карты я не люблю, играю редко, – отрапортовал Олег, – я все делаю серьезно, считаю, человек всегда должен стремиться к успеху, иначе какой

смысл чем-то заниматься?

– Это похвально. Ну а к учебе вы относитесь так же серьезно? – учительским голосом поинтересовалась Дина.

– У меня почти одни пятерки, я в аспирантуру собираюсь. – Вранье, но не целиком, а частично: пятерки были, а аспирантура пока что не светила, он же иногородний, так что, естественно, имелись проблемы.

«У девчонки фамилия Гольдман... Они евреи», – думал Олег, осторожно всматриваясь в лица хозяев. Румяная Аня была похожа на красавицу молдаванку из старых советских фильмов, ее родители тоже не отличались ярко выраженной семитской внешностью. Отец вообще светлый, лысый, но видно, что светлый, и Динино суховатое лицо не кричало о своей национальности ни носом с горбинкой, ни... что там еще полагается? Олег не был силен в определении национальности по лицу, и если бы не фамилия Гольдман, ему бы и в голову не пришло, что эта хорошенькая девица, его новая знакомая, – еврейка.

Со словом «евреи» у Олега с детства ассоциировался стиль жизни, отличный от остальных. Мама всегда отзывалась с уважением о соседской семье Фридманов: у них единственных во дворе была машина, красный «Москвич», иногда дядя Юра Фридман возил на нем на речку всех мальчишек со двора по очереди, сын Фридманов играл на пианино и был отличником с первого до последнего класса. «Быть евреями» для Олега означало иметь хороший правильный быт, воспитанных детей, пианино и машину на фоне поголовных велосипедов и мотоциклов. Как у соседей Фридманов или как в этом доме. Стол, красиво накрытый без всякого важного повода, коньяк в старинном хрустальном графине, хрусталь без счета, невиданной роскоши мебель, столовое серебро... «Евреи» означало – интеллигентные, «культурные», подтверждение тому – множество книг и Додик в галстуке. Всё вместе кричало о качественно иной жизни. Ему очень нравилось в этом доме, нравилось все, кроме Дины.

Еще раз выпили чаю, уже гораздо более расслабленно, даже приятно, и визит подошел к концу. Снова выстроились в прихожей, Додик чуть впереди, словно защищая свой дом, за ним Аня и на заднем фоне усталая Дина. Натужная вежливая гримаса на ее лице, не дождавшись ухода гостя, сменилась откровенным облегчением.

«Мамаша – крыса, а мужик классный, – заключил Олег. – Хорошо бы встретиться с ним еще раз». Так он и подумал – «с ним», как будто Дины в этом доме не было.

«Непростой парень, обаяние, азарт, влюбилась наша девочка...» – загрузил Додик.

«О господи, как же мне плохо, а тут еще этот... – Дина представила, что сейчас бросится на пол и начнет кататься по прихожей, и усмехнулась: – Сейчас как затопая ногами, закричу: „Я хочу Маню, Маню мне надо!“ – вот они удивятся, а то думают, что я автомат, я не человек...»

«Ухмыляется противно, вот сука!» – Олег вежливо улыбнулся.

«Милый, милый, милый!» – трепетала Аня.

Приходя из института, Аня кружила у телефона, хищно бросаясь на каждый звонок. Сначала она ждала нетерпеливо, затем ждала безнадежно, а потом поняла, что Лиза не позвонит. Набрать номер было просто, но невозможно, в их отношениях Лиза всегда была главной: захочет – сама позвонит, а если не звонит, значит, и Ане нельзя.

Она все-таки позвонила. Долго прикидывала, когда можно застать Лизу дома, решила, набрала номер, послушала Монино дребезжащее «але-але, вас не слышно», испугалась, что придется говорить с ним о Мане... Что она могла сказать? «Мне очень жаль»? Или еще труднее: «Я выражаю вам свое соболезнование»? Аня осторожно положила трубку на рычаг, чувствуя, как кузнечиком прыгает сердце.

4 ноября

Аня дышала в рукав, в рыжие заледеневшие ворсинки лисьей шубки. Она так долго караулила сестру у редакции газеты, так долго ждала и так замерзла, что чуть не упустила. Аня надеялась, что Лиза будет одна, но она вышла, поддерживая под руку высокую беременную девушку с недовольным лицом.

– Лиза! – Аня слабо махнула рукой, выдвинувшись из темноты. – Это я... не сердись, – заторопилась она. – Ты не звонишь, все не звонишь и не звонишь... Вот я и решила...

Лиза рассматривала ее, не отвечая ни слова, будто что-то обдумывала. Она не хотела видеть Аню и прекрасно отдавала себе отчет почему.

Иногда, перед сном, Лиза любила подумать о своих мелких прегрешениях, вытаскивала их на свет, рассматривала и даже систематизировала: вот это – ее вечная зависть, и пора бы уже перестать считать, что она, Лиза, хуже всех, а вот это – слабость, а слабой быть нерационально, нужно делать над собой усилия, иначе съедят... А вот вчера, например, она соврала Маше, что ее пригласили на просмотр в Дом кино, хотя приглашение пришлось выцарапывать в обмен на обещание съездить на задание. А история с Аней была слишком неприятной, чтобы ее помнить. Именно поэтому она и не желала видеть сестру. Зачем трогать то,

что болит... Вот у англичан есть замечательная поговорка про скелеты, которые не надо вытаскивать из шкафа. Сестра была тем «скелетом», вот пусть бы и лежала в шкафу, на полке с надписью «Детство»... Или нет – «Детские шалости»!

– Поехали ко мне, – неожиданно для себя пригласила она Аню. – У нас девичник, родители сегодня придут поздно.

Аня бросилась к ней обниматься. Чуть придерживая ее рукой и предупреждая Анины восклицания, она спокойно проговорила:

– Это – моя подруга Маша, а это – моя сестра Аня.

– Ты не говорила, что у тебя есть сестра, – обиженно протянула Маша.

Она относилась к Лизиной жизни, как к своему собственному хозяйству, настойчиво желая быть в курсе каждой мелочи, и легко обижалась, если мимо нее проходила даже покупка новой кофточки или сданный досрочно зачет. «Ты мне не сказала», – произносила она обвиняющим тоном. Сама Маша не стремилась поведать о своей жизни все, даже о беременности рассказала Лизе, когда скрывать уже наметившийся животик было невозможно. Лизу такая неравная откровенность не задевала, интерес Маши к деталям ее существования был не тягостным, а приятным и лестным. Маша посмеивалась над ее светскими устремлениями все прочитать, все посмотреть, со всеми познакомиться и везде побывать. «Ну, Бедная, зачем тебе столько всего сразу...» – высокомерно тянула она, намекая на то, что у нее, Маши, есть собственные ресурсы, поэтому она не мечется по культурным мероприятиям, как угорелый заяц. Но при этом не стеснялась хвалить Лизины отличные оценки в университете, подробно и независтливо обсуждала ее журналистские успехи, и чувствительной к поощрению Лизе после Машиных слов всегда казалось, что ей на грудь повесили медаль.

– Вас разлучили в роддоме? Вы потеряли друг друга в детстве, а сейчас нашлись? А вы живете в Мексике? – вежливо обратилась она к Ане, не сообразившей, что Маша намекает на извечный сюжет мексиканских фильмов о разлученных в колыбели сестрах. – По-моему, такие вещи обычно происходят именно там, – приятно улыбнулась Маша и выпятила губы.

Всю дорогу домой Лиза с Аней старались поместить Машу в середину, между собой. Лиза разговаривала тонким, неестественно дружеским голосом, а Аня поглядывала на сестру с таким несчастным видом, что Маша почти простила Лизу за предательскую скрытность, а неизвестно откуда возникшую на улице родственницу – за броскую красоту.

Последний раз она была в этой квартире в детстве, с мамой и папой. Додик начинал шутить еще на лестнице, Дина, слюня платок, вытирала с Аниного лица невидимую грязь и поправляла на ней одежду, а в прихожей пахло пирогами и ждала Маня с такой широкой улыбкой и распахнутыми руками, что все трое тут же понимали, какие они дорогие гости.

Прихожая была все той же, будто время сюда не заходило. Аня на мгновение замерла под лакированными рогами, уставившись на довоенный сундучок. Бедная Веточка, после Маниной смерти получив возможность устроить все по своему вкусу, почему-то не выкинула сундучок и рога не сняла.

Аня испуганно покосилась в сторону Маниной комнаты.

– Моня придет поздно, у него обнаружился какой-то приятель... – неопределенно пояснила Лиза и тут же мысленно себя ущипнула: «Опять врешь? Стесняешься?»

Два раза в неделю Моня караулил помещение какой-то вялой конторы. Лиза не сомневалась, что контора была чахлой, а дирекция – сборищем безумцев, потому что только безумец мог посадить Моню сторожем. «Да там и красть-то нечего, кроме меня!» – отзывался Моня о своей охранной деятельности, но к должности отбывал со всей важностью.

На рабочем месте Моня развел хозяйство: повесил в конторе занавесочки, отволок туда старый чайник, потравил мышей, прикармливал двух котов. Почему-то его держали и даже иногда выписывали премии.

И гостиную Аня узнала, место полированного рыжего серванта теперь занимала небольшая стенка, в ней стоял телевизор, а вот диван и тонконогие кресла остались.

– А слоников нет, – произнесла Аня. – Все как в детстве.

Лиза независимо вскинула голову. Она к этому безобразию больше не имеет отношения.

– А я замуж выхожу! – бросила она.

Аня нерешительно шагнула к ней, и Лиза не отстранилась, оттаяла под ее руками, тоже обняла ее, и они немного покружились вдвоем, как в детстве. Внезапно оттолкнув испуганную Аню, Лиза бросилась искать что-то в стенке.

– погоди, сейчас я тебе что-то покажу! – Она вытащила пыльный мешочек и, робко-торжествующе глядя на Аню, высыпала на стол крошечные фигурки. Вдруг Аня будет над ней смеяться?

– Ой, Буратино, Мальвина, Пьеро... – задыхаясь, причитала Аня, глядя фигурки.

Маша смотрела на них удивленно.

Немного помявшись, Лиза решилась и произнесла все еще кукольно-вежливым голосом:

– Возьми, я тебе дарю на память. – Она протянула Ане хрупкого Пьеро в белом балахоне. – Или нет... возьми лучше Кота Базилио и Лису Алису... или только Базилио... – Отдать Пьеро оказалось невозможно жалко, все равно что отдать собственное детство. Не могла она с ним расстаться!

– Эй, девочки, что здесь происходит? – раздался голос Ольги. – У вас дверь открыта.

– Игрушки делим, – ответила Маша.

– А за кого ты выходишь замуж? – вспомнила Аня, сжимая подаренные фигурки в кулаке.

Ольга с Машей переглянулись, а Лиза ответила небрежно и чуть смущенно:

– Игорь Петрович – заместитель начальника строительного треста. – Лиза скромно потупилась, словно ожидая аплодисментов. – А жить мы будем у него. Четырехкомнатная квартира в сталинском доме прямо рядом с парком.

– Расскажи своей новоприобретенной сестре поподробнее, кто наш избранник. Про машину, дачу... И не забудь отметить, что он тебе в отцы годится! – шепотом ядовито добавила Маша, а Ольга укоризненно вздохнула.

– Дурочка ты, я тебе сто раз объясняла, это же просто замечательно, что он старше меня! Я с ним чувствую себя... – Лиза на секунду задумалась, – как за каменной стеной!

– Эх ты, журналистка, не могла придумать что-нибудь не столь избитое! – насмешничала Маша. – И прекрати улыбаться дебильной улыбкой!

Лиза сама почувствовала, что ее расслабленно-счастливая улыбка переходит в идиотскую гримасу. Как хорошо ей с Игорем, спокойно и доверчиво, как с отцом, если бы у нее был нормальный отец... Вот, например, как Додик у Ани...

– Ну пожалуйста, если хочешь... – Лиза произнесла голосом первой ученицы. – Я чувствую себя с ним, как будто я хрупкая елочная игрушка и меня обернули в вату, или будто я лежу под пушистым одеялом, а за окном пронизывающий ветер, или будто мне по лицу метут такой пушистой метелочкой нежно-нежно, почти невесомо... Ну как?

– Избитые ассоциации, Бедная! – дребезжащим голосом замглавного ответила Маша.

Лиза передернула плечами:

– Зато правда!

– А у меня есть... Олег, – почувствовав ее раздражение, заторопилась Аня. – Только в смысле карьеры он никуда не годится, просто студент, да еще и иногородний...

«Странно, – удивилась Лиза, – неужели Дина, которая всегда стремилась получить для дочки самое лучшее, разрешила ей встречаться с иногородним студентом? Он, наверное, из золота!»

– Девочки, раз у нас две невесты, Лиза и Маша, давайте гадать! Считается, что к невестам духи приходят охотнее.

Последнее время Ольга увлеклась экстрасенсорными явлениями, пыталась сама двигать предметы и донимала Лизу звонками на работу. «Ты почувствовала, что я тебе транслировала? – настойчиво приставала она. – Да? А что именно, подробно расскажи».

С ее приходом что-то неуловимо изменилось. Маша выглядела уже не такой надутой, все еще смущенная Аня улыбнулась, а Лиза перестала говорить искусственным голосом.

– Давайте гадать, – равнодушно согласилась она. Такой вышел странный вечер, что можно и гадать, все равно. – Что нам нужно, кроме?..

– Лиза, быстро тащи маленький круглый столик, ручки и бумагу! – оживленно командовала Ольга. – Мы просто попробуем сосредоточиться и вызвать дух... кого?

Погасив свет, они уселись за стол.

– Давайте пригласим Марину Цветаеву... – удивляясь собственной податливости, предложила Маша. Она отнесла это на счет беременной вялости, в обычном состоянии ни за что не поддавалась бы на эту глупость.

Ольга теперь всегда была в «потустороннем» настроении, Машина независимость с беременностью поубавилась, она стала очень внушаемой, а сестры были как два коктейля из радости, смущения и сожалений. Душевно все вместе они сейчас представляли сильно взбаламученную группу, поэтому, когда Ольга густым голосом спросила, готовы ли они, девушки по-кроличьи покорно кивнули.

– Марина... Вы можете нас посетить? – вежливо поинтересовалась Ольга. Все замерли. – Мне кажется, она здесь, я чувствую. Ну, спрашивайте, а то она может исчезнуть в любой момент...

– Марина... будет ли мой брак счастливым? – прошелестела Лиза. Пусть все это ерунда, но почему бы не спросить на всякий случай?

– И мой, – хором произнесли Аня с Машей и смущенно переглянулись.

В ответ раздался звук, напоминающий слабое рычание. Девочки вздрогнули.

– Она и правда здесь, – выдохнула Ольга.

– Я здесь! – прокричал из прихожей Моня и, лучезарно улыбнувшись, внес себя в комнату как лучший подарок. – Вы почему без света сидите?

– Дядя Моня, – хихикнула Ольга, – мы думали, что вы – дух Марины Цветаевой...

– Чей я дух? – подозрительно поинтересовался Моня. – Вы могли бы вызвать мой дух с помощью палки копченой колбасы, я бы сразу явился, – размечтался он.

– Дед, ты Аню нашу узнал?

– Ой, Анечка, наша куколка! – Моня прорунул к ней между стульями как ловкая толстая гусеница. – Ой, сколько ж лет прошло, красавица ты моя!

Пока Моня пел и обнимал такую по-новому красивую Аню, Лиза смотрела в сторону. К горлу подступила старая, давно забытая детская тошнота, в которой слились ярость и обиженно– плачущее недоумение: «А я, я? Как же я?! Аню любят, а меня нет. Лучше бы мне родиться у Додика с Диной!»

– Мне сегодня приснился борщ! – Лизе хотелось немного убавить эмоциональный накал родственной встречи.

Моня, всполошившись, оторвался наконец от Ани:

– Борщ во сне – это не борщ. Сейчас же поешь и девочкам дай. Анечка, ты в детстве так любила кушать!

Дальше происходила милая суэта. Командовал Моня. Он жарил картошку особым способом, девочки никогда не ели картошки вкуснее, чем эти крупные ломти с тонкой корочкой. За столом Моня продолжал держаться как главная фигура, светски рассуждал, поигрывая лицом.

– Завтра на свадьбе поедим! В ресторане! Будет заливное, салаты, хотя из всех салатов я больше всего люблю мясо.

Маша поморщилась. Чувствовала она себя прекрасно, вот только мясо... Даже от одного слова ее тошнило.

– Большой начальник наш жених! Строиться-то все хотят! Черная «Волга», паек, меня в санаторий обещал устроить бесплатно, – изо всех сил хвастался он. Про черную «Волгу» Моня присочинил для красоты, а санаторий действительно был ему обещан.

Ольга смешно изобразила на лице завистливое почтение, а Моня вдруг пригорюнился. После Маниной смерти за любым весельем у него следовали легкие слезы.

– Что же вы, девчонки, все разом замуж собрались... Или вы уверены, что брак – это очень хорошая вещь?

– Дед, у нас, между прочим, сегодня девичник. Иди к себе, дай поговорить о девичьих тайнах. – Лиза тихонечко подтолкнула его к двери.

Моня ушел неохотно, пытаясь убедить всех, что он ничем не хуже девицы. Вышел, через минуту вернулся и поманил Лизу к себе:

– Он на ней не женится! – жарко зашептал он. – На Маше! Я так считаю.

– Как тебе не стыдно, дед!

– Что такого особенного я сказал?

– А почему не женится?

– Так я же ее вижу. Как лимон во рту держит.

Маша сидела молча, еще больше оттопыренные семимесячной беременностью губы придавали ее вечно недовольному лицу оттенок брюзгливого равнодушия. Она полностью повторила путь Толстой и Тонкой – встречалась с редактором одного из отделов. Полгода редактор сомневался, жениться ему на беременной Маше или нет. Редактор был «пишущий», в издательстве «Советский писатель» у него лежала книга. «У вас там машинистка беременная», – неопределенно-осуждающе сказали ему в издательстве, даже не в глаза, а так, передали. Издать книгу хотелось так страстно, да и семья Машина была известной в определенных, весомых для него кругах... И вот на семи месяцах она все-таки готовилась к свадьбе и была теперь скромно довольна.

Лиза, которая раньше переживала, что Маша не приглашает ее в свой дом, в котором собираются известные люди, последние пару лет бывала там часто. Машин дед был известным театроведом, бабушка – никем, но училась в Сорбонне, а родители Машины – уже просто технари, ничем, в сущности, не отличались от ее, Лизиных, родителей. При ближайшем рассмотрении всё у них оказалось проще, обычнее, чем представлялось Лизе. Она и семьи своей давно перестала перед Машей стесняться, ну а теперь при своем таком удачном, по сравнению с Машиным, браке тем более. К тому же беременная Маша потеряла в Лизиных глазах все свои преимущества. Она перестала казаться частичкой другого, привлекательного мира – мира, куда Лиза так стремилась попасть, а была почти что просто беременная Маша, не справившаяся с жизненной ситуацией девушка. А сама Лиза справилась! Еще как! В Лизе тлела постыдная маленькая радость, что это Маша ходит с большим животом без обручального кольца. При этом она Машу очень жалела. Теперь, когда Маша все же выходила замуж, в ней зашевелился червячок дискомфорта, червячок оживал всегда, когда кого-то постигала удача. Жалеть и опекать несчастную Машу было приятней. Но все же, по сравнению с Машиным,

Лизино счастье была необъятным.

Девочки прощались в прихожей.

– Аня, знаешь что... Приходи завтра на свадьбу. Со своим... как его зовут... Олегом. Свадьба будет скромная, без официоза, только для своих. Ресторан «Невский», в семь часов.

Пусть Аня придет с ничтожным иногородним мальчишкой, увидит ее торжество своими глазами и поймет, что не все самое лучшее достается ей...

Аня так обрадовалась, что Лиза моментально устыдилась детского желания взять наконец верх и торопливо подумала: «Как хорошо, что пригласила, мы же все-таки самые близкие, будем дружить все вместе!»

Вернулись Костя с Веточкой, и Моня вышел их встретить. Лиза услышала разговор, который при ней повторялся между ними не раз, а уж сколько они судили-рядили в ее отсутствие, и представить было трудно. Моня даже Лизе намекал, что она выходит замуж по расчету, а уж Косте с Веточкой ныл, ругался, угрожал... Глупые люди, ничего в жизни не понимают! Лизу еще Мадам учила, что правильный расчет – это залог успеха, а брак – такое же предприятие в жизни, как и все остальное. Лиза в который раз довольно перебирала свои резоны, укладывала их по порядку. «Самое большее, на что я могла бы рассчитывать после университета, это мои четверть ставки корреспондента, да и то не факт, многим вообще предлагают идти секретарем, а теперь моя судьба устроена навсегда! – думала Лиза. – Работа, квартира, машина, дача – все сразу, не надо ничего собирать по крупиночкам! И самое главное, Игорь...» Ей нравилось держать его за руку. Когда-то совсем маленькой она шла рядом с отцом и держалась за указательный палец. Лиза старалась ухватиться покрепче, ей казалось, что палец дергался, нервничал в ее руке... От руки Игоря в нее переливалось спокойствие, он-то уж точно никуда не денется.

Кружа по кухне, Веточка рассуждала:

– А что Игорь Петрович старше Лизы, так это и неплохо, надежно. Правда, Костя?

Костя молчал. Он с таким почтением относился к жениху, что полностью устранился от обсуждений.

– У девочки будет такой муж!

– Фига у нее будет, а не муж! – неожиданно озлобился Моня. – Куда ты смотришь? Мать называется...

– Папа, все считают, что такой муж – это счастье! – вяло защищалась Веточка.

– Это несчастье иметь такое счастье! Когда он на тридцать лет ее

старше!

– Папа, что вы говорите! – ужаснулась Веточка. – Почему на тридцать, когда ему всего тридцать девять? Всего на шестнадцать. Как вы любите все драматизировать!

– Я-то скоро умру... – После Маниной смерти у Мони появилась привычка, горестно потупившись, повторять это несколько раз на дню. – Я-то умру и не увижу, как она будет жить, – напоследок бросил он и, удовлетворенный, направился к себе.

На тумбочке у его изголовья лежала синяя папка, в которой он собирал Лизины материалы. Моня открыл папку, внезапно пришел в хорошее настроение и, погладив вырезки, гордо произнес:

– Моя внучка!

Аня прижималась к Додик, как маленькая, носом терлась о рукав, в ухо дула, пощипывала тихонько.

– Что мне Лизе подарить? Можно не деньги, пожалуйста, давай я подарю ей что-нибудь на память... У нас же так много всего, а у нее ничего нет – ни сережек, ни кольца.

Додик и не мог дать денег, даже если бы хотел – все деньги были общие с Диной, она была в курсе всех расходов до копейки. Если бы Аня дала ему время подумать, он бы, наверное, не осмелился, но решать надо было сразу. Аня так просила! И девочку, Лизу, он с рождения считал родной, и Аня права – им действительно ничего не досталось. Сначала наследство от матери, эта брошка... Кстати, она не представляет особой ценности... Потом их обошли с наследством от теток. По справедливости комната теток должна была достаться Мане, а потом этой девочке, которую Аня так любит, Лизе. И Аня так умоляла, и брошка не очень ценная, и что он мог еще отдать Анечке для сестры... Додик вручил Ане брошку Марии Иосифовны Гольдман для Лизы Бедной, другой ее правнучки. «У Дины столько всего, пусть девочке будет брошка, ценности в ней нет, так... семейная побрякушка. А она имеет право, как и Анечка, но у Анечки, слава богу, есть...» – так успокаивал себя Додик, роясь в коробке со старыми фотографиями, куда Дина не заглядывала годами.

Лиза возбужденно вертелась всю ночь, под утро ненадолго задремала и в ужасе вскочила, решив, что проспала собственную свадьбу. В шесть утра она застала Моню на кухне. Он сидел у окна, мечтательно уставившись на соседние пятиэтажки, слушал радио и перебирал вырезки в синей папке.

– Сказали, Балакирев. Красиво... – расслабленно улыбнулся он Лизе.

«Какая у него нежная душа... Маня вполне могла бы выйти замуж за какого-нибудь работягу, он бы пил, бил ее, и получилась бы у нее совсем другая судьба...»

– Сегодня твоя свадьба, внученька. Маня-то не дожила. – Он всхлипнул было, но вдруг поднял голову и деловито приказал: – Смотри, чтобы на стол вчерашнего не подсунули. Особенно я волнуюсь за заливное... Пусть твой проследит!

5 ноября

С черно-белой свадебной фотографии смотрели расплывшаяся в счастливой улыбке Лиза в белом платье, но не длинном – жених не хотел ни длинного платья, ни фаты, а уж тем более торжественного катания по городу; жених Игорь Петрович – невысокий, моложавый, «ни за что не дашь его лет», как шептались все; Моня, ловко притершийся к Лизе вместо свидетельницы, он так явно занял не полагающееся ему место, что лицо его было растерянным и упрямым одновременно, в объектив он косился, как нахохлившийся петух; Костя с отрешенным лицом, будто его оторвали от созерцания его любимых спичечных этикеток; Веточка, честно улыбающаяся в объектив; Ольга с важным видом свидетельницы; свидетель со стороны жениха, потом он нечаянно запутался в тосте, пожелав жениху такого же счастья, какое было у него в предыдущем браке; пожилая, Мониного возраста, Инна Сергеевна – мама жениха в шляпке с вуалью.

Хорошо, что осталась фотография, потому что свадьбу Лиза помнила плохо...

– Поздравляю, сестренка, – растроганно улыбалась Аня. – Это тебе, брошка нашей с тобой прабабушки.

«Из-за этой ерунды Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», – мысленно улыбнулась Лиза и бросила брошку на дно сумочки.

– Поздравляю, – улыбнувшись, сказал Лизе стоящий рядом Олег, на что Лиза в ответ скорчила беспомощную гримаску.

Желание бестолково билось в ней, как влетевшая в комнату шаровая молния. Она хотела этого парня с его длинными ногами и застенчивой улыбкой, хотела так, что чуть не пошатнулась от пронзительно ноющей боли внизу живота.

– Спасибо, что пришли, – вежливо поблагодарила она Аню и ее иногороднего мальчишку. Лиза уплывала от его улыбки, а он обнимал Аню за плечи...

Лиза побежала курить в туалет, а возвращаясь к свадебному столу, обнаружила Моню на чужой свадьбе. Моня задушевно выводил «Парня молодого полюбила я». Толстая белобрысая тетка играла на баяне... В руке у Мони трепетала теткина клеенчатая тетрадь с надписью «Песенник к юбилеям».

– Давай, мужик, – кричала тетка, нависая над Монею всем своим крашеным блондинистым великолепием, – сейчас мы им споем наше, русское!

Лиза с трудом водворила деда на собственную свадьбу, очень, на его взгляд, скучную.

– Что для вас на горячее? – спросил официант. – Курицу, свинину или, может быть, наше фирменное блюдо – котлету по-киевски?

– Свинину. В вашей котлете небось все сразу: и курица, и свинина... – строго ответил Моня.

Вот запомнится же такая ерунда! А ведь сколько хорошего пришло к Лизе в день свадьбы. Завидное место в редакции, четырехкомнатная квартира, машина, спокойная уверенность в Игоре, а теперь еще и любовь... Любовь была, правда, приправлена грызущей обидой: она всего-то и хотела показать Ане, как ей повезло, чего она добилась в жизни. А что получилось? Ане опять досталось самое лучшее?

Лиза с мужем и его старенькой мамой уехали домой. Теперь уже не к ним, а к себе домой. Ей всегда казалось, что добротные квартиры в сталинских домах символизируют надежность и устойчивость, и живут в них как-то особенно достойно. Теперь и она будет так жить, стабильно и уютно.

Лиза с мужем и свекровью подробно пили чай с остатками торта, прихваченного Инной Сергеевной из ресторана. Тут в уголке, под занавеской в красный горошек, теперь ее место, здесь она будет сидеть вечерами завтра, через месяц, через годы...

– Игорь, оставь Лизоньке кусок с розочкой и безе! – Лиза была равнодушна к сладкому, но свекрови казалось, что все маленькие девочки-внучки должны быть счастливы при виде торта и конфет.

Лиза тоскливо разглядывала огромную желтую розу на блюде, размышляя, не стошнит ли ее от волнения и усталости, приправленных жирным кремом.

– Мамочка, Лиза больше любит соленые огурцы и квашеную капусту. – Игорь улыбался, а губы нервно подрагивали, на одной щеке ямочка появилась, а на другой нет. Так всегда бывало, когда сильно волновался.

Поддержав молоденькую невестку перед первой брачной ночью, Инна Сергеевна ушла к себе. На прощание она так жалостно поглядела на Лизу и так нежно погладила ее по плечу, что Лиза, полностью войдя в роль, затряслась и затравленно посмотрела на Игоря.

В темноватую спальню с очень взрослым румынским полированным гарнитуром она вошла как настоящая невеста, смущаясь и не глядя на мужа. Шкаф с зеркальной дверцей, широкая кровать, две тумбочки по бокам. В этой спальне он спал с первой женой. Лиза еще ни разу не бывала с ним здесь. Игорь не хотел расстраивать маму и приводить домой «женщин», и Лиза была у него в гостях всего два раза. Первый раз все у них произошло как-то торопливо и застенчиво, как будто он не взрослый человек с положением, а мальчишка, который привел девочку на полчаса, пока мама вышла в булочную. А на второй раз она уже знакомилась с Инной Сергеевной в качестве невесты. Лиза ни разу не оставалась у него ночевать, мама была бы очень разочарована.

«Ты мне будешь внучка, а не невестка», – сказала она Лизе. Раз внучка, зачем расстраивать маму, Игорь не ребенок, вполне мог подождать до свадьбы.

Лизе хотелось плакать, а Игорю Петровичу хотелось Лизу в белом свадебном платье.

«Ты устала, маленькая», – смущенно прошептал он, и Лиза быстро повернулась к нему: «Нет-нет». Как странно, она любит его. Правда любит, но только... Почему у него такое мягкое тело, живот... а у Олега такие длинные ноги, крепкие плечи и улыбка... Лиза все-таки немножко заплакала, отвернувшись к зеркальному шкафу. Совсем тихо, он ничего не заметил.

Представив, как Олег обнимает ее сестру, она скрипнула зубами и застонала. Олег обнимал Аню, но не теперешнюю, а из детства. Почему-то именно сейчас, в первую брачную ночь, перед ней всплыла та картинка из детства, которую она не вспоминала никогда. Аня лежала перед ней с поднятой ночной рубашкой, толстая, с розовыми стрелями на теле... Лиза несколько раз вздрогнула в оргазме, и Игорь Петрович благодарно поцеловал свою молодую жену.

Лизе снился сон. Сон странный: проснулась, вроде все помнит, а словами не рассказать. Приснилась любовь, не секс, нет, ничего такого, она даже ни разу до Олега не дотронулась, а любовь... «Я хочу потрогать тебя и не могу... Протягиваю руку, а ты отодвигаешься... Я не буду, не буду трогать тебя, буду любить тебя издалека, буду сама по себе, и ты сам по себе... А потом ты вдруг так улыбнешься, что я пойму – мне можно погладить тебя...

Один раз, пусть хотя бы раз, только чтобы узнать, какое же это счастье...»

Проснувшись Лиза на влажной от ночных слез подушке в двуспальной кровати из полированного румынского гарнитура.

Лизина свадьба была задумана как чинный ужин, а не разудалое гулянье до утра, и уже в начале двенадцатого Олег с Аней оказались на Невском.

– Ты привязана к родителям, как детсадовка! – обиженно сказал Олег, и лицо у него стало, как у маленького мальчика. – Неужели не могла соврать, что идешь ночевать к подружке!

– У нас это не принято. Я должна быть дома в двенадцать, ну в час, не позже. Но лучше в двенадцать.

«Не принято», – уважительно отметил Олег.

– Поедем ко мне, Золушка, я не забуду, что в двенадцать твоя карета превратится в тыкву.

Когда Аня сегодня уходила, Дина быстро, не глядя на нее, спросила в дверях: «Надеюсь, ты не позволяла ему ничего лишнего?» Она сморщилась так брезгливо... Сейчас Аня грустно размышляла, что, по мнению Дины, «лишнее» – целоваться в парадной, целоваться вообще, а уж визит к Олегу она совершенно точно сочла бы лишним.

Они направлялись в общежитие. В комнате жили трое: три койки, три пустые тумбочки, один стол, одна пепельница. Олег, еще один студент и один аспирант. Аспирант не считался, он почти не бывал здесь, со студентом они друг друга не стеснялись, оставляли девчонок ночевать на соседних койках, так что Олегу казалось, будто живет он почти один.

Аня шла рядом с ним по лестнице и боялась. Больше всего боялась Олегу не уступить и еще немного боялась уступить. Если отказаться... Аня не могла назвать то, за чем они шли в общежитие, никакими словами. Если отказать ему в «этом», он мог рассердиться, обидеться, не захотеть с ней больше встречаться, в общем, об этом не было и речи. При взгляде на него горячий вихрь метался по ее телу, так что она хотела «этого» не меньше, чем он, только вот... она же не девушка. Как объяснить, ведь он подумает, что она порочная, спала со множеством мужчин. В романах говорилось, что мужчина ценит девственность своей подруги, начинает относиться к ней с особенной нежностью, и связь эта кажется ему не случайной, а значительной. И у Франсуазы Саган так написано. Может быть, рассказать

ему правду? Он может не поверить в ее детскую историю. Не хочется плохо говорить о Лизе, да и себя выставлять беспомощной толстой жертвой неприятно...

Все происходило так, как мечтала Аня, как читала в книгах. Олег касался ее так легко, что страх и напряжение быстро растворились в благодарности ему. Уткнувшись лицом в подушку Олега, она ощутила его запах и просто потекла от нежности, почти перестав наконец контролировать каждое свое движение. Она гладила его все более беспорядочно, стараясь только не опускать руку ниже ремня джинсов. Ей было неловко дотронуться до него внизу, кроме того, она была убеждена, что этого места касаться неприлично.

В дверях повернулся ключ, и Аня в ужасе потащила на себя тонкое одеяло.

– Это мой сосед пришел, не волнуйся, все нормально, лежи тихо, – прошептал ей Олег.

– Ребята, извините, что я так рано, я на вас не смотрю, сейчас лягу и усну в момент, – пробормотал сосед.

Прежде чем улечься, он подробно выяснил у Олега, где лекции по необходимым ему в ближайшее время предметам. Аня лежала, накрывшись с головой тонким одеялом в сером пододеяльнике. Встать и одеться при них обоим было невозможно, строго или шутливо попросить их выйти еще более невыносимо, она не смогла бы произнести ни слова. Пришлось лежать с головой под одеялом и уговаривать себя, что когда-нибудь этот ужас должен закончиться и вообще все это происходит не с ней.

Сосед наконец закончил беседовать и улегся.

– Будьте счастливы, ребята! – пожелал он напоследок. – Все, меня нет.

– Олег, он еще не спит, – отчаянно шептала Аня, не отрывая напряженного взгляда от соседней кровати, но Олег ее не слушал.

– Ну что ты лежишь, как оловянный солдатик! – громко прошипел он.

«Он недоволен! Все пропало! Что я должна делать?» – уже ничего не соображая, в панике думала она и понимала лишь, что чем-то ему не угодила. Все ее мысли были только о том, как бы сохранить всю себя под спасительным одеялом, проследить, чтобы наружу не вылезла ее голая нога. Она натягивала короткое, сбившееся комом одеяло на ноги, но тут же обнажалась грудь, и Аня тянула одеяло вверх. Олег нежно и настойчиво попытался изменить ее позу, но она изо всех сил вцепилась в край панцирной сетки, пальцы вошли в отверстия между пружинами. Ощутить холод чего-то постороннего, не имеющего отношения к телу Олега, оказалось приятно, и она лежала, боясь лишней раз шелохнуться,

поглаживая холодную металлическую поверхность. Ей казалось, что все ее ощущения переместились в кончики пальцев. Олег почему-то совсем не стеснялся соседа и, раздвигая ей ноги, стаскивал с нее одеяло. Когда она поняла, что лежит совершенно голая, сосед повернулся и издал громкий звук, то ли со сна, то ли нет. Аня впилась в него глазами. Человек на соседней кровати совершал какие-то ритмичные движения, наяву или во сне, она не поняла. Внезапно она встретила его взгляд и провалилась в какой-то беспамятный ужас...

– Ну ты даешь, ты чего так стеснялась? И потом... ты что такая бесчувственная?

– Я в первый раз, – по-детсадовски оправдывалась Аня. – И потом, мы же не одни...

– Осталось только добавить: «Я больше не буду, дяденька». А что значит «в первый раз», ты же не девочка?

– Я... Да, но это было давно, еще в школе...

Запинаясь, Аня пересказала Олегу историю, когда-то придуманную для нее Лизой. Жил-был мальчик-одноклассник... Что там у Лизы было... Ах да! Мальчик так сильно в нее влюбился, угрожал самоубийством, и она, Лиза, то есть Аня, мальчика пожалела...

– А после этого я больше ни с кем, ни с кем ни разу, правда! Нам пора идти, уже двенадцать часов, – горестно закончила Аня.

– Ну, вставай, Золушка! – Олег зевнул. – Почему вы, женщины, так любите рассказывать байки про свою потерянную девственность? «Я ни с кем ни разу...» – передразнил он Аню. – Если девица не девица, так обязательно какую-нибудь сказку расскажет, или что ее изнасиловали, или был только один, а ты второй...

Она очень его разочаровала. Пухлые, чуть приоткрытые губы, пышная грудь, круглая попка... От такой девушки ждешь совсем другого. Олег не любил никого обижать без нужды и, заметив ее погасшие глаза и надувшиеся губы, ласково погладил Аню по голове, поцеловал влажную румяную щеку и улыбнулся:

– Какая ты красивая, Анька! Не волнуйся, малыш, мне вообще без разницы, с кем и сколько раз ты спала. Я ведь не жениться на тебе собираюсь!

15 ноября

Кота Базилио и Лису Алису Аня расположила среди своих пластилиновых фигурок.

– Это называется счастье, – мечтательно сказала Лиса Алиса, – не

было ничего, а теперь все самые любимые люди рядом! Лиза пригласила в гости вместе с Олегом...

– Да, – кивнул Кот Базилио, – ты права, это называется счастье. И Олег, и Лиза.

Счастливое настроение омрачала только необходимость обманывать Дину, но ведь скрыть, недоговорить что-то не означает впрямую обмануть.

Лиса Алиса наострила хитрую мордочку, вильнула хвостом и прошептала:

– Скажи просто, что уходишь с Олегом в гости. К кому? Да к сокурснице, она очень приятная девочка, так и скажи: «Нет, мамочка, ты ее не знаешь». Вот так, очень просто. Ты уже не маленькая. Это не обман, не ложь, а так... военная хитрость, – посоветовала Лиса Алиса.

Лиза не строила никаких планов. Она обживала новое жилище. Старая тяжелая мебель, чужие запахи. Окна выходили во двор, поэтому в квартире всегда было темновато, зато в большом красивом дворе – горка, песочница и беседка, в центре двора елка с бумажной гирляндой. Так здорово! Лиза подолгу сидела на кухне у окна, бездумно разглядывая двор. Нет, одна мысль все же у нее была: «Какое счастье, что я здесь, а не дома». Вот и вся мысль.

Даже самой себе Лиза не признавалась, что план все же имелся. Она просто пригласила Аню в гости. В гости. Аню. «Я могу его иногда хотя бы видеть. Просто буду его любить, никому от этого не хуже, – убеждала она себя. – И с Аней мы опять вместе».

Игоря не было дома, они втроем посмотрели по видео какое-то кино, вернее, Аня с Олегом посмотрели. Лиза сидела очень прямо, положив руки на колени. Она и не представляла себе, как это трудно – неподвижно сидеть рядом с ним. Улучив минуту, Аня быстро нашептала ей: «Лиза, у нас все уже было, я его люблю...» Лиза не хотела никого обманывать, и плана у нее никакого не было.

Сейчас Аня войдет в комнату, сядет на свое место рядом с Олегом, он положит руку ей на плечо... Лиза очень торопилась. Она подошла к Олегу, встала на цыпочки и прижалась к нему на минуту, ощутив, какой он высокий. Страшно очень, но невозможно, чтобы этого не было. Когда Олег целовал ее, легко и удивленно, как бы не всерьез, он держал ее за руки. Лиза коснулась его жесткой щеки с отросшей за день щетиной, и ей показалось, что она сейчас упадет в обморок. Все ее страхи стоили этой минуты! Но ведь Олег не всерьез, вот он уже отодвинулся от нее, сейчас войдет Аня, а вскоре они уйдут.

– Я ведь могу помочь тебе. С жилплощадью. Если захочу. Игоря попрошу, у него всюду связи. Он ведь начальник стройуправления, ты это помнишь? А если захочу, он тебя пристроит так, что сразу будет служебная жилплощадь, – тараторила Лиза. – Комната. Или даже сразу квартира. Есть много возможностей. Если я захочу...

– А что я должен делать, чтобы ты захотела?

Олег улыбался, Лиза уплывала, а Аня беседовала с Инной Сергеевной. Заглянула к ней, решив, что старушке скучно одной, и попалась. Сидела покорно, фотографии рассматривала в ее альбоме. «Вот Игорек маленький... А вот он с друзьями... А вот его первая жена... Вы, Анечка, только не говорите Лизе, что я вам показывала, вдруг ей будет неприятно, она хорошая, чистая девочка, не то что эти, современные. Игорьку повезло».

– А что я должен делать, чтобы ты захотела? – повторил Олег, хотя все было и так понятно. Он чувствовал ее влечение столь ясно, что на долю секунды ему показалось, будто она предложит ему себя прямо сейчас. При чем здесь какая-то служебная жилплощадь, к такой-то страсти? Бедная Лиза!

Олегу было ее жаль.

Он возмущенно фыркнул. Его никто еще не покупал, не заставлял спать! Разве можно заставить мужчину, если он не хочет? К тому же она ему не нравилась, ну не привлекала, и все тут. Тощая, угловатая, с никаким остреньким лицом. Сейчас он уйдет отсюда и даже не вспомнит, как она выглядит. Разве ее можно сравнить с Аней? Мышь! И как все-таки неженственно предлагать так впрямую...

Лиза подумала: «Еще минута, и я упаду в обморок, просто свалюсь здесь, и все».

– Приходи ко мне завтра, только не опаздывай, свекровь уходит к врачу, это не очень долго, у нас будет два часа.

16 ноября

Олег пришел. Не из-за ее идиотских предложений комнаты или квартиры, просто из любопытства. Посмотреть, как она будет себя вести.

– Мужчину заказывали? – спросил он в прихожей. – Распаковывайте!

Дом пока совсем чужой, Лиза и так-то не ощущала себя хозяйкой, а тут еще Олег. Она почувствовала себя самозванкой и чуть не заплакала. Лиза провела Олега в спальню и, не глядя на него, сказала тонким голосом первоклашки: «Отвернись на минутку!» В спальне горела лампа, и сначала он увидел Лизу в зеркале. В зеркальном отражении она казалась маленькой,

беззащитной и робкой, сидела на кровати, поджав колени к подбородку, как ребенок. Коленки были некрасивые, острые.

– Дорогие молодожены! – обратился он к их общему отражению. – Советская семья – это ячейка общества... – Олег перевел глаза с зеркала на Лизу.

Она царапалась, стонала и вскрикивала, впиваясь в него так жадно, будто не могла напиться, а когда все закончилось, опять уселась на постели с поджатыми к груди коленками и замерла. От Олега шел запах пота, оказалась, что это вызывает в ней какую-то уж совсем невыносимую нежность.

Олег рассматривал ее чуть брезгливо. «Кстати, у начальника стройтреста огромные возможности. Или кто он там... наш муж, замначальника? Не важно, у него тоже. А вдруг это реально, помочь с квартирой, пусть хотя бы с комнатой...» Спросить про все, что Лиза ему наговорила, было неловко, с другой стороны, она сама поставила все точки над i... Нет, неудобно, он же все-таки не проститутка. В следующий раз она, возможно, скажет сама.

Лиза оделась мгновенно, как солдат по тревоге. Теперь, когда все закончилось, ей стало страшно того, что она наделала, и казалось, она не сможет произнести ни слова.

– Через неделю в это же время. Не опаздывай, – холодно сказала Лиза.

Странно, как будто не она только что... Как будто и правда купила, никаких нежностей ей не надо, только голый секс. Если так, и он не будет стесняться.

– Киска моя, как насчет служебной жилплощади? А кстати, как ты собираешься объяснить мужу свой интерес к моей судьбе? – В голосе прозвучали просительные нотки, и ему самому стало так противно, что захотелось немедленно ее обидеть. – Мне не жалко переспать с тобой разок бесплатно, но дело есть дело.

Вот так ей и надо, будет знать, как использовать его словно проститутку!

– Это мои проблемы, – холодно ответила Лиза. – Тебе пора. Приходи через неделю, я уже, может быть, что-то узнаю.

Закрыв за Олегом дверь, Лиза поняла, что только что приняла Олега в чужом доме, и испугалась так, что ее бросило в жар. Она даже не сразу смогла повернуть ключ в замке – стояла и теребила рычажки дрожащими руками. Села на свое место у окна на кухне, посмотрела вниз на елку. Какая красивая!

– Лизонька, ты дома? Я тебе мороженое принесла, – крикнула свекровь

из прихожей. – Ты какое больше любишь – трубочку или эскимо?

– Эскимо, – отозвалась Лиза неожиданным басом, ущипнув себя за руку так, что синяк держался неделю. Вечером, как обычно, пили чай на кухне.

– Ты диплом на рецензию отнесла? – спросила свекровь. – Нет еще? Смотри не задерживай. А материал, который вчера писала, сдала в редакцию?

Вдвоем с Игорем Лизе было бы неловко, а с Инной Сергеевной – как-то особенно тепло. Кому-то ее интерес к Лизиной жизни мог показаться слишком навязчивым, а Лиза считала, что чем больше говорит свекровь, тем меньше видна невесткина растерянность и вина ее не так очевидна, вот же, все хорошо, сидят, чай пьют, разговаривают.

«Лизонька, корми мужа сама! Теперь ты хозяйка в доме», – приговаривала Инна Сергеевна. Если бы Лиза могла соображать, если бы ее хоть ненадолго отпустила непрерывная ноющая боль, то ей стало бы очень стыдно перед свекровью за такую ее простодушную доброжелательность. Да что там доброжелательность, Лизе казалось, что Инна Сергеевна ее уже почти что любит. Больше всего на свете Лиза хотела бы вот так сидеть с мужем и свекровью, посматривать в окно на большую елку, любить Игоря и думать, как замечательно все устроилось в ее жизни.

«Игорь ничего не заметит», – говорила себе Лиза, ложась в постель. Он не должен отвечать за ее сумасшествие, он милый, ласковый, она его любит! Лиза закрыла глаза. От Игоря пахло чистотой и французской туалетной водой. Она привычно представила Олега и непроизвольно сморщилась, когда человек, обнимающий ее, оказался все-таки не Олегом.

Каждый раз все происходило одинаково. Каждый раз Лиза открывала Олегу дверь, как в прорубь с размаху бросалась. Она старалась не показать ему, как ей страшно. Ей было стыдно, что она прислушивается к звукам на лестнице. Лиза прекрасно понимала, как рискует: в любую минуту у свекрови что-то могло измениться, Олега могли заметить соседи, да все, что угодно, могло произойти и раскрыть ее жалкую любовь в чужом доме, ее слабенькую, жалобно плачущую тайну. Поделаться ничем не могла, все происходило помимо ее воли. Каждый раз, закрывая за Олегом дверь, говорила себе: «Последний раз пронесло, спасибо тебе, Господи, я больше не буду».

Каждый раз Олег говорил себе, что больше к ней не придет. Каждый раз приходил и на пороге заявлял, что это в последний раз. Лиза встречала его такая молчаливая и зажатая, что даже двигалась сначала, как деревянный человечек на шарнирах. Совсем ребенок на вид – детские

коленки, сжатые губы, – а в постели бросалась на него не помня себя. Секс с Лизой был каким-то неприлично открытым, вседозволенным, она не стеснялась никаких движений, никаких слов. Страсть, взрыв, а потом – раз, и опять деревянный человечек на шарнирах. Лиза ходила туда-сюда, из закомплексованного подростка в раскованную и даже порочную женщину и обратно в подростка. Может быть, это странное мгновенное превращение его и привлекало.

– Вот билеты. Дефицит! – Додик протянул Ане билеты, спохватился и отдал Олегу. – На этот спектакль попасть невозможно, – похвастался он.

Дина неодобрительно наблюдала за ними. Олег попрощался, сопровождаемый ее вежливой улыбкой. Улыбка была отдельно, а Дина отдельно, она даже не затруднила себя с улыбкой совместить.

Во время действия Олег держал Аню за руку, перебирал пальцы, гладил... «Какие разные эти сестрички, – думал Олег. – Аня милая, нежная... как кусочек сахара, как блинчик с вареньем... А Лиза будто иголка поперек рта». Ему нравилось, что на Аню везде обращают внимание, нравились походы в театры по добытым Додиком дефицитным билетам, нравилась Аня, мягкая и безопасная.

– Малыш, поедem ко мне, – предложил Олег после спектакля.

Аня испуганно отшатнулась и молча покачала головой.

– Ну ладно, как хочешь.

Почему-то Олег совсем не расстроился и, поцеловав Аню на прощание в подъезде, даже испытал облегчение. После этой ее бешеной сестрички не хотелось тащиться с Аней в общагу, а потом еще и провожать через весь город... «Нет, – прислушался к себе Олег, – неохота».

Лизе хотелось знать про Олега все. Сама она никогда не расспрашивала, а он откровенничал нечасто.

– А мы с Аней ходили в БДТ. На премьеру. И завтра идем на какой-то дефицитный спектакль. Отец ее нам билеты достает, – похвастался Олег. Надо же о чем-то говорить, хотя бы в перерывах.

– Как спектакль называется? – мертвым голосом произнесла Лиза. Надо же что-то ответить, хотя бы из вежливости.

– Не помню, что-то про лошадь. Шучу! «История лошади» с Лебедевым, я давно мечтал посмотреть. Классный мужик ее отец!

– Да, – кивнула Лиза, – классный.

Они с Олегом встречались только в постели, и весь их мир, ущербный и крошечный, – это всего лишь полутемная спальня и кровать с

полированными спинками... А с Аней Олег ходил в театр, наверное, держал ее за руку, провожал домой. Вот бы очутиться с ним хотя бы просто на улице, где угодно, только не в этой кровати!

– А еще мы ходили в гости, в кино, а в субботу едем к моему другу на дачу.

– Тебе с ней как... хорошо?

Олег заметил ее закусенную губу, и ему почему-то захотелось сделать ей больно.

– Аня очень красивая...

– А я с мужем про тебя поговорила. Пока он ничего конкретного не сказал, в принципе возможно, но сложно. – Лизе тоже захотелось сделать ему больно. – Ладно, давай... еще раз, тебе уже уходить через полчаса.

Может быть, если она покажет ему, что он ей нужен только для постели, ему тоже будет больно? Нет, вряд ли, это ведь она его любит...

Олег ушел, а Лиза вернулась в спальню и свернулась клубочком на кровати. Лежала тихонечко, думала, а потом вдруг вцепилась в подушку зубами. Обречена их любовь, ну то есть ее любовь, свежего воздуха нет, нет жизни! Лиза прокусила в подушке дырку.

– А почему у нас по комнате пух летает? Малышка, ты что, грызешь подушки во сне? – спросил Игорь на следующее утро.

«Это потому, что у меня рыльце в пушку», – мрачно пошутила про себя Лиза.

2 декабря

Додик с Диной и не помнили, когда в последний раз вдвоем, без Ани, разговаривали ночью на кухне. Секретов от дочери у них не было, а просто пошептаться не возникало надобности лет так десять, наверное. Сейчас оба чувствовали себя одинаково непривычно и стеснительно, будто чужие друг другу люди...

– Аня в него влюблена, – грустно начал Додик.

– Мне этот мальчик не кажется подходящим... Провинциал, зачем он нам, ни семьи, ни карьеры... Придется взять его к нам в дом, – заявила Дина, поморщившись при мысли, что чужой парень будет ходить по ее квартире. – Правда, он был комсоргом курса... и заканчивает на одних пятерки, я зачетку смотрела. За все годы ни одной тройки...

– Ты с ума сошла, Дина, при чем здесь его зачетка! – Додик нерешительно кашлянул. – Ну а как тебе, что он русский?

– Додик, о чем ты говоришь? Это вообще не важно... Русский, еврей... Есть свои минусы, есть свои плюсы...

Додику нравился Олег, он одобрительно посматривал на Аню рядом с ним. От черноволосой Ани и этого высокого светлого парня будут красивые внуки.

– Внуки... – оценивая в уме возможную перспективу, протянул Додик, – неплохо...

Аня уже заканчивает институт, а Олег ее первый мальчик. Додик пригорюнился. Он не мог примириться с тем, что вокруг дочери кавалеры, но... у нее никогда никого не было, это правда.

– Она его любит? Замуж за него хочет? Или так, играется? Что ты молчишь? – частил он, от волнения беспрерывно жестикулируя.

– Не играется, а играет. «Ся» – это возвратная частица. Можно умываться, одеваться, но нельзя играть себя... – машинально бормотала Дина.

Додик всплеснул руками.

– Додик, не кричи!

– Да не кричу я, господи! Любит она его? Кто у нас мать, ты или я?!

– Ты кричишь руками! И вообще об этом замужестве не может быть и речи! Я не для того растила дочь, чтобы она вышла замуж за провинциального искателя прописки и жилплощади! Меня не обманешь! Она, кстати, ни в чем не уверена... любит, не любит... Разлюбит, если будет надо! Между прочим, Кити тоже не знала, кого она любит, Вронского или Левина...

Додик на Вронского и Левина раздраженно махнул рукой:

– Это все ты, Дина, ты не давала ей вздохнуть! Она с утра не знает, как ее зовут, пока ты ей не скажешь... Шагу без твоей подсказки ступить не может! – От волнения Додик сказал то, что прежде говорил только себе, да и то когда Дины не было рядом.

– Ей нужна была твердая рука. Ты не все знаешь... – Дина впервые в жизни сказала чуть больше, чем было можно.

– Он ее любит?! Как ты считаешь, что ты думаешь, как ты полагаешь? Ну как тебе самой-то кажется? Дина! Я тебя спрашиваю, в конце концов!

– Говорит, что думает, что да...

– Я думаю, что она думает, что он думает... – передразнил Додик и тут же в ужасе понизил голос: – Почему она не уверена? Что ее смущает?

– Мне кажется, она хочет, чтобы он был как ты. Ну, шутил, не сводил с нее глаз, ты понимаешь...

– Так пусть будет как я, в чем же дело?! – Додик никогда ни в чем не отказывал дочери.

– Это ты виноват, ты слишком с ней возился, ей от любого будет мало

любви, мало внимания.

– Нет уж, это ты виновата, твоя тихая сучья порода, – распалился Додик. – Ты гоняла девочку как солдата на плацу, ты передала Анечке свою обиду, что она не самая умная, хотя это тебе вечно всего недодавали... – Додик подбоченился. – А кто, скажи мне, поссорился с Маней? Может быть, я? Анечка такая... как ангел...

– Любовь с расчетом крепче, ты же знаешь, Додик, как это бывает. – Дина владела собой лучше мужа и не собиралась спускать ему «сучью породу». – Мой отец немного помог тебе... сохранить свежесть чувств...

– Ну, в конце концов, мы с тобой прожили жизнь, а я ведь тоже сомневался... но в итоге все очень хорошо вышло.

– Что ты «тоже»?! – прошипела Дина и вдруг сникла, как проколотый шарик. – Додик... ты меня когда-нибудь... хоть немного?.. – Додик ни разу не сказал ей «Я тебя люблю» даже в молодости, а сейчас уже, конечно, поздно, так и не скажет.

Услышать такой вопрос от бесстрастной, словно в глубокой заморозке, Дины было так странно, что Додик только растерянно потер переносицу.

– Дина, помнишь, как в анекдоте... Жених говорит: «Но я же ее не люблю», а сваха ему отвечает: «Зачем вам эти страсти, влюбился, разлюбился... А так вы имеете уже готовое дело!»

«Господи, что я несу!» – Додик забегал глазами.

После паузы Дина спокойно, будто она и не спрашивала его о любви, продолжала:

– В конце концов все образуется. Будет другой, кто угодно, только не этот... красавец без кола без двора...

– Это моя дочь! Я решил... – Додик внезапно успокоился. – Я его просто убью, если он ее чем-нибудь обидит. Я тебя предупредил. Так и знай! – Поставив жену в известность о своих намерениях, он умолк и обиженно надулся.

7 декабря

Лиза только думала, что взрослая, а оказалось, маленькая. Растерялась, как ребенок. Она ребенок, и у нее ребенок будет. Игорь Петрович уехал в Австрию на три недели. Его не было, а Олег был. А когда Лиза поняла, что будет ребенок, страх выдавил любовь без остатка. Она же не виновата, что так все совпало: и свадьба, и любовь, и сестра, и беременность. Она и так держалась из последних сил, а теперь все, слишком много ей одной, Лизе... Любовь закончилась, остался только ужас.

Все раскроется, и ее ребенок останется в хрущевке и вырастет под

лакированными рогами. Она будет надевать ему шапочку на Манином довоенном сундучке. Потом, когда-нибудь, ребенок пойдет в ясли, она на работу. Куда ее возьмут? Может быть, по старой памяти машинисткой в редакцию. Так вот, потом, когда-нибудь, она купит в прихожую тумбочку вместо сундучка. И никогда ничего радостного в ее жизни не случится, кроме покупки этой тумбочки. Родители будут всегда жить с ней, отец – рассматривать свои спичечные этикетки, а она даже повеситься не сможет, потому что надо растить ребенка...

Ребенок, девочка, у нее точно девочка, Катюша! Катюша не будет расти без отца, и такой подонок-отец, как Олег, ей тоже не нужен. Им обоим нужен Игорь, спокойный, надежный, а он обрадуется ребенку.

Игорь, милый, дорогой. Как же она могла, это было просто какое-то затмение! Олег... он же просто омерзительный тип, он встречался с ней и с Аней одновременно, да еще рассказывал ей интимные подробности про сестру...

План сложился не сразу. Несколько ночей Лизины мысли кружили вокруг аборта. Чувствительной за них обеих всегда была Аня, она бы ни за что не еделала аборт, а Лиза была черствой, жесткой, плохой. Но вот об аборте почему-то не могла даже думать. И потом, она же все-таки замужем.

Вот теперь у Лизы действительно был план. План собственного спасения. Самое главное, чтобы Олег не узнал, что она беременна. И они должны расстаться, навсегда расстаться, так, чтобы не увидеться больше никогда. Ни с ним, ни с Аней. Никогда!

Они всегда встречались только в Лизиной полутемной спальне, но сегодня Лиза ждала Олега в прихожей одетая и на звонок не впустила его в квартиру, а вышла сама.

– Больше приходиться не надо, – сказала она.

Лиза думала, что после этих слов Олег сразу встанет и уйдет.

– А твоему мужу будет приятно узнать, что ты на следующий день после свадьбы уже выскакивала из штанов, так хотела со мной спать?

Ему почему-то было больно. Он и не ждал ничего всерьез от ее мужа, и Лиза ему не нравилась, но он же не сломанная игрушка, чтобы его так просто взять и выбросить за ненадобностью! Пусть ее муж устраивает его на работу, делает прописку, площадь, она же этим его приманила. В конце концов, из-за нее он изменял Ане, которую он любит. Вот на Аню он любовался как на картинку, а эта нескладная девица с торчащими зубами....

– Ты меня просто шантажируешь, это же подло! – удивленно произнесла Лиза. – Я ни минуты не собиралась просить за тебя мужа, я думала, ты понимаешь, что это просто была... Ну надо же мне было что-

нибудь тебе сказать! С какой стати моему мужу тебе помогать, кто ты мне?

– Кто я тебе? – Олег и сам не понимал, почему ему стало так обидно. – Ты со мной спала! Вот и сказала бы, что я твой любовник!

– Олег... пожалуйста... оставь меня в покое. Я не могу ничего для тебя сделать. Хочешь, вот возьми, больше у меня ничего нет. – И Лиза сунула Олегу подаренную Аней прабабушкину брошку.

Лиза сама не знала, как ей в голову пришла странная идея от него откупиться. Билась только одна мысль: надо сделать так, чтобы он ушел навсегда, он не должен знать, что она беременна, она умрет, если ее ребенку будут грозить нищета, неустроенность.

Она ушла. Олег остался на лестнице, ошеломленно глядя на захлопнувшуюся перед ним дверь. Он не хочет больше ее видеть, даже чтобы отдать эту ненужную чужую безделушку. Пожав плечами, Олег брезгливо швырнул брошку в карман куртки.

Лиза не собиралась за него просить, Олег не собирался ничего рассказывать ее мужу, а уж тем более брать эту брошку. Странно все вышло.

«Дурак ты, – говорил себе Олег, усевшись на замерзшей скамейке во дворе Лизино дома. – Размечтался, мысленно уже видел себя обладателем отдельной квартиры в Ленинграде... хоть и не верил Лизе, а все же надеялся, вдруг и правда поможет... Аня... Придется жениться...» Не хотелось связывать себя, но и жениться на Ане тоже вполне привлекательная мысль. Он давно чувствовал себя ленинградцем и покидать Ленинград не собирался.

20 января

С Аниным распределением возникли проблемы. Додик бесхитростно желал научной карьеры для дочери, мечтая об аспирантуре так, как его местечковые предки мечтали выучить своих детей. Ему не удалось сделаться ученым, а его дочь станет кандидатом наук, затем, возможно, доктором, будет преподавать в институте. Волшебные слова «кандидат наук», «кафедра», «диссертация» манили его всегда. Так же, как он добывал для Анечки дефицитные продукты и вещи, во что бы то ни стало надо было добиться аспирантуры. Аспирантура была мерилom родительской любви и залогом Аниного счастливо устроенного будущего.

Сначала показалось легко. В разных местах пообещали, Додик ходил петухом с выражением усталой скромности на лице. Потом вдруг оказалось, что в одном месте не вышло, вместо двух обещанных кафедре мест осталось одно и взяли кого-то другого, в другом месте произошел

облом без объяснений, а из третьего сегодня без стеснения передали, что они взяли бы Аню, будь она русской. Заветная степень и устроенное будущее Анечки уплывало, становилось недостижимым. Додик метался, страдал, понимал, что не выходит, и не соглашался признать очевидную неудачу. Помимо всего прочего, неудача была оскорбительна для него как Анечкиного папы, в его жизни еще не случалось так, чтобы он не запихнул в Анечку того, что считал полезным. Из вечера в вечер Дина спрашивала, как двигаются дела, сначала оживленно обсуждала с ним все перипетии, а теперь замкнулась. Лицо ее становилось все суше, а губы сжимались во все более тонкую нитку. Додику даже домой не хотелось идти.

– Ну что? – спросила Дина, открыв ему дверь.

– Ты бы хоть поздоровалась, – огрызнулся Додик.

Бросившись на затравленность в Додиковых глазах как зверь на запах крови, Дина безнадежно произнесла:

– Все ясно. – Повернувшись, ушла на кухню жарить котлеты.

Все это было непривычно, обидно и невыносимо. Как будто он, Додик, был никуда не годным мужем и отцом. Как будто он, Додик, плохо старался для единственной дочери.

– А что говорит Краснов?

Краснов был одним из летних друзей по преферансу, перешедших в разряд просто друзей, и последней Додиковой надеждой.

– Да неужели я свою дочь не устрою! – беспомощно воскликнул Додик, прижав руки к груди, а в глазах заплескалось: «Не устрою, не получится».

Дина сжала губы и замерла. Ей, как и мужу, казалось, что жизнь пойдет прахом, если не выйдет задуманного. Всегда так каменела в моменты крайнего волнения, превращалась в памятник, что хотелось крикнуть: «Дина, отомри!» Больше всего на свете Додик боялся такой ее напряженности. Дина стояла к нему спиной, жарила котлеты, но спиной выражала все, что думает о муже.

– Краснов сказал, что они не хотят брать еврейку... Он же сам еврей и боится. Я его понимаю... – Додик не понимал, как дальше оправдываться перед женой. – Черт, ведь она же могла быть записана русской, он же русский... и не было бы этой проблемы... – в отчаянии пробормотал он.

Дина обомлела. Не оборачиваясь, она прошептала:

– Как это? Что ты имеешь в виду?

– Неужели ты думала, что я не умею считать, Дина? – Додик был так расстроен, что уже ничего не боялся.

Дина сжала в руке розовую массу, потом, аккуратно слепив котлету,

бросила на сковородку. Самый главный страх ее жизни оказался будничным и совсем не страшным. Она так и не повернулась к мужу – молча продолжала жарить котлеты, как обычно, тщательно и красиво накрыла на стол и, усевшись напротив мужа, спросила:

– Может быть, попробовать прямо через завкафедрой? Прямой путь иногда самый правильный.

Папа всегда говорил немного на повышенных тонах, и сейчас ему, видимо, казалось, что он шепчет. А она услышала. Аня тихо отступила к себе в комнату, выдвинула пластилиновые фигурки. Лиса Алиса и Кот Базилио стояли, повернувшись друг к другу лицом, как будто шептались. Свесившись с кровати, Аня принялась передвигать фигурки, поставила розовую пластилиновую собаку на место балерины в пачке. «Пачка получилась толстовата, – озабоченно подумала она, – надо бы переделать». От мысли, что папа оказался не родным, Аня отмахнулась легко: она твердо знала, что это было не стоящей размышления ерундой, их с отцом любовь была безусловной, как жизнь. Важнее сейчас другое.

Аня играла сама с собой в приятную игру, как бы обдумывая серьезную проблему – выходить ли ей замуж за Олега. Настроение у нее было тихо-счастливое, словно кто-то пушистый уютно устроился внутри и хитренько улыбался. На самом деле Аня знала, что никаких сомнений у нее нет и быть не может, но для большего уюта и продления радости она делала вид перед собой, что есть в чем посомневаться, хмурила брови, делала сама себе важное лицо.

Дочка Лены-с-работы уже вышла замуж, и очень успешно – за молодого кандидата наук. Дина сообщала ей это не очень часто, всего лишь через день. Это – раз. И в группе многие девочки замужем, некоторые уже мамы. Это – два. Олег первый красавец на своем факультете, девочки от него умирают, а он хочет на ней жениться, сделал ей предложение с цветами и шампанским. Это – три, а три аргумента «за» – очень много. У девчонок из группы, как правило, был один – или беременность, или ленинградская прописка. А тут три... И самое главное, сердце по-прежнему замирало: ноги длинные, губы жесткие, а улыбка... Он так внимательно слушает ее, у него такое тонкое восприятие мира, и детство было такое безрадостное, она будет очень любить его маму, бедная, у нее такая тяжелая жизнь... В конце концов, как Дина скажет, так и будет. Оказывается, она совсем не такая святая и безупречная. Значит, Дина не всегда права, а она, Аня, не обязательно всегда виновата. Надо воспользоваться моментом, когда они находятся, как выражалась Дина, «в растрепанных чувствах». Сейчас она пойдет к родителям, заплачет, и папа разрешит ей выйти замуж,

как разрешал всегда и все, а мама... Маму она уговорит.

Аня заплакала:

– Я его люблю, а он не делает мне предложения, потому что знает, как мама к нему относится...

– Я сказала, этот брак только через мой труп, – монотонно повторила Дина.

Додик метался между ними, подскакивал к плачущей Ане, гладил ее по голове и тут же виновато усаживался рядом с Диной, бессмысленно повторяя:

– Девочки, зачем так переживать, давайте все спокойно обсудим.

Когда Додик вышел из кухни, Аня бросилась к матери:

– Мама, я все слышала. Ты была... ну, у тебя должен был быть ребенок... я то есть... У тебя что-то не сложилось, а теперь ты мешаешь мне. Если ты не примешь Олега, я скажу папе, что я все знаю... – Аня осеклась под ледяным взглядом матери. – Прости, пожалуйста.

Инна Сергеевна открыла Ольге входную дверь и с ходу, не дав ей раздеться, бросилась шептать:

– Олечка, я так рада за Игорька и за Лизочку, что все время боюсь сглазить. Так целыми днями хожу и плюю через плечо, старая дура!

– Твоя свекровь просто святая, – сказала Ольга, рассматривая приготовленный Лизе ужин. Домашний творог, в нем много кальция, отдельно в мисочке изюм, курага, грецкие орехи. На синем блюде апельсин и яблоко. – Она тебя целыми днями окучивает, рыхлит, поливает.

– Поздний внук, сама понимаешь, – лениво ответила Лиза и погладила свой плоский живот.

– А Игорь Петрович... то есть Игорь, он тоже сошел с ума от счастья?

– Ага, оба обезумели. Игорь каждый день приносит фрукты. Приходит с работы и говорит: «Я сегодня весь день думал и окончательно решил, мальчик будет – Алеша, а девочка – Ксюша». И так каждый вечер, и каждый вечер разные имена... А вообще-то нам кажется, что у нас девочка... Катюша, Ксения... Мы еще точно не решили.

Гордился Игорь, испуганно радовалась Инна Сергеевна. Оба они относились к Лизе так трепетно, словно боялись расплескать неожиданно доставшийся в пустыне кувшин с водой. Лиза и сама была счастлива не меньше, ей больше не нужно было так невыносимо бояться, что все раскроется, не нужно было страдать, что с Олегом у нее нет будущего, не нужно было плакать оттого, что он встречается с Аней. Наконец-то ничто не мешало ей любить мужа, она его любила за себя и за девочку. Лиза

радостно ложилась с Игорем в постель, тело его больше не казалось ей неприятно мягким, чужим, не Олеговым. Не надо притворяться, что все хорошо, и как-то неожиданно все действительно стало хорошо, и оргазм, который приходил к ней каждую ночь в супружеском сексе, был тоже мягким и уютным, как волны. И очень хорошо, замечательно! Об Олеге Лиза и не вспоминала. Она чувствовала себя как перед началом учебного года – куплены тетради, дневник заполнен, карандаши наточены.

Олег сделал предложение. Додик с Диной суетливо поставили цветы в вазу, выпили принесенное им шампанское, старательно обходя в разговоре тему свадьбы, и когда жених ушел, оказалось, что они ответили ему официальным согласием.

– Вот и комната теток пригодилась, – меланхолично проговорила Дина. – В дом я его не пущу. Пусть поживут там немного, потом посмотрим.

– Недолго. Недолго поживут, пару месяцев, да? – Не дождавшись ответа, Додик задумчиво добавил: – Знаешь, я ему скажу так: я на Анечкиной маме женился исключительно по любви, и вам желаю прожить не хуже нас...

Додик не спал, ждал ее, и впервые за долгое время они опять были близки, как-то непривычно нежно и грустно. Додик глотнул корвалола и заснул, а Дине не спалось.

Испытанным способом борьбы с бессонницей всегда была проверка сочинений. Сейчас она взялась проверять сочинения по «Войне и миру», надеясь, что незатейливо проанализированные образы литературных героев моментально убаюкают ее, как это бывало обычно. Открыла первое сочинение, рассердилась на глупые ошибки и отложила стопку тетрадей в сторону. Полистала журналы, попробовала читать и бросила. Зашла в комнату к своим зверям, поменяла местами простодушного белого медведя и хитромордого, не похожего на настоящего, осла. Осла подарил в прошлом году шестой «Б». У Дины с детства была отличная память, но на всякий случай к лапе каждого зверя прикреплялась бирка. На бирке аккуратным учительским почерком Дина обозначала год, класс и две-три фамилии любимых учеников. Она вытащила из груды разноцветных зверей старого свалывшегося медведя, примостилась на кушетке, осторожно положила голову на неправдоподобно хитромордого осла и, уткнувшись в медведя, наконец задремала.

1946—1983 годы

ДИНА

Дина пошла в первый класс в 1946 году. Школа в Графском переулке находилась по соседству с Толстовским домом на Троицкой, и первого сентября мелкая, не похожая на школьницу Дина, тоскливо волоча матерчатую сумку по мостовой, побрела туда сама. Мурочка, Динина мать, судя по фотографиям, была очень красивой, с мягко-задумчивыми нежными глазами, тонкими губами, небольшим прямым носом и легким выющимся облаком волос над высоким лбом. А Дина, похожая на маленькую некрасивую обезьянку, удалась в отца, Наума. Правда, Наум был мужчиной осанистым и корпулентным, и его не портили ни мохнатые брови, ни глубокие носогубные складки, ни даже отвисшие брылы, а пухлые, круто вырезанные губы и вовсе привносили в его лицо притягательный оттенок скрытых страстей.

У Дины тоже были мохнатые бровки и намек на маленькие брыльки, сочетание которых с небольшими глазками и вялым, чуть приоткрытым ртом с тонкими Мурочкиными губами вышло откровенно неудачным. К тому же Дина сутулилась и всегда была грустна, унылым выражением лица напоминая печальную мышь.

Скорее всего Дина от природы была предрасположена к мрачному восприятию мира, потому что, окруженная вполне любящими ее людьми, сколько помнила, всегда считала себя сироткой. Вернувшийся с войны, уже успевший пережить горе от потери Мурочки Наум нашел свою дочь не погибшей, здоровой, сытой и обихоженной. Он был пожизненно обязан жене младшего брата Мане тем, что дочка не умерла в блокаду и выжила в эвакуации, но не имел ни малейшего представления, как теперь быть с ней и самим собой. До войны у него была семья, и так же, как у внешнего мира не существовало нужды в Науме, так и у самого Наума не было нужды во внешнем мире. Он любил красавицу Мурочку, малышку Дину, все остальное находилось за гранью его интересов. Дочь казалась ему странным остатком прежде налаженного, подвластного ему хозяйства — семьи. Семьи больше не было, была только восьмилетняя, обритая наголо Дина, которая больше принадлежала выросшей ее Мане, чем ему. Конечно же, Наум не разлюбил дочь, скорее он разлюбил жизнь и не мог пока определиться, как же ему теперь жить, если не нужно хозяйствовать в своей маленькой ячейке. Наивная, нежная, не приспособленная к жизни

Мурочка всегда жила при нем, а теперь оказалось, что и сам Наум жил при жене.

С жалостью глядя на рассеянного Наума, безучастно треплющего дочку по щеке, Маня решительно говорила:

– Нема, тебе надо жениться. Женись, не бойся, за Диной я присмотрю.

– Да, папочка, женись, пожалуйста, поскорее, – шептала Дина, прижимаясь к маме Мане.

– Вот видишь, даже ребенок понимает! – удивлялась Маня.

Прикидывая, что может получиться для нее из предполагаемой женитьбы отца, Дина находила в ней для себя определенную выгоду. Она еще не привыкла к отцу и мечтала навсегда остаться при своей маме Мане, поэтому Манино предложение ее вполне устраивало. У мамы Мани был свой сын, Костя, но к нему Дина ее не ревновала. Костя младше на два года, он мальчик, а у нее, Дины, свои, совсем особенные с Маней отношения. Во всяком случае, Дина постарается, чтобы Маня принадлежала ей больше, чем всем остальным.

Наум настолько был сейчас равнодушен к дочкиному повседневному существованию, что, полностью оставив ее на Манино попечение, даже не поинтересовался, в чем Дина пойдет в школу. Маня нарядила ее по своему разумению, а разумение Манино было крайне простым – не раздета, ну и ладно. Если бы только бедная Мурочка, всегда так тщательно и красиво наряжавшая дочку, увидела сейчас Дину! Бритая наголо Дина направлялась в школу в Муриной коричневой юбке, дважды обкрученной вокруг живота пояском от старого халата, и голубой футболке от новой Наумовой кальсопары. Футболка была через край ушита на плечах, а сверху Маня кокетливо повязала шелковый шарфик, которым ловко замаскировала кальсонные пуговицы на груди. Первые слова, обращенные к Дине в ее новой школьной жизни, определили ее прозвище на целый год: «Эй ты, лысое чудовище! Смотрите, какая лысюга!» Так ее и прозвали – Лысюга.

Возвращаясь из побежденной Германии домой в Ленинград, Наум не захватил трофейных занавесей, кофточек и платьев, ведь Мурочки уже не было на свете. Он вез замечательный фотоаппарат с цейсовской оптикой. Еще в его гимнастерке лежала крошечная золотая лягушка, и он все время держал в кармане руку, поглаживая и лаская ее. Так, в теплой неге, лягушка и прибыла в Ленинград.

Маня сохранила Науму не только дочь. Она торжественно преподнесла ему сверточек. В белой тряпочке лежали два Мурочкиных колечка и материнская брошка, та самая, которая послужила причиной их довоенной ссоры. Моня тогда так глупо обиделся на брата за то, что брошка досталась Науму, а Маня так недостойно себя вела... Да что старое вспоминать. Маня Дину спасла. Каким чудом Мане удалось все это сохранить в блокаду, Наум не спросил, потому что не сумел удержать слез при виде колец, украшавших когда-то нежные Мурочкины ручки. Брошку он сразу же хотел отдать Мане в благодарность за Дину, свою девочку, но не отдал, ограничился отрезом на платье, а потом как-то не случилось повода, все было не к месту, и пошла, закрутилась суета...

Одно Мурочкино колечко, к сожалению, пришлось продать, жизнь ведь продолжалась. В одном из домов в проходном дворе между Владимирским проспектом и Троицкой два этажа занимало ремесленное училище. Пошептавшись с директором, Наум снял полуподвальную комнатку, заплатив вперед за два года, и еще немного за беспокойство. Еще пришлось заплатить в райисполкоме за внеочередное приобретение патента на частную предпринимательскую деятельность. В комнатке Наум установил трофейный фотоаппарат на высоких ножках. Кроме аппарата, в комнатке имелись стол и стул, конторку он соорудил сам, а на кладовку повесил табличку «Фотолаборатория». Так Наум стал хозяином фотомастерской.

В тихую его щель почти ежедневно просачивались самые разные люди. Не все заходившие в полуподвальную мастерскую люди хотели фотографироваться, многие предлагали купить самые неожиданные вещи, и постепенно Наум оказался втянут в круг покупающих и продающих. С подозрительными личностями осторожный Наум дела не имел, чуть помогало ему отличать приличных с виду людей, из-за которых могли в будущем возникнуть неприятности. Иногда, нерегулярно к нему заглядывал участковый, приводил фотографироваться родственников, а иногда вместо родственников с ним приходил капитан из районного угрозыска и шептался с Наумом за дверью кладовки с надписью «Фотолаборатория». Капитан сидел в кладовке на табуретке, а Наум стоял перед ним, заслоня вход широкой спиной. У Наума всегда находилось что рассказать, но, очевидно, рассказы его не представляли для капитана интереса, и визиты случались все реже и реже. Моня всегда с уважением говорил о старшем брате: «Наум знает, что делает», и Наум действительно знал, как разумно, не обижая власть, вести свое дело.

Золотая лягушка сидела на брильянтовой кочке. Брильянтовая кочка

была мелкой для кочки, но огромной для брильянта, больше трех каратов. Светила брильянтовая луна, поменьше кочки, всего чуть больше карата, изгибались изумрудные камыши... Необыкновенная была красота, у Наума дух захватывало, когда он на лягушку глядел. Он никогда не помышлял о ее ценности, лягушка была для него живой, во всяком случае, думал он о лягушке чаще, чем о дочери.

В 1949 году он показал свою лягушку одному тихому старичку. Старичок вытащил из кармана лупу, рассмотрел лягушку со всех сторон и вздохнул:

– Лягушка ваша оказалась не простая, а царевна-лягушка... работы самого Хлебникова. Хлебников в основном работал по серебру, по золоту редко... Вещь-то музейная, продать непросто. Особенная судьба у таких вещей, вполне могла из России на Запад попасть, а потом обратно.

Наум молчал.

– Это дорого стоит. Вы даже не представляете сколько...

– Кто же может такое купить? – из любопытства спросил Наум.

– Покупатели всегда есть, – неопределенно сказал старичок и хищно прилип глазами к Науму. – Еще что-нибудь есть?

Наум покачал головой. Было еще несколько золотых монет, он просто сгреб их в том же маленьком музее в А-ге.

Лягушку Наум не продал, не смог с ней расстаться, зато, подумав, все-таки показал старичку монеты. Денег за монеты хватило, чтобы положить начало коллекции. Строго говоря, коллекционером он не был, просто покупал, что нравилось. Наум любил старинную мебель. Мебель Науму нравилась схожая с ним – тяжеловесная, надежная и спокойная, без излишеств. Он и сам важной неповоротливостью был похож на свой любимый массивный шкаф красного дерева, строго сработанный мастерами позднего северного модерна, еще чуть-чуть, и не произведение искусства, а работа ремесленников. Кроме мебели, у него была еще одна приязнь – мелкие изящные вещицы, фарфоровые статуэтки, нэцкэ, фигурки из нефрита. Наум любил их трепетно, как когда-то любил Мурочку, за их хрупкую красоту и за то, что они принадлежали ему. Его огромная комната понемногу стала наполняться шкафами, а шкафы фарфором, мелкими вещицами. Иногда случались фантастические удачи. Грузчик из соседнего магазина принес пивную кружку, красивую, вкусную на вид, в руках держать приятно, но даже не серебряную, а простую, оловянную. «Работа Кранаха», – изрек тихий старичок. Кружку Наум ему продал, не брать же себе украденную музейную вещь, а царевна-лягушка осталась жить у него.

Женился Наум в 1948 году. Дине было десять лет, она жила с отцом

уже два года и успела привыкнуть к его мрачной сосредоточенности, тяжелым вздохам и взгляду сквозь нее. Жалея бедную некрасивую сиротку, каждый день приходили тетки, Лиля и Циля. Рядом, в соседней комнате, была мама Маня, она часто смеялась, открывая крупные зубы, смотрела на Дину, а не сквозь нее, и разрешала помогать месить тесто и выпекать котлеты на большой коммунальной кухне. Наум приходил из мастерской поздно, и Дина все время проводила с Маней, только спала с отцом в одной комнате. Сорокаметровая комната была разгорожена на три части, поэтому Дина, просыпаясь ночью, пугалась, думая, что она в комнате одна.

Наум решил жениться на двадцатидвухлетней Рае не сразу. Он долго подсчитывал, на сколько же он старше Раи. На двенадцать лет, на первую семью, на бедную горячо любимую Мурочку и, наконец, на некрасивую болезненную Дину.

Знакомство Раи с ее новыми родственниками состоялось вечером в субботу. В дверях его комнаты робко сгрудились принарядившиеся Циля с Лилей, Моня, Дина и Костя, возглавляемые Маней. В центре комнаты стоял накрытый стол, за которым сидел хмурый Наум со своей невестой. Родственники терлись в дверях, не решаясь войти, а Маня воинственно отставила ногу и уперлась рукой в бок, рассматривая яркую, с крупными чертами лица невесту в цветастом крепдешиновом платье, обтягивающем пышный бюст. Невеста неожиданно поднялась из-за стола, театральным жестом сложила под грудью руки и вдруг запела. «Ехал на ярмарку ухарь-купец...» – заливалась она при полном ошеломлении всех, включая Наума. Впрочем, Наум знал, что в то время Рая занималась вокалом на дому (пока еще ее собственном доме) с каким-то спившимся тенором, осколком Ленконцерта.

Рая всегда чем-то страстно была увлечена. В доме Наума теперь все летало, Рая то поет, то играет на арфе, то танцует в ЖЭКе индийские танцы... «Хорошо, что не все Раины увлечения требуют больших предметов в доме, как арфа», – вздыхал Наум. Арфа, заброшенная Раей вскоре после ее водружения в комнате, долго еще занимала целый угол, но продать ее Наум не решался, вдруг Раечка опять захочет играть. Художественная натура оказалась быстрой на крик и истерику, впрочем, вздорность свою Рая признавала без труда: «Мы, люди искусства, все очень нервные! Нас любая мелочь может ранить».

Наум первым среди соседей купил телевизор, и теперь Рая могла вволю казнить и миловать соседок, приглашая отличившихся посмотреть вечером передачу.

Наум был доволен своей красивой молодой женой, а ее увлечения

казались ему очень культурными. «Да и надо же молодой красивой женщине чем-то себя занять, чтобы не было всяких глупостей. Ты же понимаешь!» – доверительно сообщал он Моне. «Моя Маня тоже все думает, как бы себя занять», – понимающе кивая, благодушно отвечал брату Моня.

Выучившись на медсестру, Маня с утра занимала себя работой в больнице, а вечером, чтобы не скучать, занимала себя готовкой и стиркой на свою семью, к которой почему-то была приписана и дочь Наума Дина.

Стирала на Дину Маня, кормила ее тоже Маня, но Рая чудно относилась к девочке, и Дина не отходила от мачехи ни на шаг. Рая примеряла перед Диной свои яркие наряды, кокетливо вертелась то в одном, то в другом платье. «Смотри, Дина, так мне хорошо? А так? А как лучше?»

Девочка подавала Рае юбки и блузки, помогала переодеться, замирая от красоты Раиноного белья с кружевами и прошивками. Она впервые видела такие красивые вещи! «По-всякому красиво, – выдыхала Дина. – Мама, ты такая красивая!»

Дина очень надеялась, что эта душистая красавица станет ее мамой. Она решительно сделала первый шаг и без приглашения стала звать мачеху «мамой». Рая сначала удивилась, а потом засмеялась и обняла Дину. Мама так вкусно пахла, такая была приятно полная, розовая. Дина любовалась ею, украдкой дотрагивалась пальчиком, помогая натянуть платье, гладила пухлое плечо.

Обозленная Маня зажала Дину в углу и, брызгая слюной, зашипела:

– Нет, ну ты скажи, не бойся, тебе отец приказал ее матерью звать?.. Ах, ты сама?! Ну ладно, смотри. – Она фыркнула и ушла. Дулась, разговаривала с Диной сквозь зубы.

– Манечка, не сердись на нее! – попросил Моня, пуще всего боявшийся, что с Раиным приходом в их жизнь начнутся ссоры. – Подумай сама, пусть у девочки будут две мамки, все равно ведь обе не настоящие. Или тебе жалко? Да и какая ты ей мама...

Маня ревновала и обижалась, всем своим ей хотелось владеть всецело, а Дину она всегда считала своей. Но если Рая стала девочке матерью, ради бога, пусть. Она, Маня, не против, только пусть к ней тогда не лезут совсем, пусть живут как знают. У Мани есть своя семья. И кстати, пусть теперь Рая на девчонку стирает!

Дина была очень счастлива. Теперь у нее есть мама. Ведь все-таки мама Маня не настоящая ей мать. Наконец-то ей не нужно больше бороться

за первое место в Манином сердце. Маня сердится, ну и пусть, сама виновата, что не любила Дину больше всех. Как ни толкалась она около мамы Мани, та любит мужа и сына несравнимо сильнее, чем ее. Для Мани она на третьем месте, а для мамы будет на первом, ведь маме положено любить свою дочку больше всех. Довольной Дине осталась только одна забота.

– Мама, а мама Маня на меня злится... – шептала она Рае.

– Да почему же, Диночка? – равнодушно откликнулась Рая.

– Она сердится, что я тебя люблю...

– Да?

– И что мамой называю, – нашептывала девочка.

– Не обращай внимания, – говорила Рая рассеянно, вытягивая вперед руку и любуясь маникюром. – Смотри лучше, мне идет розовый лак?

Обидно, но мама, кажется, не сообразила, что Маня злится и борется за Дину. Как бы ей получше намекнуть, чтобы она поняла, что Дина всем нужна, а не только ей, она бы тогда больше Диной дорожила.

Большую часть дня мама с дочкой проводили вдвоем. Рая пела для Дины, танцевала для Дины, читала Дине стихи. Благодарного восхищения десятилетней падчерицы хватило бы на целый зрительный зал.

– Как ты все здорово умеешь, мама. Ты лучше всех актрис и певиц! И по красоте тоже, – упоенно повторяла она.

– Ты тоже можешь научиться петь и танцевать, – обещала Рая.

– Я? Что ты, я стесняюсь... – Дина на всякий случай не рассказывала маме, что иногда, по старой памяти, ее еще называют в школе Лысюгой.

Дочка-Лысюга может бросить тень на такую красивую маму!

Рая в сомнении рассматривала невзрачную сутулую худышку, глядящую на нее влюбленными глазами из-под неаккуратных кустистых бровей, и мечтательно вспоминала:

– Я в школе имела такой успех... В кружке художественной самодеятельности... Мне, кстати, прочили большую славу. Особенно мне удалась роль Татьяны... Вот послушай, ты сейчас умрешь от восторга! – Рая встала в позу и угрожающе закричала, вращая глазами: – Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать!.. О черт, забыла, как там дальше?.. Да... Ну ладно, давай что-нибудь приготовим, скоро папа с работы придет... Хотя отрываться от искусства на быт так неприятно для такой природы, как я... – Она прижала руки к вискам.

Рая действительно не отрывалась от искусства никогда и на кухне всегда немного играла. Моня, посмеиваясь, за ее спиной передразнивал Раины позы у плиты.

– Ах, у меня пригорело мясо! Ох, я забыла посолить! – восклицал он тонким голосом, всплескивая руками и закатывая глаза.

– Тоже мне, артист погорелого театра! – фыркала в ответ Маня.

Не считая того, что Рая отобрала у нее Дину, она была довольна молоденькой невесткой. Рая признала ее авторитет в семейных делах, советовалась с ней, как вести хозяйство, и часто просила Маню прихватить для нее каких-нибудь продуктов в магазине.

– Чего тебе взять, Рая, я в магазин иду? – спрашивает Маня.

– Ну, я не знаю, Маня, на твое усмотрение, что себе будешь покупать, то и мне возьми. Ты лучше меня знаешь, что Наум любит.

Довольная Маня уходит с большой хозяйственной сумкой в магазин – все хорошо, все правильно, она в семье главная.

Здоровье у Раи слабое. Однажды, перемеряв ворох одежды, Рая взглянула на часы и, хлопнув себя по лбу, внезапно свалилась кулем на диван.

– Дина, убери поскорее вещи в шкаф, сейчас отец придет! Ах... – застонала она. – Принеси мне быстро мокрое полотенце...

– Мама, что случилось? – испугалась Дина, вкусно перекатывая во рту слово «мама».

– У меня ужасающая мигрень... Не знаю, как вытерпеть...

Мигрени случались не слишком часто, но и не редко – раза два в неделю. Дина носилась вокруг дивана с тряпками и чаем, позже к ней присоединился Наум, а Дина уходила в Манину комнату делать уроки. Заглядывала Маня и, качая головой, укоризненно говорила: «Напейся лекарств и вставай. От лежания только хуже». Рая слабо поднимала руку в приветственном жесте и просила прерывающимся голосом: «Манечка... дорогая... покорми Нему».

А потом произошло несчастье. Рая убежала в магазин и вскоре вернулась с белым от ужаса лицом.

– Маня, я упала! – Она показала на грязное пятно на пальто.

– Ну упала, так что? Ты же на ногах, значит, не ушиблась, – спокойно ответила Маня.

– Маня, ты не понимаешь! – Рая зарыдала. – Теперь все пропало! Я же беременна! Какой ужас!

– погоди! Почему я ничего не знаю? – грозно начала Маня.

– Пять недель, пять недель всего, я сама только что узнала! О-о, что же делать... упала... У меня будет выкидыш! Бедный Наум, он так мечтал!..

– В постель! – скомандовала Маня.

Рая улеглась на диван. «Ненадолго прилегла, – прокомментировал

Моня, – всего на восемь месяцев, до родов». Игры, пение и декламация прекратились, теперь к приходу Дины из школы она всегда доставалась ей уже лежащей на диване с притушенным светом и мокрым полотенцем на голове. Иногда вокруг нее кружили тетки: шумная Циля нервировала Раю слишком экспансивной заботой, а тихая Лиля оказывалась очень полезной.

Дина расстраивалась, ей хотелось, чтобы все было как прежде, она же любила маму не за пение! К тому же оставалось потерпеть недолго – скоро у нее родится братик или сестричка, Рая опять будет читать ей стихи, и все пойдет как прежде.

– Мама Маня, почему мама стала совсем другая? – осторожно спросила Дина. Стыднее всего на свете ей было признаться, что она опять оказалась не нужна.

– Твоя сестричка Танечка ночью плачет...

– Я знаю, я закрываю голову подушкой и сплю, – прошептала Дина.

– А Рая не спит, носит ее на руках, устает.

– Зато она днем спит, тетки приходят по очереди, и я помогаю. Я тоже устаю! Я еще уроки делаю! – Дина шмыгнула носом и горестно склонила голову набок.

Маня погладила по голове бледную страшенькую девочку и, надувшись, сказала:

– Иди на моей кровати полежи, я тебе скажу, когда можно выходить.

Маня понеслась к Науму.

– Нема, девочка устает...

– Ну.

– Она не высыпается, она бледная... – торопливо перечисляла Маня.

– Ну, – мрачно сказал Наум, – и что ты предлагаешь? Куда девать Танечку?

– Не знаю, – смешалась Маня.

Танечка, родившаяся сразу с волосами, четко выраженными бровками и длинными ресницами, была такой хорошенькой, что, когда Рае в роддоме приносили ее кормить, поглядеть сбегались из соседних палат. «Ваша – лучше всех, но крикунья», – сказала нянечка, передавая ребенка на руки Науму.

Обожающие родственники вырывали смуглую пухленькую красавицу

друг у друга, и казалось, чем больше она кричала, тем сильнее они ее любили. Дину ждало и очарование, и разочарование. Очарованием была Танечка, сестричка, принадлежавшая почти что только ей одной. Дина полюбила ее, как только из-под одеяла высунулась ножка с настоящими пальчиками. Разочарованием стало все остальное. Дина не ревновала Танечку к Науму, он никогда не был ей близок, и она безболезненно признала Танечкино право быть его любимицей. Но к ней не вернулась мама. Рая не пела, не болтала с ней и не мерила платья. С утра до вечера она гоняла Дину то в молочную кухню, то на рынок, то в прачечную. Дина бегала с радостью, только бы маме угодить, но Рая очень уставала – после восьми месяцев вялой диванной беременности крикливая Танечка была для нее тяжелым испытанием.

– Это выше моих сил! Твоя дочь выматывает меня до предела! – в первый же вечер объявила она мужу.

Он вопросительно взглянул на нее:

– Дина?

– Танечка, а не Дина! Скажешь тоже, Дина. Что бы я вообще без Дины делала! Тебе хорошо, ты весь день работаешь! – заорала Рая в настоящей, а не игрушечной, как прежде, истерике.

Истерические приступы ярости случались с измотанной постоянной бессонницей Раей все чаще. Она, не помня себя, выкрикивала гадости, обращенные почему-то только к Науму и даже к Танечке. Падчерицу она не трогала, это казалось Дине обидным, она воспринимала крики как признак родственности: на родных Рая кричит, а ее как будто отделяет от всей семьи.

Жизнь вошла в привычное русло: в большой комнате теперь на всех сорока метрах сохнут разноцветные ползунки, Рая повеселела, понемногу возвращаясь к себе прежней, все чаще из коридора, где стоит коммунальный телефон, доносится ее оживленный голос – она болтает с подругами. Однажды Дина, перекладывая из руки в руку сетки с бутылочками из молочной кухни, долго возилась у входной двери. Позвонить она не могла, боялась, вдруг мама прилегла. Открыв наконец входную дверь, Дина услышала:

– Не заставляй же себя любить чужого ребенка!

Увидев ее, Рая улыбнулась:

– Принесла? Молодец. За хлебом сбегаешь?

«Не может быть, чтобы мама имела в виду меня», – решительно сказала себе Дина, направляясь в булочную. А слезы, стекающие по Дининому лицу на воротник пальто, были пролиты ею из жалости к совсем

другому ребенку, которому так ужасно не повезло, у него не было мамы, а мачеха не могла заставить себя его полюбить.

Рая обиделась бы на любого, кто сказал бы ей, что она исправно разыгрывает роль классической злобной мачехи, с утра до вечера гоняющей безответную падчерицу. Она всего лишь страстно тосковала по своему дивану, чувствовала усталость и обиду, что так вот непоэтично все обернулось – пеленки, крики по ночам... Ну и любовь, конечно же, любовь к малышке, вынуждавшая ее крутиться днями и ночами, сразила ее своей силой. Прежде Рае казалось, что любовь – это когда что-нибудь дают ей. Ну и скажите на милость, откуда же взяться силам на чужую девчонку? Нет, это уже чересчур! Просто смешно!

Рая стала хорошей, очень хорошей матерью. Настоящая мать ухаживает за своим ребенком, а не играет в игры, ведь правда? Вместе с играми в актрису закончилась и игра с Диной в дочки-матери. Что было делать девочке, которая вдруг обнаружила, что с ней уже не играют? Незнакомая Мурочка умерла, мама Маня больше любит собственного сына, мама... Неужели она к ней совсем равнодушна? Признать, что оказалась ненужной всем, было просто невыносимо, и Дина продолжала игру в одностороннем порядке – дочкой была, но без матери.

Дине четырнадцать лет, она уже большая девочка. Большая девочка всем немного мешает, совсем чуть-чуть. Мешает Рае, мешает отцу.

Рая покончила с искусством. Наум не ошибся в выборе, его жена изобретательно готовит, больше не укладывается на диван с мигренями и целиком отдается семье, но ведь ее семья – это только Наум и Танечка, без тихой некрасивой девочки, придатка от прежней жизни мужа. Родив Танечку, Рая стала ретроспективно ревнивой, и все довоенные фотографии Наума с Мурочкой перекочевали из красного плюшевого альбома в коробку под шкафом, а потом со старыми ненужными вещами на антресоли... Наум не возражал, возможно, просто не заметив, но ведь у него же действительно новая жизнь, новая семья и новое хозяйство. Дина возражать не могла, если бы и хотела, но фотографии Мурочки не были нужны и ей. Она всегда быстро отводила взгляд от изображения этой красивой женщины с тонким нежным лицом, так отличавшейся от ее крупной, яркой мамы с грубоватыми чертами лица. Мурочка держала ее на руках, запрограммировала ее на любовь и избранность, а потом ушла... Дина не думала так, она вообще ничего не думала, только испытывала ноющую боль где-то в груди.

Танечке четыре года. Ее давно можно было бы укладывать отдельно от

родителей, но комната разделена на три части – спальню, Динкин закуток и гостиную. Большая девочка Дина мешает отцу любить жену. Ночью она вертится и вздыхает во сне в двух шагах от супружеской постели, да и Рая к ночи устает и часто отталкивает мужа, а днем, в выходной, Танечку можно просто выставить играть в коридор. Но как запретишь входить в комнату взрослой Дине? Кто же говорит, что он разлюбил девочку, но своя семья есть своя семья...

Дина тенью прошелестела по коммунальному коридору, проскальзывая в Манину комнату. Она уселась напротив Мани и, как обиженная птичка, склонив голову набок, принялась шептать:

– Мама Маня, посмотри, какие у меня туфли...

Маня пожалала плечами:

– Туфли как туфли, а что?

– Ну вот же, здесь потерлись, и каблуки совсем стоптались...

– Подумаешь! – бодро ответила Маня и вытянула перед девочкой ногу в стоптанной лодочке бывшего рыжего цвета.

– А у всех девочек по несколько пар... и туфли, и ботинки, только у меня одна пара.

– Отстань, Дина, ты еще мала модничать, есть в чем ходить, и ладно!

– Мама Маня, меня в школе хвалят, по русскому пятерка и по литературе, как всегда. Учительница говорит, что у меня самые лучшие сочинения в школе!

– Молодец! – улыбается Маня.

Дина горестно вздыхает:

– Папа купил маме новое платье, а Танечке куклу. Такую красивую... – тихим невыразительным голосом сообщает она, глядя в пол.

Надувшись и сверкая глазами, Маня вылетает из комнаты и бросается к Науму.

– У девочки одна пара туфель! – кричит она, упершись руками в бока и буравя Наума злобным взглядом.

– Она опять жаловалась? Почему я должен знать, сколько у нее туфель! – краснея пятнами, сердится Наум. – Не может сама отцу сказать?!

Бесхитростная Маня честно отвечает:

– Да нет, вроде бы мы с ней про школу говорили, у нее пятерка по чему-то там, не помню...

Почти каждый вечер, услышав, что Маня вернулась с работы, Дина мышкой проскальзывала к ней. Дальше все происходило одинаково. Сидела глазками в пол, водила рукой по столу.

– Что ты молчишь, Дина?

– Ничего, так просто.

Дина помолчит немного, и Маня отправляется выяснять, что сегодня с девочкой.

Дина ходила от отца к Мане, от Мани к Рае, от Раи к теткам и всюду немного жаловалась. Тихо, чуть улыбаясь, как будто прислушиваясь к окружающему миру, шептала, шептала, шептала... Она жаловалась слабым монотонным голоском, но не прямо, а все какими-то намеками. Очевидно было, что ее обижают, но чаще всего это было так неопределенно, что броситься к Науму, решительно заявить «а Дина мне сказала...» и строго призвать его к ответу за сиротку было трудно. Поймать ее на чистом очевидном вранье не выходило, все ее рассказы всегда были рядом с правдой.

– Моня сказал, что у нашей Танечки очень много игрушек, – докладывала она Рае. – Но это же хорошо, когда у ребенка много игрушек, правда?

– Маня, а правильно Рая говорит, что только очень глупые женщины работают, женщина должна вести свой дом? Ведь ты же работаешь и очень даже довольна.

– Мама, теткам нравится твое новое пальто, а про шляпу Лиля сказала, что она на гриб похожа, вот уж неправда, нисколечко не похожа. Такая красивая, яркая!

– Я одна в классе так плохо одета, но это, наверное, потому, что у папы много расходов, он ведь один в семье работает и еще вам деньги дает, вы же у нас очень бедные... Мне обещали новый портфель купить, но папа сказал, надо теткам денег дать.

Невозможно разобраться в том, как на нее посмотрела Рая, что Маня сказала про Наума, а тетки про Раину манеру одеваться и кто кому намекнул, что Танечка очень избалованная девочка... Дина как запах, пока была – пахло, ушла – все выветрилось, только воспоминание о запахе осталось.

Тетки между собой со вздохами называли ее «шлехте мейделе» – нехорошая девочка. Переглядывались, осуждающе качая головами, но жалели кровиночку. Дина жаловалась, потупив глаза, все шептала и шептала.

– Помните Танечкино розовое платьице, мама вчера нашла на него кружева, а сегодня днем они пошли покупать к нему шляпку. А Маня сказала, что у них Танечка всегда как куколка. Правда же, Танечке идет розовый цвет, она просто принцесса...

– А давай сошьем Дине платье в ателье? – задумчиво взглянув на некрасивую девочку, предложила сестре Циля.

– Ты что, как можно, сами, без разрешения... А что Наум с Раей скажут? – испугалась Лиля. – А деньги?

– Мы как раз от Наума деньги вчера получили, подумаешь, поедим в этом месяце поменьше, ничего с нами не случится.

– А платье можно здесь оставить, в вашем шкафу повесить, они и не узнают, – предложила Дина. – А я буду приходить к вам, когда мне надо будет, и переодеваться. Никто не узнает!

Так они и поступили, трясаясь от ужаса и чувствуя себя борцами за справедливость. Динкины нелегальные наряды копились теперь в шкафу у теток, пока ей не пришла в голову счастливая мысль. Она велела теткам объявить о существовании мифической приятельницы, такой богатой, что отдавала теткам для Дины совершенно новые вещи.

Впрочем, жертвы, которые тетки приносили Дине, недоедая и к тому же страшась, что обман раскроется, не были совсем уж напрасными. Глядя на бедную Дину в куцем школьном платье с рукавами по локоть, они косились в сторону шкафа с тайными платьями и удовлетворенно подмигивали друг другу. Посреди года девочка вдруг выросла из старой формы, и новое платье было немедленно куплено, но носить его Рая не разрешала, только с нового учебного года, так что пока Дина сверкала коленками и локтями.

Дина прекрасно разбиралась в мачехиных маневрах по ведению хозяйства, тайная Раина бухгалтерия была ей полностью открыта. Рая ловко скрывала от Наума истинные хозяйственные траты. Днем, принимая от Дины сумку с продуктами, она небрежно подмигивала Дине: «А мы папе не скажем, сколько это стоило...» – а вечером опять просила у мужа денег, нисколько не затрудняясь сомнением в ее соучастии. Дине не доставалось от утаенных денег ничего, все они шли на скрытые Раины нужды – нужды красивой молодой женщины, чьи потребности всегда немного превышали то, что ей давал муж. Наум покупал шубы, платья, дважды в год дарил украшения, ко дню рождения и к годовщине свадьбы, ну а лишнюю пару чулок, новую сумочку... Мало ли чего захочется, зачем же Наума волновать. Приятных мелочей слишком много не бывает, что-то Наум купит, а что-то Рая организует себе потихоньку сама!

Уже купленное школьное платье никак не задевало Раиных личных интересов, но почему-то она заупрямилась, не разрешала носить, и все тут! Такой же строгий запрет был наложен ею на часы, все девочки в школе давно уже гордо сверкали часами на запястье, и Наум вроде бы был не

против, но Рая ни за что не разрешала мужу купить Дине часы, даже самые простенькие. Дина не обижалась на маму.

Время от времени, набравшись смелости, тетки отчитывали Наума, плакали и с оглядкой на Раю поднимали глаза кверху, шипели: «Если бы бедная Мурочка знала...» Этот способ они применяли только в крайних случаях, чаще просто жаловались Мане, предпочитая делегировать к Науму ее.

По вине Дины в семье кипели страсти, вихрились маленькие смерчки, возникали подспудные течения, а Дина все ходила взад-вперед, не давая затихнуть скандалам. К ссорам незаметно привыкли, воспринимая их как неотъемлемую часть родственных отношений. Маня даже черпала в скандалах какую-то радость, ей так было интереснее, и после крикливых выяснений она возвращалась к себе порозовевшая и счастливо возбужденная. Моня, насмешливо усмехаясь, говорил ей: «Ну что, как сходила-поскандалила, руки в боки? Ну ладно, давай теперь ужинать, поорали себе, как люди, и дальше пошли». Из всей семьи лишь он один дистанцировался от выяснения отношений.

А Рая варила такой вкусный овощной суп для Танечки... Она считала, что у дочки «слабый желудок». Овощной суп не шел ни в какое сравнение с вкусными жирными борщами и перловыми супами, которыми Рая кормила остальных. Но ничего более возжеленного не существовало для Дины, чем этот жидкий бульон с несколькими плавающими в нем кружочками моркови, только ей никогда его не давали, сколько ни просила.

Рая вообще твердо держалась своих привычек. Когда она что-нибудь зашивала прямо на Танечке, всегда давала той в рот нитку, чтобы память не потеряла. Всего-то один разок она Дине пуговицу пришивала к школьному платью, Дина вспомнила о примете и тоже нитку в рот попросила, а Рая удивленно на нее посмотрела.

Правда, однажды Дине повезло. Менструация приходила к ней пока еще нерегулярно, но Дина уже успела привыкнуть к тому, что в эти дни у нее побаливает живот и слегка кружится голова. Это самое обычное дело, объяснила ей Маня еще в первый раз, поэтому Дине даже в голову не пришло сослаться на нездоровье, когда Рая послала ее в прачечную за бельем. Дина то несла тяжелый тюк за веревку, то немного тащила его за собой, стараясь выбирать дорогу почище. Не дойдя нескольких шагов до двора, она остановилась передохнуть, и тут на нее налетели мальчишки и выхватили тюк, который она придерживала у ног на тротуаре. Дина не испугалась, на своей улице она знала всех, и эта компания была ей хорошо знакома. Семилетки со всех окрестных домов организовались в

тимуровскую команду и надоедали взрослым своей непрошеной помощью. Вот и сейчас они еще не успели пройти с огромным Динкиным тюком и нескольких шагов, как веревка лопнула и белье рассыпалось по тротуару. Тимуровцы, струсив, разбежались, а Дина, еле-еле перемещаясь с разорванным тюком на вытянутых руках, принесла домой белье в охапке. Потеряв сознание, она свалилась прямо на открывшую ей дверь Маню.

Пока она валялась на полу рядом с тюком белья, Маня кричала на Раю так, что у нее пошла кровь из носа.

«Упасть бы сейчас самой в обморок», – мечтательно подумала Рая, стоя рядом с истекающей кровью Маней над лежащей на полу без сознания падчерицей, но обморок никак не шел. Ей просто нужно было принести белье, не идти же самой!..

Когда от Маниных шлепков по щекам и сунутой под нос ватки с нашатырем Дина наконец пришла в себя, она увидела откуда-то издалека, в тумане, как Маня, сунув маме кулак в лицо и выкрикнув: «Тьфу, дрянь ты, Райка!» – напоследок плюнула на пол и удалилась к себе, на ходу засовывая Динкину ватку в свой окровавленный нос.

Дине тогда действительно повезло. Рая уложила ее на свою заваленную надушенными кружевными подушечками постель, поила бульоном, гладила по голове и каждую минуту спрашивала, не болит ли у нее живот, а Дина так страстно любила ее, что этот день остался в ее воспоминаниях самым счастливым.

Не преуспев в попытках укрепить свое положение в семье интригами и так и не сумев прилепиться к кому-то из родных, Дина на редкость преуспела в отношениях с окружающим миром. Никаких специальных действий, направленных на то, чтобы завоевать мир, она не предпринимала: не пыталась заставить себя полюбить, не подхалимничала, не лезла с предложением помощи, напротив, вполне блюла свои интересы, но как-то умела людей к себе расположить.

Соседи по квартире всегда больше симпатизировали хорошенькой веселой малышке Танечке, чем угрюмой, тихо шелестящей по квартире Дине. Однако на окончание школы, скинувшись, преподнесли ей огромного плюшевого медведя, сами при этом невероятно удивившись своему поступку. Дарить подарки было совершенно не в обычаях квартиры, где собрались на редкость тихие и равнодушные друг к другу люди. Акция

подобного толка была предпринята в первый и последний раз. Медведь остался у Дины как плюшевая иллюстрация – какого душевного взлета можно ждать от людей, если подойти к ним с умом и терпением.

О медведя можно было потереться щекой, подушечки лап у медведя были светлее, чем остальной мех, и еще у него были коричневые глаза и уютный свалывшийся живот.

Школьные учителя на выпускном балу улыбались и обнимали девушек. Некрасивую мрачноватую Дину не обнимали, но тепло просили обязательно заходить в школу, а учительница русского языка изящно расплакалась в крошечный платочек, назвав свою лучшую ученицу странно трогательным для такой подчеркнуто интеллигентной дамы словом «дочечка». В характеристике Дину назвали «спокойной, волевой и решительной», подчеркнув, что за все годы обучения со стороны администрации и учителей ей не предъявлено ни одной претензии по части учебы и соблюдения школьных правил.

Серебряная медаль дала Дине возможность без волнений поступить на отделение русского языка и литературы в педагогический, где она, осмотревшись, заняла привычное положение первой ученицы, старосты группы, любимицы преподавателей и так же, как в школе, подружилась со всеми и ни с кем.

Восемнадцатилетняя Дина, напоминавшая теперь подростковую, но все такую же унылую, как в детстве, мыш, знала про любовь очень много, практически все. Сейчас она внимательно наблюдала за всплеском любовных отношений Наума и Раи. Живя в одной комнате, трудно скрыть от взрослой любопытной девушки внезапно расцветшую страсть, тем более от девушки, которая жадно подслушивала, подглядывала и старалась додумать все, чего не удалось узнать. Много ночей, пока отец с женой любили друг друга, Дина пролежала без сна за своим шкафом и по звукам и шорохам научилась догадываться о том, что происходило в каждый конкретный момент. К тому же Раю не старалась о чем-то умолчать. «Ох, твой отец меня сегодня замучил! – позевывая, говорила она утром. – Надо же, прямо как молодой». Динкин взгляд скользил по круглым белым коленям, торчавшим из-под кружевной ночной рубашки, с трудом отрываясь от пышного Раино тела, поднимался к излучавшим довольство глазам.

Рае было тридцать, и наступило ее время. Она так настойчиво смотрела, такими мягкими были ее движения, что почти каждый вечер Наум торжественно раскрывал большой портфель и извлекал оттуда обернутую в бумагу коробочку с флакончиком духов, статуэткой или

изящной фарфоровой чашкой. Получив подарок, Рая одним движением распустила волосы, кокетливо посмеивалась и весь вечер, не стесняясь взрослой падчерицы, значительно касалась мужа рукой, призывно подмигивала Науму в сторону супружеской кровати и прижималась к нему пышной грудью, что было ей совсем нетрудно, и так, куда ни повернись, повсюду была Раина грудь...

Любовь, оказывается, напрямую связана с подарками. Это было Дине понятно и неудивительно. Ее изумляла лишь собственная глупость, ведь, находясь многие годы за своим шкафом, она глупейшим образом упустила время, которое могла бы потратить на изучение интимной жизни родителей, теперь оказавшейся перед ней как на ладони.

В институте мальчиков было не много, а из тех, что были, никто не обращал внимания на мелкую страшненькую отличницу. Дина страдала. Вспыхнувшая ли нежданным жаром родительская страсть разбудила Динино беспокойство, просто ли пришло ее время, только возбужденная активной половой жизнью за шкафом девушка опять, как в детстве, маялась своей ненужностью. Теперь она ощущала свою не востребованность не только в семье. Окружающему миру она тоже оказалась неинтересна.

Девочки-сокурсницы взяли Дину с собой на вечер в военное училище. Дина лихорадочно шарила по теткинскому шкафу, прикидывая на себя платья. Тайных платьев набралось уже пять.

– Оранжевое с бантом?

– Нет, оно, пожалуй, коротковато. – Лиля с сомнением посмотрела на торчащие из-под подола Динины кривоватые ноги.

– Тогда это, красненькое? – робко спросила Дина.

Возбуждение понемногу спадало, и она уже робко обдумывала, что, если она никуда не пойдет, никто на нее не обидится, скорее всего даже не заметит.

– Синее в складку! В нем ты очень даже ничего! – решительно отрезала Циля и вздохнула. Ей самой так хотелось пойти на танцы!

Стоя среди нарядных девочек в ярко освещенном зале, Дина буравила маленькими глазками каждого направляющегося к ним курсанта, изо всех сил стараясь взглядом подтянуть его к себе, и, незаметно отталкивая локтями соседок, пробивалась в первый ряд. Уже через час стояния у стенки блестящие глазки потухли, нос заострился, уголки губ плаксиво опустились, а еще через полчаса к выходу пробиралась не возбужденная надеждой, пусть и непривлекательная девушка, а отвергнутая всем человечеством Дина в синем в складку платье и злобно-жалким

выражением лица. Никто, ни один человек... Даже самый маленький веснушчатый мальчишка с некрасиво оттопыренными ушами, обойдя Дину, пригласил маленькую толстушку, как ни разворачивалась к нему Дина, будто невзначай заслоня толстушку плечом...

Дина никогда не прогуливала, но на следующий день после позорного провала на вечере в военном училище у нее необычайно сильно разболелась голова, и дома она появилась раньше, чем обычно. Обрадовавшись, что Раи нет дома и ее не пристроят немедленно по хозяйству, она тихонечко улеглась в своем закутке и закрыла глаза. Вялая и разбитая, Дина проснулась на голос отца: «Принес тебе нижнюю юбку, померь!» Уловив в его дрожащем голосе знакомые нотки возбуждения, Дина полежала несколько секунд, сладко представляя себе, что сейчас будет происходить на диване в отделенной от ее кровати всего лишь тонкой портьерой той части комнаты, что именовалась гостиной, если она немедленно не объявит о своем присутствии. «Ой, как же мне теперь признаться, что я здесь, – вдруг сообразила она. – Я им опять помешаю, отец будет сердиться!» Она представила его бешеные от злобы глаза и Раин выразительный взгляд, перебегающий с нее на отца, резко уселась на кровати и приникла к прорези между стеной и неплотно прилегающей тканью. Уверенные, что они одни в запертой комнате, Наум и Рая были заняты в этот момент только друг другом.

Прежде Дина лишь слышала, как они любили друг друга, но никогда не видела, и в ужасе она замерла, не смея и уже не желая обнаружить свое присутствие. «Отец меня убьет!» – думала она в оцепенении, не сводя взгляда с отца и мачехи.

Наум долго целовал Раю, так долго, что Дина даже успела немного соскучиться и на секунду моргнула и отвернулась, а когда она опять приникла к щели, Рая уже полусидела на диване с собранным на талии платьем. Дина видела ее полные широко расставленные ноги в тонких чулках и пышное облако белых кружев, между которыми лежала голова стоящего на коленях полностью одетого Наума. На полу рядом с диваном темнел портфель. Через несколько минут отец поднялся с пола и, поправив пиджак и аккуратно отряхнув брюки, ласково произнес что-то неразборчивое, кажется, «Раенька, солнышко» или «Раенька, кисонька», но «Раенька» Дина услышала точно. Почти сразу же Дина увидела Раино спокойное лицо с открытыми глазами, мачеха невозмутимо поднесла палец ко рту и показала Дине глазами: «Убирайся!» Дина в панике откинулась на подушку и, закрыв глаза, увидела себя рождественской сироткой: выгнанная из дома, она бредет в завязанном крест-накрест платке с узелком

по заснеженной улице...

– Наум, пойдем на кухню, что я тебе покажу! – позвала Рая и сделала падчерице знак: «Давай быстро!»

Услышав удаляющиеся шаги отца в коридоре, Дина вскочила с постели и, неслышно прикрыв за собой дверь, выскользнула из комнаты, а затем из квартиры. На лестнице она прислонилась к стене. Как красиво было то, что она увидела... Совсем не похоже на грубое слово, которое она многократно слышала во дворе. Это была настоящая любовь! «Всегда все достается другим», – подумала она и побрела по ступенькам вниз. Обратно на улицу.

Ближе к вечеру следующего дня, когда все еще были на работе, а Рая с Танечкой отправились на долгую прогулку в Александровский сад, нарядившаяся в Раину батистовую кружевную сорочку Дина рассматривала себя перед зеркалом. В сорочку Дина завернулась два раза, но это не бросалось в глаза, даже хорошо, что ее обожженный бок закрыт так надежно. Маленькая Дина в эвакуации обожглась о раскаленную печку, так след и остался. Она никогда не раздевалась на пляже, след хоть и небольшой, но некрасиво... К сожалению, розовые панталоны с оборками пришлось вернуть на место, они просто свалились с ее тощего тела на пол. «Он скажет мне: “Диночка, солнышко” или “Диночка, кисонька”», – мечтательно подумала Дина.

Накинув на себя платье, она постучалась в Манину комнату.

Все произошло совсем не так красиво, как спланировала Дина. Прикрыв глаза, она попыталась подставить Косте лицо для поцелуя и даже настойчиво пожевала губами в его сторону. Костя долго не мог понять, чего Дина от него хочет, почему так странно смотрит и придвигается к нему ближе и ближе. Когда Дина вдруг просунула руку под резинку его вялых синих спортивных штанов, он замер от изумления, но быстро пришел в себя и резко оттолкнул ее руку. Чувство от быстрого прикосновения к Косте было чуть брезгливым и необъяснимо грустным, как будто сжимаешь в руке пугливого хрупкого зверька. Никакой эрекции, которой обычно так бурно восхищалась за шкафом Рая, у Кости не было и в помине.

«Поцелуй меня...» – прошептала Дина томно, но Костя только покрутил пальцем у виска. Тогда она решила обойтись без поцелуев. Ей пришлось начинать все сначала. Почти уже ненавидя двоюродного брата и скрывая раздражение под напускной нежностью, она нерешительно-кокетливыми мелкими движениями пыталась овладеть его интимным пространством и телом. На каждое ее завоевание Костя реагировал одинаково: сначала вздрагивал, затем отодвигался и, наконец, смирившись, замирал. «Что с него возьмешь, ему же только шестнадцать», – успокаивала

она свою обиду и медленно, чтобы не спугнуть неумелого подростка, продвигалась к цели своего визита, не чувствуя никакого возбуждения. Дина была тверда и довела предприятие почти до логического конца, но в самый решающий момент власть ее закончилась: невзирая на все ее попытки заставить брата, у них все-таки ничего не вышло. Сильно хлопнув напоследок ошеломленного Костю по руке, она убежала, еле сдерживая злые слезы.

Тихое упорство помогло Дине добиться своего. Когда она просочилась в Манину комнату в следующий раз, все получилось немного лучше, правда, ей опять пришлось долго успокаивать глупого мальчишку и практически сделать все самой, благо она четко представляла, что именно ей требовалось. Костя скоро научился понимать, чего хочет его тело, и теперь дверь в его комнату приоткрывалась каждый раз, когда они с сестрой оказывались дома одни. Все происходило у них всегда одинаково, как-то очень сухо, чтобы не сказать злобно, – без ласк и поцелуев. Дина входила в комнату, не глядя на него, садилась на диван, спускала белье, трогала брата пару секунд, Костя коротким ответным движением устремлялся к ней, и все мгновенно заканчивалось. Дине больше не приходило в голову одалживать у Раи белье – для того, чем они занимались, не нужно было красивого белья, не нужно было даже полностью раздеваться, да и требовалось им на все минут пять, а то и меньше. Он ни разу не поцеловал Дину, не коснулся ее с нежностью, в общем, красивой любви, о которой она мечтала, не получилось. Страсти, такой, как за родительским шкафом, не получилось тоже. Тут она себя не обманывала. Почему, Дина знала, но точно знала и другое – опять ей чего-то недодали.

Костя был тихим «книжным» мальчиком – обедал с книгой, в туалет ходил с книгой. Даже в деревне у Маниных родственников умудрился найти на чердаке сундук со старыми пыльными томами. Учился, правда, не очень хорошо. Однажды Маня послала мужа на собрание в школу, где Моню быстро препроводили к директору.

Принарядившийся в свой единственный костюм Моня переминался с ноги на ногу, не решаясь пройти в страшный кабинет дальше порога.

– Ваш сын – кандидат на отчисление из школы, – пугал директор. – У него двенадцать двоек подряд по географии.

– Да-да, я разберусь, – печально клюнул носом в шелковый шарф

Моня и быстренько, убрав с лица обиду, изо всех сил постарался объяснить директору ласковыми глазами, что не надо их исключать, об «исключать» не может быть даже речи, это какое-то ужасное недоразумение, Костя очень хороший мальчик, и он, его отец, тоже хороший. Моня раздумывал, стоит ли между делом поведать директору, что он фронтовик и имеет две медали «За отвагу», но не посмел.

Дома, дождавшись, пока они с сыном останутся наедине, Моня дружелюбно поинтересовался, в чем, собственно, дело. Оказалось, что Костя ни за что не желал рисовать контурные карты.

– Папа, перерисовывать карту – просто потеря времени. Я лучше почитаю, я и так иногда про разные страны больше учительницы знаю. – Костю манили алые паруса и дальние страны, а вовсе не белые листы, испещренные пунктирными линиями.

– Надо делать так, как учительница говорит. И знаешь, что самое главное... Послушай, я тебя научу. Главное – никогда не высовываться. – Это была, кажется, единственная мудрость, преподанная им сыну. – А маме мы ничего не скажем, – подмигнул он, хихикая и гримасничая.

На этом воспитательный процесс был закончен. Больше в школу не вызывали.

* * *

Дина всегда охотилась на брата днем. Высовывалась в коридор, озиралась и тем же скольльзящим движением, каким много лет подряд шныряла в Манину комнату жаловаться, теперь проскальзывала к Косте за своей долей любви. Уже через пять минут, опять оглядываясь, она вышмыгивала обратно в коридор. Динина тихая сосредоточенность не навела бы соседей на дурные мысли, даже если бы кто-нибудь ее заметил, но она была так осторожна, что ни разу не попалась никому на глаза. Да и конфигурация квартиры способствовала Дининой личной жизни. От прихожей геометрически правильная двухсотметровая коммуналка незатейливо делилась на две части. Направо располагалась основная часть квартиры: пять комнат, ванная и кухня. Пройти в туалет можно было только через кухню. Туалет отделялся от кухни тонкой перегородкой с замазанным белой краской окошком, но соседи давно привыкли готовить под звуки спускаемой воды или соседского желудочного расстройства. Налево, как бы в самостоятельном пространстве, от остальной квартиры отделенном

маленьким коридорчиком, как выражались соседи, «жили евреи». Там находились комнаты Гольдманов и Бедных: огромная Наума с семейством и крошечная, двенадцатиметровая, Мани с Моней и Костей. Соседи в этой части квартиры никогда не бывали за ненадобностью, а если хотели познакомиться со своей жилплощадью, то обычно в прихожей махали рукой налево, объясняя: «Там у нас евреи живут».

Торопясь к своему женскому счастью, Дина боязливой мышкой перебежала скрытый от соседских глаз маленький коридорчик... Чудны дела Твои... Ведь не месяц она бегала к брату и не год, а почти пять, но этого многолетнего коридорного романа не заметил никто – ни доверчивая Маня, чересчур добросовестно занятая домашним строительством, чтобы отвлекаться от семейной жизни на отдельных членов семьи, ни Рая, чьи бушующие страсти уже окончательно сменила размеренная семейная жизнь. Только Моня иногда смотрел на Дину странно извиняющимся взглядом, как будто сомневаясь в чем-то и одновременно прося прощения за свои сомнения. Но стоило ли обращать внимание на безобидного Моню?

К пятому курсу многие сокурсницы уже были замужем, а остальные нервно торопились пристроиться. Все понимали, что впереди работа в школе, а значит, с надеждой выйти замуж придется распрощаться. Самые дальние гарнизоны были лучше перспективы превращения в унылых полусумасшедших старых дев с пачками тетрадей в руках. Зайдясь в безнадежной ярости, девочки, как заведенные игрушки, в пышных нарядных платьицах продолжали страстную беготню по танцам в военные училища. Пряча беспомощную злобу за натужным оживлением, «ветераны движения» толпились в надоевших залах, подгоняемые сзади подростками будущими офицерскими женами с младших курсов.

Одержимость идеей замужества не миновала и Дину, но с ней произошла совсем уж постыдная история, о которой не знал никто, кроме Цили. Замуж хотелось всем, не только будущим учительницам, но и старым девам со стажем. Последний всплеск Цилиной женственности выразился в ее страстном желании помочь неудачной племяннице. Одна из бесконечных Цилиных подруг мельком обмолвилась, что есть «один очень интересный молодой человек, желающий найти в браке родственную душу, причем возраст для него не имеет значения, его родственной душой может стать любая немного пожилая женщина...» Сначала в Цилиной душе промелькнула надежда, не стать ли ей этой самой родственной душой, но племяннице было нужнее, и она не успокоилась, пока не познакомила ее с приятного вида молодым человеком. Дина и Циля успели встретиться с ним только раз. Молодой человек действительно оказался очень приятным,

только почему-то называл Цецилию «Цица», а Дину «Рина», хотя звучало у него это очень ласково. Подробности о нем Циля с Диной узнали из статьи под названием «Схожу-ка я замуж!» в газете «Вечерний Ленинград». В статье Дина Г. была названа в числе девушек, еще не пострадавших, но уже поддавшихся чарам брачного афериста. Циля порвала со злокозненной приятельницей, не постеснявшейся сообщить корреспонденту про Дину Г. Тетка с племянницей никогда об этом не вспоминали.

Институтская суета проходила по касательной, так и не подарив Дине ничего волнующего, ни новых дружб, ни романов. Взрослая институтская жизнь оказалась значительно скучнее школьной. В школе Дина постоянно была погружена в какие-то не относящиеся к урокам дела: с отстающими занималась, стенгазету выпускала, помогала в библиотеке, а в институте – посидела на лекциях, и домой. Так незаметно и прошло ее время – то, что считается самым праздничным, ярким, веселым, лучше которого уже в жизни не будет. Дина жила тихо и очень отдельно, как будто для нее не было ничего важнее теток, отца с Раей и Мани в темноватом пространстве, отделенном от остальной коммуналки маленьким коридорчиком.

Со временем стыдноватая коридорная связь перестала быть для брата и сестры унижительной и безрадостной, и между ними даже завелись отношения, отличные от прежних, небрежно родственных, что-то вроде приятельства, приправленного общей тайной. Они все же выросли вместе.

А когда Косте было двадцать, а ей двадцать два, Дина в него влюбилась. Какой Костя стал высокий, какой он стал красивый, какие у него мягкие, как у Мони, глаза с длинными, словно щипцами загнутыми ресницами. Совсем взрослый парень, уже на третьем курсе Техноложки, а она все видит в нем нелепого мальчишку в глупых тренировочных штанах! Дина не поняла, что было сначала, а что потом, прежде ли она заметила его красоту или неожиданно испытала резкий спазм вместо легкого приятного чувства и только затем увидела, какой Костя красивый... Или сначала... или потом влюбилась! «Глупо выйти замуж за брата, с которым прожила всю жизнь в одной квартире и уже почти пять лет... – размышляла Дина. – А с другой стороны, при Косте есть ведь еще Маня, я стану ей еще дороже, еще роднее...»

– Костя, а что, если нам с тобой пожениться? – однажды спросила Дина, не смущаясь и глядя брату прямо в глаза. А что бы ей смущаться, они же все-таки родственники, выросли вместе.

Костя засмеялся и хлопнул Дину по плечу:

– Ага, давай, а Наум пусть тогда заодно женится на Цице, а мой отец

на Лиле, и будет у нас одна большая придурочная семейка женатых друг на друге братьев и сестер!

– Ты разве не знаешь, у евреев разрешены браки между двоюродными, это даже было принято. Мне тетки рассказывали, у них в Конотопе почти все были...

– Динка, отстань! Мне неинтересно про их конотопские корни. Раз – я не еврей, два – может, ты забыла, что у меня мать Маня? Если уж ты так интересуешься еврейскими законами, разреши открыть тебе секрет, что по вашим еврейским правилам я – русский, раз мать у меня русская. Вот так! А самое главное, я совершенно не планировал ни на ком жениться, а на тебе тем более! – Костя весело выталкивал ее из комнаты, приговаривая: – Всего тебе хорошего, дорогая, до следующих встреч!

Костя к ней привык... Пусть не любит ее, но не пойдет же он против всех, если... Дина все придумала.

Задумка ее оригинальностью не отличалась. Умная осторожная Дина знала наизусть все истории из любимой ею русской литературы: когда девушка теряла честь, а тем более беременела до брака, ее ждали только позор и презрение. Дина верила литературным примерам, но знала, что с ней все будет по-другому. Надо только все хорошо обдумать. Все годы связи с Костей она ловко пользовалась тряпочками и платками, которые после прятала в карман, застирывала в ванной, когда никто не видел, и сушила в секретном местечке за батареей в своем закутке.

...Как в книгах, удивленно думала Дина, когда невинная девушка оказывалась беременной с первого же раза! Все получилось очень быстро. Стоило однажды не воспользоваться застиранной, почти белой от долгого использования тряпочкой, как раз, и готово – задержка на три дня. В такой необыкновенной четкости выполнения природой ее планов Дина видела подтверждение тому, что все делается ею хорошо и правильно.

– Представляю, что скажет мама Маня... – задумчиво тянула Дина, сидя напротив Кости за столом в его комнате.

Костя смотрел на нее возмущенно:

– Это неправда, ты врешь, Динка!

Дине показалось, что в следующую минуту он ее ударит, и она непроизвольно отодвинулась в угол дивана, на котором только что происходила их с Костей любовь.

– У тебя нет выхода, я все всем расскажу, и тебя заставят жениться. Или ты что, думаешь, будто здесь, в соседней комнате, я буду нянчить Маниного и Мониного внука, а ты – жить как ни в чем не бывало?!

– Почему внука? – растерянно спросил Костя и в ужасе потряс

головой, надеясь, что Дина исчезнет.

– Ну внучка будет, какая разница... – Дина положила руку на Костину голову и робко придвинулась ближе. – Пожалуйста, Костя... Ты меня любишь хоть немножко?.. Ты совсем меня не любишь?..

– Я... тебя люблю? – рассмеялся Костя. – Ты обалдела, крыса, уродина?!

Дина замерла.

– Да я и спал-то с тобой из жалости, по-родственному, думал, кому ты еще нужна с твоей унылой рожей и боком обожженным! – выкрикнул Костя.

– А что, правда ужасно, да? – спокойно спросила Дина и глубоко вздохнула. – Я так и думала, я ведь купальник никогда не надеваю... хотя там маленький кусочек наружу, но все равно противно, я так и думала...

Костя, от жалости к ней мгновенно сдувшийся, как воздушный шарик, безнадежно попросил:

– Отпусти меня, Дина, я ведь тебя не люблю, зачем тебе все это?

– Ты как Колобок лису просишь... А мне что, по-твоему, делать? Все, Костенька, поздно, мы с тобой муж и жена!

– Знаешь что? – вдруг спокойно и по-взрослому уверенно произнес Костя. – Мне в нашей группе девочка одна очень нравится, Веточкой зовут. Мы с ней собирались жениться летом, после сессии, а теперь поженимся быстрее. Сейчас, завтра поженимся, поняла? А ты – делай что хочешь! Веточка знаешь какая хорошенькая, веселая и ласковая... А ты – несчастная, Динка, тебе всегда всего мало... Я пока что не сумасшедший, с тобой на всю жизнь связаться!

«Я виновата, сама во всем виновата, зачем я все это затеяла...» – плакала Дина, жалея Костю. Все равно ему придется на ней жениться, по-другому и быть не может, бедный Костя... И как же жаль себя, все-все будут знать, что он ее ни капельки не любит, ненавидит даже... Никому не удалось ее полюбить... Бедная Дина...

На следующий день Костя привел Веточку знакомиться с родителями.

– Рая, зайди к нам, посмотри, какую девочку Костя привел, боится слово сказать, – многозначительно поводя глазами, позвала Маня.

– Симпатичная, прелесть, – сказала вернувшаяся после тщательного досмотра Рая. – Хорошая невестка будет у Мани. Тихая, скромная девочка, кажется, Костю любит.

Дина ничего не ответила, только посмотрела затравленно и прижала руки к груди таким горестным жестом, что Рая удивленно замолчала. Так и молчала до прихода Наума с работы, а вечером подозвала Костю:

– Додику скажи, пусть зайдет завтра ко мне. Днем, пока Наума не будет, дело к нему есть.

Додик Гольдман, сын Семена Гольдмана, двоюродного брата Наума и Мони, Цили и Лили, приехал учиться в Ленинград из крошечного украинского городка с наводящим безнадежную тоску названием Конотоп. Сказать, что родственники приняли его как родного, было бы несправедливо, он и был им по-настоящему родным, они как будто счастливо нашли Додика после долгой разлуки. В крови у выходцев из местечек значился генетический код – чтобы выжить самим, все должны помогать родным. Им не приходило в голову задуматься, почему этот мальчик, Додик, не самый близкий родственник, полностью поступил на их содержание, почему они несут за него ответственность такую же, как за собственных детей. Принято было помогать, относиться как к сыну, вот они и помогали, и относились. Наум и Моня давали деньги, как обычно, по очереди, Маня воспринимала его как еще одну обязанность, положенную ей в этой семье, тетки привечали и ласкали, денег, правда, не давали – место самой любимой и бедной у них прочно занимала Дина.

Додик жил в Ленинграде уже пять лет, и за эти годы не было дня, чтобы он не забежал на Троицкую хотя бы на минутку. Учился в Технологическом институте вместе с Костей, и братья часто прямо из института приезжали на Троицкую. Общежитие Додик рассматривал лишь как место прописки и нечастой ночевки.

Додик был на три года старше Кости и на год старше Дины, в этом году уже заканчивал институт. Высокий, с хорошей на первый взгляд мужской фигурой, Додик был очень привлекательным. На второй, более внимательный взгляд Додик оказывался узкоплечим и слегка субтильным для своего роста, да и бедра у него были немного шире, чем положено для хорошей мужской фигуры. Додик напоминал узкий высокий треугольник или вытянутую елку с детского рисунка. Но он так хорошо улыбался, так пристально смотрел на мир всегда смеющимися глазами, что его не портило ничто, даже то, что он удивительно рано начал лысеть. К своим двадцати трем годам он еще, конечно, не был лысым, но уже очень хорошо было видно, где именно совсем скоро образуеться лысина.

Костя с Додиком дружили, какая-то у них была в институте общая компания. Наум не любил гостей и Раю приучил не водить в дом подружек,

но Додиковых друзей и девочек она иногда пускала к себе. Последнее время Додик всегда приводил с собой белокурую красавицу Иру, приходили Ирины подруги и Костины друзья, Дину тогда тоже звали, только так и случались в Дининой жизни редкие вечеринки. Дина старалась отплатить Додику как могла. Иногда, когда она точно знала, что дома никого не будет, пускала их к себе в комнату. Она стелила им белье на своей кровати в закутке за шкафом, покровительственно улыбалась Ире, подмигивала Додику и уходила. «У вас есть час, не больше. Не забудьте». И показывала на старинные настенные часы. Часы были такие, что, если и захочешь, не забудешь – отмеряя время любви, они били каждые полчаса.

Ей было приятно доставить им радость, а еще приятнее было то, что они в ней нуждались, благодарили...

– Додик, ты одет как попугай! – Рая насмешливо разглядывала Додиковы коротковатые брюки, из-под которых виднелись оранжевые носки, гармошкой наползавшие на коричневые ботинки на каучуковой подошве.

– Так модно, Раечка, ты же знаешь, ботинки мне дядя Моня на день рождения купил, а носки Ира подарила. Ты зачем меня звала? – Додик осторожно, как драгоценность, положил клетчатое полупальто на диван и бережно расправил лацканы.

– А это что такое? – Рая взяла племянника за яркий клетчатый галстук и притянула к себе. – А, Додик? Этот кошмар кто тебе подарил?

– Это я сам себе купил, не смейся. Ну что ты хотела, Рая?

Придерживая Додика за галстук, Рая задумчиво провела пальчиком по его рубашке и пропела:

– Тебе жениться пора, Додик!

Додик удивленно взглянул на расшалившуюся тетку и только собрался сказать, что и сам уже почти что собрался жениться на белокурой красавице Ирке, как замер оттого, что теткин пальчик медленно прошествовал вниз и остановился на брюках. Додик поерзал и попытался спросить: «А как же дядя Наум?» – но не успел. Рая быстро расстегивала ему брюки, одновременно развязывая пояс цветастого фланелевого халата. «Только один разок», – тихо приговаривала она.

– Ну так вот я и говорю, Додик, жениться тебе пора, – как ни в чем не бывало продолжала Рая через полчаса.

– На Ире?

– На какой еще Ире? Кто она нам, может быть, она член нашей семьи? На Дине жениться.

Додик удивленно поднял брови и ошеломленно мотнул головой. Ему,

наверное, послышалось.

– Надо жениться, Додик, – мягко говорила Рая. – А что ты к нам ходишь? А к кому же ты сюда ходишь? Ты же не ко мне ходишь, правда? Кстати, когда у тебя распределение, ты уже это знаешь, Додик? А у нас, между прочим, одна семья, твои дяди и тетки, троюродные брат и сестра... Вот так-то, Додик...

Додик кивнул и женился на троюродной Дине. Он был умный мальчик и понимал, что Рая не желает больше жить со взрослой падчерицей в одной комнате, что подросток Танечка нуждается хотя бы в Динином закутке, и, конечно же, Додик давно думал о распределении. У красавицы Иры тоже имелась ленинградская прописка, и он был совершенно уверен, что Ирка ему не откажет. Красавица-то она красавица, это правда, первая красавица на курсе, но только папаша ее, буйный алкоголик, мамаша и младшая сестра – все вместе страдали в десятиметровой комнатке в коммунальной квартире. Нет, Ирка-красавица ему не откажет, не самая она завидная невеста. Так что дело было не в распределении, не только желание остаться в Ленинграде сделало Додика послушной фигурой в Раиной игре.

Додик прекрасно понял, что Рая имела в виду. Жениться на Дине означало сохранить семейную близость и поддержку. Они отвернулись бы от него, если бы он не выполнил свой семейный долг – взять в жены безнадежную старую деву, обузу для семьи, дать возможность продолжить род, их род! Все было ясно уже давно, задумано давно, а Рая просто по доброте душевной один разок подарила ему свое пышное душистое тело, чтобы... что? Чтобы он не сопротивлялся? Он бы и так не сопротивлялся... Наверное, чтобы по-родственному подсластить горькую пилюлю. Просто пожалела его.

Не жениться на Дине – потерять семейную поддержку, навсегда потерять теток с их сующими ласковыми руками, важного, мрачного и жадноватого дядю Наума, все равно своего, родного, по сравнению с остальными, чужими. А дядя Моня с его смятыми деньгами, которые он торопливо засовывал в прихожей Додику в карманы, делая от смущения вид, что его руки что-то творят сами по себе, а он, Моня, сам по себе... С зарплаты Моня всегда покупал что-нибудь Додику, и этих подарков он почему-то не стеснялся, наоборот, придирчиво требовал, чтобы племянник хвалил выбранные им рубашки или носки, восхищался его вкусом. «Я тебе дарил две пары носков, синие и серые, – подозрительно начинал Моня. – Ты почему сегодня в синих? А где серые? Они тебе не нравятся?!» Он придирчиво впивался взглядом в Додиковы ноги, как будто пытаясь обнаружить на них недостающие носки.

Но разве дело в рублях и в носках с рубашками? Дядя Моня хлопал его по плечу, как отец, который умер три года назад, и никогда уже Додика не... Да что там говорить! Дядя Моня наклонялся интимно, шептал в ухо новый неприличный анекдот, он – свой, родной... Тетя Маня, надежно, как Александрийский столп, вкопанная в эту семью, его семью. И что? Что взамен, я вас спрашиваю! Ирка-красавица? Десятиметровый уют семьи буйного алкоголика?

Ирка – красавица, волосы золотистые, голубые глаза, круглая попка, тонкие коленки, чужая страшная семья, папаша – буйный алкоголик... Дина – закорючка, голова чуть набок и вниз, как у птицы, кривые петушинные ноги с большими неловкими ступнями, а у Ирки – золотые волосы, грудь высокая, а у Дины плоская, а может, и вовсе нет... Динка – сестра, как с ней спать?

Додик даже не делал вид перед собой, что размышляет, он знал, что решение уже принято, более того, он откуда-то знал и раньше, всегда знал, что будет именно так. Это его долг, но ни в коем случае не долг перед родственниками, не торговля или обмен услугами – они пригрели бедного мальчика из провинции, а он за это женится на некрасивой, всем мешающей Дине. Нет, просто так должно быть, и он знал это всегда.

Наум, Моня, Маня, тетки – это его семья. Что ему, Додику Гольдману, делать в семье потомственного алкоголика, случайно родившего золотоволосую красавицу дочь? Додику Гольдману предстоит жениться на троюродной сестре Дине Гольдман.

Свадьбу Кости с Веточкой и Додика с Диной сыграли в один день. С того дня, как Дина сказала Косте о своей беременности, не прошло и месяца.

Дина была полностью счастлива.

– Дина, ты теперь Гольдман по отцу или взяла Додикову фамилию Гольдман? – спросил ее Моня через стол.

Все засмеялись, а Дина серьезно ответила:

– Я теперь Гольдман по мужу.

Сидя рядом с Додиком, она держала его за руку и радовалась, что весь месяц, предшествующий свадьбе, Рая предусмотрительно, чтобы закрепить за падчерицей жениха, оставляла их с Додиком наедине. Не очень-то Додик настаивал на их близости, что правда, то правда, пришлось ей опять самой... Зато теперь она может не волноваться за свою беременность, никто ничего не узнает – ни Додик, ни родственники. Никогда! А Костя, кажется, так счастлив, что обо всем забыл. Еще она думала, что вся свадьба носила оттенок нелепого беспорядка, свойственного всему, что делала Маня.

Веточка в накинутой на свадебное платье черной короткой шубейке приехала на свадьбу на троллейбусе, Костя ее даже не встретил. Он почти не присутствовал на собственной свадьбе. Сначала Маня послала его за желатином, потому что никак не желал застывать холодец, потом он ездил к приятелю за радиолой, потом за аккордеоном. В промежутках кричали «Горько!», Костя целовал Веточку и снова исчезал по Маниным поручениям. На Костю Дина на всякий случай, когда не забывала, смотрела значительно и с поджатыми губами встречала его мимолетный взгляд. Но чаще она смотрела на своего жениха, влюбленно и преданно к нему прижималась. Разве можно сравнить Додика с наивным мальчиком Костей! Этот ее брат был настоящим мужчиной, не в пример другому.

Дину будоражила мысль, что Додик на ее глазах встречался с красавицей Ирой. Они, не стесняясь, целовались при ней, спали на Дининой кровати. Очень было приятно, что достался ей Додик прямо из чужих рук, так ей казалось слаще. Дина гордилась тем, что ее родственник Додик, хоть и не совсем настоящий жених, зато настоящий мужчина, жил с красивой девушкой, потом бросил девушку, чтобы жениться на другой, девушка плакала. А другая-то сама Дина! Дина не была злой или подлой, а только очень несчастной. Привыкшая бороться за любовь интригами, зубами и улыбками, она не верила, что любовь могут дать просто так. Ей и не давали.

После свадьбы Маня с Мoneй, оставив молодоженам свою комнату, ушли ночевать к теткам, а второй паре молодых пришлось расстаться. Наум уже купил для дочери шестиметровую комнатку, в третьем дворе их же дома, но Дина с Додиком могли туда переехать не раньше чем на следующей неделе. Додик уехал в общежитие. Возбужденная свадьбой Дина всю ночь шмыгала мимо комнаты молодоженов, стараясь поймать хоть какой-то звук.

– Наверное, Дина что-то не то съела на свадьбе, – в который раз услышав Динины шаги в коридоре, поделилась с мужем Веточка. – Может, надо встать, дать ей таблетку?

– Не надо, обойдется, – небрежно ответил Костя и улыбнулся. Какое счастье, что рядом с ним тихая нежная Веточка, страшно подумать, что на ее месте в Костиной постели сейчас могла быть Дина. Повезло!

Утром вернулась Маня, разделила двенадцатиметровую комнату пополам, и стали Костя с Веточкой жить-поживать, в институт вместе ходить. А еще через неделю Рая наконец осталась с мужем и дочерью. Первую брачную ночь Дина скоротала под дверью брата, зато они с Додиком сразу же пришли к себе домой, в комнатку, выгороженную из

кухни, а не вили гнездо под родительской кроватью, как большинство молодоженов того времени. «Подфартило тебе, Додик!» – говорили друзья. «Подвезло тебе, Дина, – сказала Маня. – Додик – жених хоть куда, и жилплощадь сразу своя».

На Дининой жилплощади стоял трехстворчатый шкаф, подарок теток и Мани с Моне́й. На самом деле Маня просто великодушно присоединила теток к своему щедрому подарку, чтобы им было приятно и не стыдно за те мелочи, которые они могли племянникам подарить. Во время свадьбы Циля, улучив минутку, скорчила Дине страшное лицо и вызвала ее из-за стола. За ними, как дуновение ветерка, потянулась Лиля. Обсев племянницу как птицы, тетки вытащили тайный подарок. На этот раз подарок и впрямь был роскошный – две старые девы заказали комплект сорочек в самом дорогом ателье города «Смерть мужьям».

Кроме шкафа в комнатке стояли диван и стол. К своему ложу супруги проползали под столом. Иногда они спали с открытой в коридор дверью, потому что под столом спал на матрасе Додиков дальний родственник Лева, приехавший, в свою очередь, из Конотопа учиться. Лева приходил к ним ночевать, когда его уж слишком донимали шум и пьянка в общежитии, что случалось довольно часто. Он не был родней Дине, но она привечала Леву, потому что его любил Додик. Половина Левы ночевала в коридоре, но соседи почему-то покорно обходили Левины ноги, расположенные прямо в проходе. Соседям нравилась Дина. Она улыбалась, никогда не повышала голоса и не делала никому замечаний, а сама всегда старалась оказать мелкую услугу – передавала, кто звонил и что сказали дети, забежав домой после школы. А каким аккуратным был Динин быт! В квартире копилось множество тазов, ночных горшков, тряпок и прочих несимпатичных предметов, но ни один из них не принадлежал Дине. Шесть метров идеальной чистоты и образцово-показательный столик на кухне. Дининой комнате соседи присудили звание «Комната высокой культуры», а если бы они могли, они бы и саму Дину украсили табличкой «Дина высокой культуры». Если бы соседи узнали, что любящие Дину тетки называют ее «шлехте мейделе» – плохой девочкой, они бы очень удивились. Они не считали ее плохой девочкой, если бы все были такие плохие, людям прилично бы жилось, так бы сказали соседи, если бы их кто-нибудь спросил.

Додик часто забегал к родственникам по дороге домой и кокетливо-грустно жаловался Рае:

– Ты не представляешь, Раечка, мне стыдно с Диной по улице идти! –

Пусть знают, какую жертву он ежечасно приносит семье. – Рая, ужас, какая Дина встает утром, – вздыхал Додик.

Еще бы Рае этого не знать. Кривая, опухшая со сна физиономия падчерицы маячила перед ее глазами много лет.

– Ну не красавица девочка, что поделаешь, таким тоже жить надо, – философски отвечала она.

Наум содержал Динину семью почти полностью. Каждую неделю, в субботу, Додик с Диной пересекали двор со списком в руках. В списке значилось все, что они купили за неделю, отдельно продукты и отдельно хозяйственные нужды. Однажды в списке было написано Додиковым мелким аккуратным почерком: «Дине лифчик». Рая, заглянув через плечо Наума, проверившего список, поместила мизинчик на «лифчик» и закричала:

– Обнаглели! Совести нет у людей, скоро на трусы будут с нас брать! – Рая швырнула тарелку на пол и продолжила визжать: – Господи боже мой, когда же это кончится, ну почему я должна всех везти на своем горбу? Тетки, Додик, Дину всю жизнь кормить, когда же это кончится! Так вы посмотрите, теперь еще и лифчик! Я сама себе лифчик когда в последний раз покупала? Не могу я так больше, не могу! Только попробуй оплати им лифчик! Вот тебе, а не лифчик! – Она сунула Додику фигу под нос.

Лифчик Наум вычеркнул, а в прихожей молча сунул дочери недостающие деньги.

Дина с Додиком были единомышленны в желании не тратить ни копейки на семейный быт. «Так ведь можно все проесть!» – учил Додик жену. «Конечно, можно, – с удовольствием соглашалась Дина. – Лучше что-нибудь в дом купить».

Свою зарплату Додик сладострастно тратил на разные «настоящие вещи» – дорогие фужеры, хрусталь, книги. Особенно он любил покупать собрания сочинений. Получив зарплату, Додик заходил к Лиле в книжный магазин на Марата, долго шептался с ней и счастливо тянул в дом тома Толстого, Чехова, Ромена Роллана. Прежде чем упаковать в газету и уложить добычу на дно шкафа, Додик любовно наглаживал каждый том. Лиля оставляла племяннику все, что выходило, и у него, мальчика из Конотопа, на дне шкафа уже собралась неплохая библиотека. Вскоре книг стало так много, что Додик хранил их теперь у теток, но расставлять не разрешал, собрания пока ждали своего часа в коробках в том самом шкафу, где прежде прятались Динины нелегальные платья.

Радуюсь Дининой скорой беременности, Додик ретиво взялся убеждать себя и окружающих, что у него самая красивая жена. Он больше не

жаловался на свой тяжкий крест в виде ужасающей Дининой некрасивости, теперь он вел с Раей и Маней совсем другие разговоры. «Идем с Диной по улице, она в голубом плаще, все на нее смотрят. А шляпка! Вы видели, какую мы купили шляпку? В точности такого же цвета, как плащ!» Додик с Диной гордо демонстрировали голубую фетровую таблетку с вуалью.

– Додик, пошарь в голове, твоя Дина, конечно, клевая чувиха, но есть женщины и покрасивей, – вежливо сказал Додику Костя, но тот в ответ только непонимающе на него взглянул.

– Все, что принадлежит нашему Додику, не может быть плохо. У него Дина скоро красавицей станет! Хорошо все-таки, что шляпка с вуалью, – Динкина невыносимая красота не так уж бьет в глаза! – злословил Моня.

Дина нервно и горячо обожала мужа. Особенно тщательно она демонстрировала свое счастье Косте и Веточке.

– А кто это у нас такой хорошенький, голодный, хочет колбаски? Ам! – сюсюкал Додик, пощипывая жену.

– Это я, твоя женушка, хочу колбаски, ам! А кто у нас хочет конфетку? Не хочешь, пусенька, ням-ням, наелся? – не стеснялась Дина, торжествующе поглядывая на родственников.

– Идите домой мурзаться! – не выдержал Моня.

Но дома неинтересно, интересно на людях.

– Дядя Моня, послушайте, у Дины уже ребеночек шевелится! – не унимался Додик. Он продолжал кормить Дину с ложечки, и счастливые молодожены бесконечно, на радость всем окружающим, не прерываясь ни на секунду, дергали, поглаживали, пощипывали и похлопывали друг друга.

Динина беременность еще не стала заметной, когда Додик впервые ей изменил, вернее, она впервые об этом узнала. Додик и не утруждался ничего скрывать, просто в субботу не пришел ночевать, появившись в воскресенье утром пропахший духами, со следами губной помады на белой майке... Так что произошло все совершенно классически. Так и пошло: духи, чужая помада, записки в карманах. Последствия были такими же классическими: Дина скандалила и рыдала, Додик просил и получал прощение, и дальше все повторялось снова. Чем сильнее муж начинал сюсюкать, тем с большей точностью Дина знала, что он только что ей изменил.

Как будто и не было перерыва на взрослую счастливую жизнь. Дина опять ходила к теткам, к отцу, к Мане. Опять она бесшумно просачивалась в Манину комнату, садилась у стола бочком и тихо жаловалась, жаловалась.

– Мама Маня, Додик вчера пришел очень поздно, я проверила его

карманы, там записка... Вот, я принесла. – Она протянула смятую бумажку. – Это ему с работы пишут, я точно знаю.

– Скажи ему, если он будет плохо себя вести, ты его бросишь и при разводе заберешь себе весь «гольд», а он останется «ман» без «гольд», – предложил Моня.

Веточка укоризненно посмотрела на свекра:

– Вы шутите, папа, а у Дины такие ужасные неприятности. – Она сочувственно покачала головой. – Оставайся дома ночевать, он испугается, что тебя нет...

– Ты ничего не понимаешь! – с превосходством глядя на наивную девчонку, ответила Дина. Когда Маня вышла из комнаты, Дина с вызовом добавила: – Твой Костя не гуляет, потому что мальчишка. Кому он нужен, сама подумай. Да не нужен он никому! А Додик мой, сама знаешь, какой интересный... Конечно, когда мужчина пользуется таким успехом, против него невозможно устоять!

Дина гордо поблескивала глазами. Она будет ждать своего лысоватого плейбоя сколько понадобится и гордиться тем, что муж ей изменяет, что он – настоящий мужчина. Она искренне страдает, но жаловаться ей нравится, тем более она привыкла, так что даже сейчас Дина больше счастлива, чем несчастна. Поставить всех родственников в известность о каждом Додиковом шаге обязательно нужно, необходимо на всякий случай подготовить себе поддержку родных. Додик не должен забывать – она не беззащитная, за ней стоит семья.

Дина была уже глубоко беременной, когда разноголосые звонки сменились одним и тем же женским голосом, муж стал подолгу задумываться, а отлучки его приобрели подозрительную регулярность. Приходя с работы, Додик горестно скрючивался на диване, поджимал под себя длинные ноги и молча сидел с видом мудрой печальной обезьянки. Дина кружила вокруг мужа, пытаясь вызвать его на разговор:

– А что ты собираешься купить с зарплаты? Я видела в Гостином Дворе симпатичную салатницу, нам как раз надо.

– Лиля мне говорила, что в этом месяце будет подписка на Драйзера... ты хочешь?

Отчаявшись, она прошелестела:

– Как ты думаешь, может быть, нам попросить у отца машину?

– С ума сошла! – наконец услышал ее Додик.

– Ничего не сошла, попробовать можно.

В эту ночь Додик опять любил ее как прежде, а вечером пришел рано и мечтательно обсуждал, какая жизнь была бы у них, если бы вдруг, что,

конечно, совершенно невозможно, каким-то чудом у них появилась машина.

Она завела разговор с Наумом, подловив его во дворе.

Просить было глупо и неправильно, поэтому Дина сразу перешла к делу:

– Я все знаю о твоих делишках, – спокойно сказала она.

– Что ты имеешь в виду? – Наум медленно направлялся к подъезду, вынуждая Дину бежать за ним.

– Да... А вот в прошлом месяце, например, ты купил по дешевке два блюда без клейма. Я слышала, как ты похвалялся, что александровский фарфор – самый дорогой... Или серебряная корзиночка, кружевная такая, на ней сначала не было клейма Фаберже, когда ты ее покупал, а потом оно откуда-то взялось... Я знаю откуда! – отчаянно крикнула она в спину отцу.

Наум обернулся и тяжело посмотрел на дочь.

– Мне все известно, как ты налоги платишь, про фальшивые накладные. Я правда все знаю и сколько у тебя денег знаю! Я сообщу куда следует обо всех твоих делах! – беспомощно шипела Дина. – Ты можешь купить нам машину, у тебя же это не последние деньги, тебе это почти что совсем ничего!

– Ну сообщишь куда следует, и что? Тебе-то что от этого? Ну посадят меня, дальше что? Анкету себе испортишь, и все. – Кажется, впервые за долгие годы он так внимательно рассматривал Дину.

– Папа, он меня бросит! – Дина жалобно схватилась за живот. – Куда я с ребенком, я и так-то никому не нужна... А машину на тебя запишем, он тебя возить всюду будет. Ну на тебя же запишем! Она же твоя будет, не его!

– Будешь держать его на коротком поводке... – пробубнил Наум и, аккуратно потопав галошами, не оглядываясь на плачущую дочь, понес себя к лифту.

Дина семенила за ним. Вполне по-советски образованная и неглупая, она не задумалась, откуда в ее достаточно патриархальной еврейской семье завелись повадки Павлика Морозова. Она не защищалась перед собой, ссылаясь на вечный фанатизм любви, ей даже просто не было стыдно. Она всего лишь боролась за свое счастье – всем же положен кусок, почему ей нельзя?!

Отец дал деньги, вряд ли от страха, скорее от стыда и неловкости за дочь. Совсем было ушедшие воспоминания о Мурочке почему-то тревожили его все чаще и болезненней. Когда старшая дочь перестала ежедневно маячить перед глазами, а Танечка перестала быть вызывающим умиление пухлым пупсом, Наум все чаще задумывался о своей вине перед

Диной. Она стояла перед его глазами жалким нелепым подростком. Да, он любил Танечку больше, но неужели он совсем не любил Дину, просто терпел ее все эти годы? Ну ничего. В конце концов выросла, выучилась, ни в чем не нуждается, а все, что ей должен, ей и Мурочке, он постарается возместить деньгами...

Додик привез Дину с дочкой из роддома на машине – новеньком голубом «Москвиче». Хорошенькая Анечка, вылитый Додик, целый год спала в ванночке, стоявшей на столе, до тех пор, пока в шестьдесят третьем году Наум не купил племяннику, дочери и внучке трехкомнатную квартиру в одном из первых кооперативных домов в Сосновке, рядом с парком. «Это последнее, что я делаю для нее, больше не дам им ни копейки», – говорил себе Наум, печально покачивая головой над коробочкой с драгоценностями. «Что ты весь вечер перебираешь цацки?» – лениво поинтересовалась Рая. Она знала, что ради Дининой квартиры пришлось продать Мурочкины бриллиантовые серьги. Рая ничего не сказала, хотя могла бы напомнить Науму, кто девчонку растил. А кто девчонку растил, тому и серьги, разве не так? А Рая промолчала, ей это зачтется.

Внести деньги за кооператив оказалось недостаточно. Нужно было еще поставить дочь в кооперативную очередь без очереди. «Очередь без очереди», – усмехнулся Наум и опять принялся горестно вздыхать. Рая уже давно спала, а он все кряхтел над кольцами. Наконец выбрал одно, самое дешевое и пышное. Казалось, за этот вечер его носогубные складки стали глубже, словно в них собирались слезы, которые он мысленно пролил, расставаясь с колечками. Конечно, колечко с изумрудом не отличалось безупречным вкусом, но Наум любил все свои вещи, и даже это кольцо, украсившее пухлый палец райисполкомовской дамочки, было слишком для нее хорошо...

В доме рядом с Сосновским парком оказалось много молодых семей, все они хотели обсуждать свое счастье, дружить и веселиться. В течение года двери квартир в доме не запирались, люди с восторженными лицами бродили из квартиры в квартиру. То и дело кто-то просовывался в дверь и кричал: «Эй, хозяйева, я на минутку зайду!» За ним моментально появлялись другие соседи: «Ах, вы все сегодня здесь! Я на минутку» – и присаживались пить чай до вечера.

Первый Новый год встречали всем домом в Сосновском парке: елку огромную нарядили, Додик с Диной Анечку в коляске выкатили. Как же они были тогда счастливы...

28 января 1983 года

Позвонила Рая, громко дышала в трубку и наконец сказала, будто протанцевала:

– Фри-доч-ка! Доченька! – Рая не называла так Дину с детства, всего несколько раз до Танечкиного рождения так к ней обратилась.

У Дины сладко ухнуло сердце.

– Диночка, мы получили разрешение! Никому сейчас не дают разрешения, а нам дали! Кончились наши мучения!

Дина молчала. Решение ОВИРа не отпускать Наума и Раю на историческую родину полностью ее удовлетворяло. Государство проявило в данном случае трогательную заботу о ней, Дине, она надеялась, что мама навсегда останется с ней.

– Папе семьдесят лет, какой может быть Израиль с его сердцем, там такой жаркий климат, – слабым голосом проговорила Дина.

Рая недоуменно повела плечом. Отъезд не обсуждался. Они уедут к Танечке. Еще двадцать лет, а то и больше, проживут рядом с дочерью.

Начались сборы.

– Неужели ты все продаешь? – ежедневно интересовалась Дина. – Я, между прочим, твоя старшая дочь, Анечка – единственная внучка. Мог бы и оставить нам что-нибудь. На память. Мне и Анечке.

– Ты, Дина, все уже получила. Не настырничай! – напомнила помолодевшая от счастья Рая. – Квартиру тебе купили, машину купили, Додик на ногах... А это все наше. – Она довольно оглядывала антикварную красоту.

«И Танечкино», – едко добавила про себя Дина.

Наум с легкостью продал старинную мебель. Особенно хорошо ушла ампирная гостиная, пышная и солидная – символ богатой незыблемой жизни. Полные гарнитуры встречались редко, а вот у него был как раз полный. Неожиданно дорого купили Раин туалетный столик, он и правда был невероятно хорош изысканными линиями раннего модерна. Массивный кабинетный диван тоже оказался недешевым.

Мебель вывозили в один прием. На вывоз пришла значительно мрачная Дина, нужды в ней не было, но она желала присутствовать. Она очень надеялась получить туалетный столик, провожая его глазами, чуть не заплакала.

Отодвинули от стены буфет, открыв забитую после ссоры дверь в бывшую Монину комнату.

– А что, с Монею прощаться?.. – нерешительно спросила Рая сегодня

утром.

Наум промолчал. Нет. Не будет прощаться, не сможет, не переживет. Уедут, и все тут. Он недвижимо стоял посреди комнаты, мешая всем тяжелым взглядом. Грузчики обходили Наума, как забытый не на месте чемодан.

– Посторонитесь, папаша! – тяжело выдохнул один из-под комода красного дерева. Стоящий на огромных лапах комод не был ни ценным, ни красивым, Наум любил его за массивную основательность. А сколько в нем было ящичков и ящичков!

– Ну-ну! – Рая подскочила, мерно похлопала его по плечу, словно успокаивая испугавшуюся машины лошадь.

Наум, шаркая, понес себя к подоконнику. Насупившись, отвернулся к окну. Толстыми мясистыми пальцами поглаживал потемневший латунный шпингалет начала века, смотрел, как ветер раскачивает подвешенные на цепях фонари над подъездом напротив. «Как странно, – подумал он, – фонари пережили революцию, войну, а почти все старинные стекла с фасетами целы...»

В опустевшей, без ковров и без мебели, огромной комнате Наум казался не таким квадратным, как обычно. С вынесенной мебелью будто унесли и его хозяйскую вальяжность. Он вдруг ссутулился, как Мونها, это ведь младшему брату вечно кричали: «Монька, выпрямись!» – а сам он всегда держался прямо и значительно, и Монина беспомощная искательность вдруг проглянула на его лице.

– Что ты стоишь как памятник своему несчастью? Можно подумать, у тебя забирают твоих собственных детей! – Рая скривила веселые яркие губы, но тут же осеклась. Обиженный Наум был похож сейчас на старого надувшегося младенца, и, пожалев его, она ласково проговорила: – Ой, какие мы бедные, какие несчастные... Нема, ты плачешь за мебелью, как ребенок за погремушкой. К дочери едем! А ты все – мебель!

Рая потряхивала завившимися с новой силой кудряшками, хихикала как девчонка, показывая дорогу на вынос старинным буфетикам, консолям, книжному шкафу. Глаза ее играли по-молодому, с грузчиками переглядывалась кокетливо, она уже и сама забыла, когда вела себя как красавица. «От тетка! Хоть и в годах, а все еще хоть куда!» – сказал пожилой грузчик молодому. Рая услышала и расцвела, даже пару раз игриво хлопнула Наума по сторбившейся спине.

Наум отнюдь не впал в детство. В нем вновь заиграла притупившаяся последнее время коммерческая жилка. Недаром он очень любил покупать.

Ну а если не покупать, так продавать или меняться, как в детстве. С той же страстью, что когда-то выискивал и приобретал, он бросился теперь искать покупателей. Сама атмосфера сделки, торг, заранее продуманные уступки и ходы волновали его и доставляли почти физически ощущаемое удовольствие.

Сюрпризов никаких не случилось, ни одна заваливавшаяся вещь не оказалась вдруг музейной редкостью, но все же, все же. Александровский фарфор без марок удалось пристроить хорошо, две тарелки военной серии – золотой ободок, а в середине красавцы гусары представляют свою форму. На европейских аукционах каждая такая тарелка начиналась с трех тысяч долларов. Чайная пара с видами Петербурга фабрики Батенина – по тысяче долларов чашка, пара тарелок с видами села Грузина и чашек из серии с розами по аукционным ценам тянули тысяч на десять долларов. Но ведь какие в России цены, ни в какое сравнение...

– Красивая посудка... Умели люди жить, – сказал Науму покупатель, большой партийный человек. Особенно ему понравились чашки в пурпурных розах.

– Сделано на Юсуповском заводе в Архангельском, – сказал Наум. И зачем-то добавил: – Они покупали белье и затем расписывали.

– Какое белье, при чем здесь белье? – удивился партийный покупатель.

Наум махнул рукой, не стал объяснять, что белье – это всего лишь белый фарфор. Будоражащее удовлетворение от удачной сделки почему-то улетучилось, и потихоньку он впадал в обычную мрачную молчаливость. Отодвинув манжет с запонкой, Наум взглянул на часы, потерявшиеся на его волосатой руке. Простые квадратные золотые часы были у него так много лет, что он даже не помнил, когда их себе справил. Часы придется оставить здесь или взять? Можно вывезти только несколько золотых вещей. Или лучше взять запонки? Запонки его любимые, золотые, с небольшим агатом...

1 марта 1983 года

Слава богу, что коллекцию зверей – серебряных, янтарных, нефритовых, фарфоровых, – «зверья», как говорил Наум, купили целиком. Как ребенок, зажав в кулаке, понемногу тонкой струйкой сыплет песок, то останавливая струйку, то пуская вновь, так Наум из кулака цедил своих крошечных зверюшек. Вот прозрачная янтарная лисичка, вот обезьянка слоновой кости, вот нефритовый заяц с золотыми бусинами глаз, фарфоровое семейство куропаток настолько тонкой работы, что диву даешься: как может быть сделана такая красота человеческими руками!

Наум задыхался от нестерпимого желания сжать кулак, закрыть зверюшкам ход, прекратить наконец эту вакханалию расставания, это зверство, это безобразие!

Ночью, после того как его зверье ушло от него, Наум долго мучительно ворочался, не мог заснуть. Болело сердце, то ли от духоты, то ли с непривычки спать на раскладушке, а не на своей кровати с высокой резной спинкой, то ли с тоски по фарфоровым тарелкам и чашкам неземной красоты, доставшимся партийному человеку. Наум видел, как покупатель избегал его взгляда, старался не показать своего интереса, будто насекомое разглядывал – с интересом, но безглаголиво. Почему это интересно? Наум застонал. Особенно жалко было нефритовую пару – олениха с олененком, такие нежные... Его вдруг прижала страшная, нечеловеческая жалость к нэцкэ, зверью, кушетке «жакоб»...

– Да что же это, господи! За что ты вынимаешь из меня сердце? – вслух простонал он.

Рая спала, похрапывала.

– Я старый человек, – вдруг размеренно произнес Наум.

Вечером следующего дня пришла Дина с семейством. Предотъездная суета не располагала к официальным визитам. Рая оттягивала знакомство с Аниным женихом сколько могла, и родственные посиделки были для нее сейчас скорее формальным мероприятием. Динина семья остается в старой жизни, а Рая всеми помыслами была уже с Танечкой, в ее красивом доме с цветущим садом. Наум был еще более молчалив, чем обычно, все казалось раздражающе бесполезным, бессмысленным... Он же не увидит, как Анечка будет жить с этим, как его... Олегом.

Сидели на соседских стульях вокруг соседского же раскладного стола. Стол назывался странно – «книжка». Наум брезговал его тонкими ножками, игрушечной фанерной столешницей в разводах от чайника, старался его не касаться. Познакомились, вежливо поинтересовались родителями жениха.

– Ах, вы не из Ленинграда? А откуда?.. А-а, ну и как там? – спросил Наум и, не дождавшись ответа, произнес: – Все продал... – Он значительно замолчал и, пожевав губами, повторил: – Все...

– Анечка, это тебе от нас на свадьбу, – бодро проговорила Рая и торжественно преподнесла Ане кольцо – бриллиантовую «малинку». Мурочкино колечко, из тех, пышных, что она никогда не надевала, стеснялась.

Аня бросилась целовать сначала ее, потом деда. Додик улыбался, Дина сидела с недовольной гримасой на скучном лице: это далеко не самое ценное, что есть у отца, пожалел лучшего для единственной внучки.

– Все продал... – тоскливо повторил Наум.

Все молчали, только Додик по своей привычке жалостно цокал языком и приговаривал неразборчиво:

– Что же делать, дядя Наум, это всего лишь вещи.

– Вещи?! – окрепшим голосом воскликнул Наум. – А лягушка? Что делать с лягушкой? Боже мой, изумрудные камыши, брильянтовая луна...

– Продать и забыть, что делать! – засмеялась Рая.

– Что-то мне сердце жмет, – капризно пробурчал Наум.

– Валокордину накапать? – Метнув подолом, Рая вышла из комнаты.

Наум встал, походил по пустой комнате, уселся на стул в стороне от всех. Прикрыл глаза, сжимая лягушку в руке.

С чем-чем, а с лягушкой он расстаться не может. Фига! Он решил. Он вывезет лягушку. Лягушка приехала с ним из Германии, он не дал ей замерзнуть, всю дорогу грел в теплой руке, лягушка-путешественница ехала-ехала и наконец приехала... Мы едем, едем, едем в далекие края... Над ним вдруг склонилась Мурочка, дрожала нежными губами, затем мама... Наум резко повалился на бок.

Рая вошла с валокордином в рюмку. Над лежащим на полу Наумом сгрудились Дина, Додик, Олег. Аня, замерев, стояла чуть поодаль. Рая выронила рюмку, закричала страшно, как положено...

– Мамочка, – бросилась к Рае Дина.

Олег вызвал «Скорую», помог снести тело Наума вниз, Дину поддерживал, Аню поглаживал. Аня с обожанием на него смотрела – вот какой!

Дина осталась ночевать с Раей, а остальные ночью уехали домой. В машине Додик задумчиво сказал:

– Я когда-то читал рассказ про людей, у которых жизнь вдруг пошла обратным ходом. Если кто-то любил путешествовать, он заново попадал в те места, где уже побывал раньше. А если кто-то, к примеру, покупал много вещей, он относил все это обратно в магазин, продавать... Может быть, если так любить свое... свои...

Аня укоризненно вздохнула, и Додик замолк на полуслове.

– Дедушка многим помогал, ты же сам рассказывал... Теткам, тебе, Танечкиному мужу...

– Господи, да, – отозвался Додик. – Да!

– Давид Семенович имел в виду, что твоему дедушке было трудно расстаться с вещами, которые он любил, – заметил Олег.

Додик кивнул и посмотрел на него с благодарностью.

– У евреев есть такой обычай: что бы ни случилось, жизнь должна продолжаться, – авторитетно заявил Додик. – Поэтому никогда не отменяют праздников, похороны не мешают свадьбе.

– Откуда ты знаешь? – скептически посмотрела на мужа Дина.

Додик неопределенно махнул рукой в пространство:

– Так, один знакомый рассказал...

– Можно подумать, мы по еврейским обычаям живем! Как мама скажет, так и будет, – любовно улыбаясь, Дина обернулась к Рае.

Девочкой она всегда чувствовала себя сироткой, кроме тех нескольких месяцев, пока молоденькая Рая не забеременела Танечкой. Сейчас Дина словно опять обрела мать, наслаждалась Раиным одиночеством, беспомощностью и зависимостью от нее. Мама опять принадлежит только ей. «Танечка далеко, папа умер, кто же у нее есть, если не я?» – с гордым удовлетворением размышляла Дина, ухаживая за мачехой как за ребенком. Та капризничала в еде, ленилась и страдала от мигреней. К ним обеим как будто вернулось прошлое, когда беременная Рая не вставала с дивана. Дина почти переселилась к ней, и Раины дела занимали ее сейчас гораздо больше, чем дочкина свадьба. От счастья заботиться о маме Дина даже стала мягче лицом, расцвела, как другие расцветают, заведя любовника.

– Наума не вернешь, свадьбу надо играть, что же теперь...

Описанный сомнительным знатоком еврейский обычай пришелся как раз ко времени. Переносить свадьбу было сложно – гости приглашены, стол заказан, осетрина, икра, балык и буженина добавлены к тривиальному ресторанному столу, кружевное белоснежное платье готово.

Додик попросил, чтобы дочь выходила замуж в фате.

– Папа, фата – это пошло, ты не находишь? – возразила Аня. – Может быть, будет достаточно цветов в волосах?

– Фата – символ невинности, надевается раз в жизни, – назидательно изрек Додик, будто читая вслух энциклопедию.

31 марта 1983 года

Свадьба была торжественная и пышная, с приглашенным тамадой и цветистыми тостами. Торжество было как будто только Аниной семьи – зачитывалось жизнеописание невесты, начиная с младенческого возраста, демонстрировались семейные фотографии и снятые Додиком любительские фильмы. Среди пятидесяти приглашенных Додиком «самых близких» витал завистливый шепоток: «Сколько денег выброшено!» – и иногда даже: «Пошло!» «Взрослые» гости заполнили все свадебное пространство, кроме «родственников и знакомых кролика», как шутил Додик,

присутствовали несколько смущенных такой роскошью друзей Олега и обособленная стайка Аниных девочек из группы.

Поскольку у Ани не было близких подруг, возникла проблема со свидетельницей. Она долго прикидывала, кого из равноблизких или равнодалеких девочек выбрать на роль свидетельницы.

– Остальные обидятся, – озабоченно повторяла она.

– А ты напиши имена своих девчонок, кинь бумажки в шляпу, я вытащу, – предложил Олег.

Он пошутил, но Ане, вечно страшившейся кого-нибудь обидеть, это показалось замечательно справедливым. Она провела процедуру выбора в институте, попросив самих девочек по очереди тянуть из ее сумки бумажки с заранее написанными именами. Случайная свидетельница очень мило несла за невестой шлейф.

Олегова мама – учительница – сидела в центре стола, всем без разбора предъясняла настороженные глаза и робкую улыбку, была похожа на бедную, приглашенную на праздник к демократичным богатым. К концу вечера она невыносимо устала, и нерешительная приклеенная улыбка забыла отклеиться, застыла, превратившись в вымученную гримасу.

После свадьбы Олег с Аней приехали домой с Диной и Додиком. Новую родственницу, мать Олега, Дина предпочла отправить в комнату теток на Маклина, нежели пустить к себе.

Аня сняла свадебное платье, переделалась в джинсы и футболку, а Олег остался в костюме, как гость. Уселись пить чай и рассматривать, кто что подарил. Общая неловкость витала над наборами посуды и постельным бельем, маленьким кофейным сервизом, серебряными ложками и шкатулкой с рифленой кожаной крышкой.

– Вот люди, – недовольно заметила Дина, отбросив шкатулку в сторону. – Кому нужна такая вещь, просто передаривают подарки!

Подарков было немного, в основном конверты с деньгами. Не зная, как разойтись по комнатам, от неловкости пересчитали деньги – пустые конверты в одну сторону, деньги в стопку. Только что кухня была заставлена нарядно перевязанными пакетами, витиевато надписанными конвертами, а теперь остались скомканная оберточная бумага и стопка денег на столе.

– Пора спать, все устали, – наконец произнесла Дина, и по ее команде все потянулись по комнатам: родители к себе, а Олег с Аней к себе. Всю ночь Додик с Диной не спали. Не то чтобы специально контролировали, что происходит, а так, не спали, и все – то ли прислушивались, то ли, напротив, старались не прислушиваться.

– Я пойду в туалет? – нерешительно спросил Додик.

– Лежи тихо, не мешай им, – не пустила Дина.

Аня с Олегом тоже прислушивались к чужим звукам и старались не издавать своих. Все у них было тихо и спокойно, как будто всю жизнь женаты. Первая брачная ночь прошла, и началась жизнь.

Летом проводили Раю. В трех юбках и норковой шубе до пола, накинутой на лисий жакет, она казалась какой-то меховой глыбой.

– Зачем тебе шубы в Израиле? – в который раз безнадежно спросила Дина в аэропорту, вытирая платочком пот, градом струившийся с Раиного лица.

– Бабушка, может, хоть одну юбку снимешь, – предложила Аня.

– Ни за что! – отрезала Рая, жалобно подумав: «Теперь у меня ничего нет, мне лишняя юбка не помешает».

– Бабушка-бабушка, зачем вам летом три юбки и шуба? – дурашливо пропел Олег и тут же сделал серьезное лицо.

– Затем, внучек, что в багаж можно сдать только двадцать кг, остальное на себе, – пропела в ответ Рая. Она с Олегом подружилась, кокетничала, и как-то они постоянно друг над другом подтрунивали.

– Додик, я знаю, ты порядочный человек... – еще раз на прощание повторила она.

Смерть Наума кардинально переменяла семейную ситуацию. В одну секунду Дина из бедной Золушки превратилась в богатую наследницу, причем наследницу единственную. Ни с чем осталась обожаемая Танечка. Ни с чем осталась Рая. Вернее, что касалось Раи, дело обстояло не совсем так. Ей надо было выбирать – либо уехать к дочери такой же нищей, как уезжали все, либо остаться очень богатой вдовой в Ленинграде, но тогда уже без дочери.

Продавая ценности, Наум имел, конечно же, свои планы по переводу денег за границу. Способы эти остались, но у Раи не было на них выхода, да Рая бы и побоялась. Рая нисколько не сомневалась, что не женское это дело – раз, и все равно обманут – два.

Те же выходы, что и Наум, мог бы найти и Додик, но практичная Рая хорошо понимала, что он ни за что не станет рисковать, и даже просить его об этом нельзя, если хочешь остаться родственниками. Есть вещи, которые человек может сделать только для себя, а родственная любовь и преданность имеют свои границы. Рае пришлось смириться с тем, что огромного наследства она скорее всего не увидит никогда, и если хоть что-то получит, то только с Додиковой помощью.

Все оставшееся до отъезда время Рая не без умысла крепила родственные связи, нежно любила Дину с Анечкой, дружила с Додиком и привечала Олега. Дина вслух своих мыслей не высказывала, но в душе считала, что Бог судил по справедливости.

«Я смирилась, – говорила Рая подругам, – а что же мне было делать?» У Додика останутся деньги, их с Танечкой доля. Когда-нибудь, при первой же возможности, Додик выручит. В те годы часто практиковали простую схему: уезжавший на постоянное место жительства, желая помочь родным, брал в Союзе рубли, а за границей отдавал валюту. Это не страшно, не рискованно для Додика, он обязательно поможет, но тут нужен случай, время. Она не сомневалась, что Додик сделает все как надо.

Рая уехала. Так и проследовала через паспортный контроль в двух шубах: из прохладного ленинградского лета в сорокаградусную жару. Дина с сухими глазами на помертвевшем лице, расталкивая провожающих, щурилась и вытягивала шею, чтобы увидеть маму в последний раз.

2000 год

ЛИЗА

Лиза истерически боялась летать. Она надеялась, что провожающая ее во Франкфуртском аэропорту Ольга не заметит, что Лиза уже не с ней, а в замкнутом пространстве своего жуткого страха. Говорит что-то, прощается с Ольгой, целуется, сама не своя от страха.

– Спасибо тебе! – прощально махнув рукой, крикнула она Ольге у паспортного контроля.

– Позвони, скажи, как долетела!

Лиза кивнула и, стараясь не пошатываться, прошла через проход. Счастливая Ольга! Спустится на лифте в подземный паркинг, сядет в синий «гольф» и поедет в свой чудный городок Майнц. Между прочим, по земле поедет, а она, Лиза, скоро окажется в воздухе, беспомощно зажата между чужими людьми...

Как удачно в конце концов все сложилось у Ольги после нескольких лет постперестроечной бедности середины девяностых, когда в их институте ни ей, ни мужу, доктору наук, зарплату не платили вообще, а если и платили, то символическую.

– Выдали зарплату, хватило на пару колготок и «Сникерс»... – смеялась Ольга.

Ее муж был выше того, чтобы бегать в поисках заработка, сидел в лаборатории безвылазно, а как вести хозяйство на «символическую зарплату», остроумно объяснял с точки зрения физических закономерностей. Ольга считала его гением.

– Только ты можешь веселиться, когда не знаешь, будет ли твой ребенок завтра сыт, – сердилась Лиза. – Пусть твой муж крутится, зарабатывает! Ничего, корона не свалится!

– Мой муж – гений!

Когда дело касалось мужа, чувство юмора ее покидало. Она бегала сама. Чем только не занималась, даже агентом по недвижимости прирабатывала, кстати, весьма успешно.

– Мне помогают мой супераналитический ум и организованность мышления! Человек с техническим образованием просто не может пропасть, если он, конечно, не окончательный идиот, – уверяла она.

Лабораторию Ольга не бросала, между делом умудрилась защитить

диссертацию, растила сына от Геня, но ее напористый оптимизм понемногу начал спадать.

И тут неожиданно в Европе вспомнили про русские гениальные мозги, и Геню предложили контракт в Германии, да с такими условиями, что большинство их «раскрутившихся» знакомых оказались позади. Ольга с Гением и сыном жила теперь в принадлежащем компании аккуратном доме в богатом районе, работала в лаборатории вместе с Гением, который еще читал лекции в Майнском университете, имела приличный счет в банке и подумывала о переезде в Брюссель, где Геню предлагались еще более замечательные условия. Свою нынешнюю успешность она переносила не хуже, чем нищету, – как всегда, была достойна и смешлива одновременно и, главное, ничуть не играла с Лизой в преуспевающую западную даму.

– А я боялась, что ты будешь хвастаться, как наши богатые: «Ах, мы объездили всю Европу вдоль и поперек, ах, вся Европа такая одинаковая...» А еще думала, вдруг ты поведешь меня в дорогие магазины и небрежно так скажешь: «Ну, Лиза, сюда мы не пойдем, здесь для русских очень дорого... Кстати, я купила себе здесь чудную кофточку... Всего за сто миллионов долларов!» – Лиза засмеялась и добавила: – Я шучу! Уж если я смогла не только легко пережить ваши успехи, но и радоваться, как за себя, значит, ты, Ольга, – лучший человек на свете. Кто угодно может измениться, только не ты!

На посадке Лиза подозрительно оглядела пассажиров. Знала, что идиотизм, но ничего не могла с собой поделать. Так происходило всегда, кроме тех случаев, когда она летела с дочерью. Ксения отвлекала бесконечной болтовней, да и вообще с ней было спокойней. Странно. Вроде как ночевать на даче одной невыносимо страшно, а с ребенком почему-то нет, хотя, если вдуматься, как раз вдвоем с ребенком должно быть еще страшнее.

Один пассажир, смуглый, небольшого роста, с восточным лицом, Лизе очень не понравился. У всех были сумки большие и маленькие, сетки, авоськи и коробки, даже у хорошо одетых дам имелись при себе пластиковые пакеты из дорогих магазинов. У самой Лизы был в руках картонный пакет магазина «Benetton» с кожаной курточкой для Ксении и двумя одинаковыми большими коробками печенья из дьюти-фри для Инны Сергеевны и Мони. Любимый европейской молодежью «Benetton» недавно открыли на Невском, в двух шагах от дома, печенье можно было купить в любом магазине, включая круглосуточный киоск напротив их окон, но Ксения и дед трепетно относились к иностранным подаркам. Правда, в киоске могло не найтись двух одинаковых коробок для стариков, и что

тогда? Страшно представить! Ольга от себя послала Моне толстый махровый халат, синий в золотых разводах.

– Моня твой – настоящий Мафусаил! – восхищалась Ольга, выбирая в магазине из груды халатов самый нарядный..

Лиза взглянула на ценник и ужаснулась:

– Очень дорого, давай что-нибудь попроще поищем.

– Ты только подумай, когда мы были девчонками, он уже был «дед», теперь нам по сорок, а он все еще «дед»! Прямо какой-то Вечный жид! Кстати, кто это, Вечный жид?

– Персонаж христианской легенды позднего европейского Средневековья, – машинально ответила Лиза.

– Да? А я думала, что так называют очень старого еврея. – Ольга внимательно рассматривала халат.

– Вечный жид никогда не умрет, этот персонаж много раз использовали в литературных сюжетах, например, Шелли, Жуковский, – объяснила Лиза голосом первой ученицы.

Ольга улыбнулась:

– Моня – Вечный жид, а ты – вечная отличница.

– Кстати, знаешь, что интересно? После того как Моне в синагоге выдали справку, что он еврей, ну, для отъезда моих, дед потихоньку обратно стал евреем. Я его вожу в синагогу раз в месяц, он там тусуется со стариками... Смешно, правда?

– Что смешного? Возвращаются люди к религии предков, – возразила Ольга, потрогав крестик на груди.

Монин халат занял полчемодана, поэтому в руке у Лизы пакет. И у всех так, что-нибудь обязательно в чемодан не влезет. А вот у этого смуглого паренька ничего не было. Только маленький рюкзачок за спиной. А что у него в рюкзачке? Взрывное устройство?

Лиза всерьез раздумывала, не позвать ли ей службу безопасности. Ну и пусть она окажется смешной, не сдадут же они ее в полицию за ложный вызов. А вдруг он и правда... террорист?

Поднимаясь по трапу рядом со смуглым «террористом», Лиза обреченно думала: «Все. Не решилась вовремя, теперь все!» На входе в самолет в последний раз мелькнуло: «Сейчас возьму и убегу, своим предчувствиям надо доверять!»

– Здравствуйте! – подхалимски улыбнулась она стюардессе, понимая, что упустила последнюю возможность предотвратить теракт, и двинулась к своему месту.

Лиза даже не удивилась, обнаружив себя рядом с «террористом». «Он,

наверное, мусульманин. Говорят, если на мусульманина пописать, он не сможет взорвать бомбу, потому что нет смысла умирать нечистым... Жаль, что я не мужчина». Она не могла вспомнить, не анекдот ли это.

По другую руку от «террориста» сидела пожилая женщина. Лиза бережно свернула куртку, привычно порадовалась бирке «Calvin Klein» на подкладке, сняла и расправила шелковый шарф с бирочкой «Donna Karan», вытянула ноги, с удовольствием посмотрев на ботинки «Pollini». «Жизнь удалась!» – подумала она словами из анекдота про новых русских и хихикнула. Часть Лизиного сознания в полете была совершенно не в себе, а другая часть спокойно за ней наблюдала. Что же делать, так бывало всегда.

Еще не набрав полностью высоту, самолет вдруг резко ухнул вниз и загудел. В салоне напряженно замолчали. «Курточка Ксюшина пропадет, жалко, она именно такую клячила...» – тоскливо подумала Лиза. Лизин сосед-«террорист» вытащил крошечный Коран, а его пожилая соседка – иконку. После пяти минут напряженного молчания, когда стало очевидно, что все в порядке, Лиза и «террорист» облегченно улыбнулись друг другу. «Ну ты и дура, матушка, – сказала себе Лиза, – попробуй лучше поспать, гроза международного терроризма».

Поспать не удалось, зато удалось подумать.

Разговоры с Ольгой и встреча с родителями растревожили ее. Ольгу не видела два года, родителей год... С Ольгой провела три дня, потом съездила к родителям и вернулась к Ольге. Хорошо, что от нее улетала, не так грустно.

...Родители уехали год назад. Перестройку не выдержали. Перебивались как-то, Костя вообще зарплату не получал полгода, Веточка работала страховщицей. Веточкина подруга уехала в Германию, писала письма, как хорошо, как спокойно, и пособия хватает, даже могут откладывать и в соседнюю страну съездить, например, в Париже были. Веточка вздыхала, перечитывала. Потом вдруг приходит вечером и спрашивает Моню:

– Папа, а можно как-нибудь восстановить документы, что вы – еврей?

Моня всполошился:

– Я... я в детстве и молодости был евреем, а потом русским. А сегодня на рынке я слышал «проклятые еврейские жида», так один продавец другому говорил. Я на всякий случай отошел подальше, к помидорам и огурцам, и там немножко постоял, ведь это я «проклятый еврейский жид». А что? Тебе зачем?

– Папа, давайте возьмем справку, там посмотрим.

Документы восстановили, взяли Моне справку в синагоге. В справке черным по белому значилось: «Михаил Данилович Бедный, в метрике Моисей Давидович Гольдман, является евреем».

Веточка все организовала, проявила вдруг резвость, прежде ей не свойственную. Моня смеялся:

– Я, Михаил Данилович Бедный, в девичестве Моисей Давидович Гольдман...

Получив справку в том, что он еврей, Моня ужасно загордился. «Дед полностью изменился, – веселилась Лиза. – Приобрел национальное самосознание. Пытался представляться Давидовичем, хотя последние пятьдесят лет прожил Данилычем, важничал, через каждое слово говорил с достоинством: „Лично я считаю...“

Все остальное оказалось несложным. «Проще пареной ре-пы», – гордо повторяла Веточка. Что-то в этом просторечном выражении отвечало ее внутреннему состоянию, наверное, несочетаемость ее самой, советской инженерки Веточки, и близкой жизни в сердце Европы. Сдали документы в немецкое консульство, немецкое консульство убедилось, что Костя, Монин сын, хоть и русский по паспорту, тоже еврей. Разрешили Косте въехать в Германию и русской Веточке вместе с ним как члену семьи.

Лизу не звали, понимали, что не поедет. А Моню уговаривали, упрашивали. Вечерами, набегавшись по своим предотъездным делам, Веточка плакала, сердилась и снова плакала:

– Папа, как же вы без нас? Посмотрите, какая бедность вокруг. Что нас ждет! Я хочу хотя бы в конце жизни пожить!

– Я понимаю, что там хорошо, а здесь плохо, но я лучше хочу, чтобы мне было плохо здесь... где мне хорошо, – запутался Моня. – В общем, я с Лизой останусь. И могилка Манина здесь...

– Лизочка, доченька, ты понимаешь, как я жила, – объясняла, как просила прощения, Веточка. – Я всю жизнь прожила через попу...

– Ты что? Как это? – Лиза испугалась, что Веточка так ругается.

– Все говорили: «За Маниной спиной прожила». А думаешь, мне легко было? За ее спиной? Это тебе она была бабушка, а мне – свекровь! Я и хозяйкой-то в доме никогда не была... Полы мыла всегда, оглядываясь через попу, правильно ли мою, что она скажет... Так и прожила всю жизнь через попу... – Веточка всхлипнула.

– Мама, уезжайте, не плачь... Дед со мной останется, вы приедете в гости, потом мы... Ксения подрастет, может, захочет в Европе учиться... Мы же не расстаемся навсегда...

– Дед будет с Лизой! – важно подтвердил Моня.

Он совсем не выглядел несчастным, наоборот, казался, как никогда, оживленным и деятельным, будто мысленно потирал руки. Сыну и невестке его решение казалось дикой стариковской дурью, граничащей со старческим слабоумием, Веточка даже слово научное Косте нашептывала: «Деменция, Костя, у него старческая деменция...» – но Моня-то знал, что никто из них не был настолько в своем уме, как он сам.

Моня давно мечтал навести во внучкиной жизни порядок. Лиза догадывалась, что дед строит планы взять все в свои руки – ее, Лизу, хорошенько с утра до вечера кормить, свекровь Инну Сергеевну научить наконец правильно лечиться, а уж с правнучкой, Ксенией, он состоял в такой теплой хихикающей близости, будто были они не прадед с правнучкой, а лучшие подружки. О чем могут часами шептаться два болтуна с разницей в возрасте в несколько поколений?

Моня чувствовал себя у руля. Моне открывалась новая жизнь, куда более интересная, чем безрадостное стариковское угасание в чужой стране.

– Этот их отъезд стоил мне полздоровья! – смахнув слезу, значительно сообщил Моня, когда родители скрылись из виду, растворившись в толпе, следующей рейсом «Петербург – Франкфурт». – В следующем году обещали приехать... Не знаю, доживу ли... – И тут же по-деловому добавил: – Сразу домой поедем или, может, сначала на рынок заскочим?

Если тебе восемьдесят лет, а ты еще кому-то нужен... Лизе после смерти мужа он был нужен, это дед знал совершенно точно.

Игорь умер летом, в свой день рождения. Ему исполнилось пятьдесят. Ксении было десять, Лизе тридцать четыре... В жизни Игорь не любил привлекать к себе внимание. «Я человек камерный, моя жизнь – исключительно мое частное дело», – говорил он. А вот умер он на людях, будто взял реванш за тихую жизнь. День рождения его всегда справляли на даче, там, среди людей, пьяного летнего веселья, тостов под шашлыки, вдруг схватился за сердце и умер. Даже «скорую» не успели вызвать. Лиза стояла посреди растерявшихся друзей и ошеломленно крутила в голове дикую мысль: как же так, взять и умереть при всех... «Инфаркт – вещь коварная!» – пожав плечами, объяснил Лизе врач «скорой помощи».

Первый месяц после его смерти Лиза, словно бусинки, перебирала воспоминания, стараясь нанизать на нитку самые яркие, особенные, такие, чтобы внезапно зарыдать, почувствовать – жизнь кончена! Нитка никак не собиралась. Лиза специально одиночество свое выставляла перед собой и рассматривала, как фотографию, внимательно, растравляя себя, горестно повторяла: «Я одна, одна... Мы с Ксенией сиротки...» И все равно их с

Игорем жизнь представлялась ей в виде дремлющей пушистой кошки. И воспоминания приходили в голову такие же уютные, мягкие и сонные. Прозрачные дачные вечера над Ксюшиной коляской, пушистый снег, под которым они вместе катали Ксению с горки, а еще огромные пакеты с подарками под новогодней елкой, а еще однажды к маленькой Ксении пришел абсолютно пьяный Дед Мороз, Игорь снял с него шубу, бороду и шапку и сам Ксению поздравил, а еще желтые пушочки мимозы для нее и Ксении... Во всех воспоминаниях Ксения была третьей...

– Получается, что у нас как будто бы не было жизни! Я не могу вспомнить ничего, кроме пасторальных картинок. – Лиза требовательно смотрела на Машу. Понять ее могла только Маша, ни Ольга с ее здоровым мироощущением, ни тем более мать. – Ну не было у нас страсти, не было ссор и примирений, ну и что же, значит, неправильная у нас была жизнь? Нет, ты мне скажи правду, какая у нас была жизнь? – Лизе казалось, что сейчас они с Машей найдут подходящее для ее жизни слово, и тогда она сразу же откроет что-то важное для себя.

– Ты жадина-говядина, Лиза, тебе вечно чего-то недодавали, то спокойствия, то страстей... Чего тебе не хватает? Воспоминаний, как он тебя бил, пил, изменял тебе?

Маша знала, о чем говорит, она свои личные страсти хоть и преувеличивала, но в ее жизни с бывшим благополучным журналистом всего было в избытке.

– Может, ты просто ищешь себе оправданий? Игорь твой был чистый ангел, в отличие от тебя...

Ну да, были у Лизы любовники, но ведь кратковременные, не тронувшие ее душу, не мешавшие семье, она не виновата, она же только ласковее с Игорем становилась...

Сказать, что жить с Инной Сергеевной было тяжело, значило не сказать ничего. Та не переставая плакала и жаловалась на здоровье, подозревала Лизу в том, что она вот-вот выйдет замуж. Даже если Лиза спускалась за почтой, свекровь была уверена, что та вернется с новым мужем. С Мoneй будет полегче. К тому же Лизе хотелось квартиру, по-настоящему хорошую квартиру в центре, в ней охотничий азарт просыпался, когда думала, как можно сталинскую четырехкомнатную и родительскую трехкомнатную поменять!

Перезванивались строго по графику: раз в неделю – они, следующую неделю – Лиза. Веточка рассказывала обо всем очень подробно: где были, что видели, что купили. По их описаниям все закоулки небольшого

немецкого городка были хорошо знакомы Лизе, а когда она вошла в крошечную квартиру, ей показалось, что она здесь уже бывала. Конечно, по европейским меркам мебель, посуда и бытовая техника были вчерашним днем, но для Веточки немецкий вчерашний день был самым что ни на есть радостным настоящим. Родители были всем довольны. Поправились, каждый день гуляли в парке, любовались лебедями. Веточка два раза в неделю ходила убирать чей-то большой дом, Костя иногда охранял какой-то офис. В Париж съездили. «Разве мы могли об этом мечтать? Представляешь, я – в Париже?» – спросила Веточка. Приятелей завели, сказали, что они тоже из Ленинграда. Так и не привыкли говорить «Петербург», а Лиза уже привыкла.

– Наш самолет произвел посадку в аэропорту Санкт-Петербурга.

Оказывается, она все время, что самолет шел на посадку, просидела, вцепившись в рукав «террориста». Лиза разжала кулак и виновато улыбнулась. «Террорист» улыбнулся в ответ. «Какой милый мальчик, и лицо такое умное, тонкое», – отметила Лиза.

Вырвавшись наконец из душного зала прибытия с чемоданом в одной руке, пакетом в другой и сумочкой, зажатой между плечом и подбородком, Лиза набрала скорость и стала пробираться между встречающимися. Из толпы вынырнула Ксения, бросилась ей на шею, в припадке чувств умудрившись одновременно боднуть ее головой и легонько укусить за ухо. Обвитая дочкиными длинными светлыми волосами Лиза слегка пошатнулась, рядом с пышной Ксенией она смотрелась хилым подростком. Лиза локтем вытерла пот со лба, неловко повернулась и выронила сумку. Наклонилась одновременно с дочерью, стукнулась с ней лбами, засмеялась, а когда выпрямилась, поймала чей-то настойчивый взгляд. Лиза еще не узнала уставившегося на нее человека, а сердце уже ухнуло, и сразу пронзила мысль: «Вот дура-то я! Как обидно, что не встречает водитель на офисной машине!» Еще не узнала до конца, но гордо вскинула подбородок и глаза сузила, как кошка. Олег.

– Лиза? Как ты? А я.. мы тут сына встречаем... Ты откуда летишь? Сейчас два рейса сразу прилетели, Тель-Авив и Франкфурт. Ты сама откуда?

– Из Франкфурта.

– А сын из Тель-Авива прилетел... Вот он. – Из-за плеча Олега выглядывал высокий мальчик с удивительно приятной застенчивой улыбкой.

Ксения дернула ее за рукав и зашептала:

– А я его знаю, ну то есть не знаю, а мы учимся вместе в Школе

журналистов...

– Привет! – узнав Ксению, произнес мальчик.

«Красивый мальчик, породистый. Как Олег. Какое хорошее у него лицо, и красоты своей он, похоже, стесняется», – отстраненно подумала Лиза.

– Надо бы как-нибудь увидеться. Мы тут еще одного человека ждем, он еще не вышел... – растерянно бормотал Олег ей в спину. – Вот моя визитка.

Лиза поставила чемодан, вытащила из сумки визитку и, не глядя, протянула назад руку. Олег вложил ей в руку глянцевый кусочек картона, и она неторопливо, с очень прямой спиной, направилась к выходу.

– Лиза! Чемодан! – Он поднес ей забытый на полу чемодан и ринулся обратно.

Олег взглянул на Лизину визитку и скривился. «Главный редактор журнала... Сейчас каждая газетенка в три листа объявляет себя журналом, надо бы посмотреть, что за журнал...» – почему-то неприязненно подумал он.

«Заместитель генерального директора предприятия...» – прочитала Лиза. «Сейчас любой швейцар норовит назваться вице-президентом».

Лиза плыла.

– Сейчас покурю, и пойдем за машиной, – сказала она Ксении. «Я не собираюсь за ним подглядывать. Только покурю вот тут в сторонке и пойду. За машиной. Интересно было бы посмотреть на его жену... Неужели она не встречает сына? И кто же из всех этих женщин его жена?»

Лиза обернулась и попыталась разглядеть Олега в толпе встречающих. Нереально. И его самого уже не видно за спинами людей, а тем более того, с кем он в этой толпе. Ее вдруг ударило. Аня!..

Тогда, семнадцать лет назад, беременная Лиза в один день обрубилась все: и Олега выгнала, и Ане позвонила. Железным голосом сказала: «Ты мне больше никогда не звони. Ты для меня не существуешь. Все». Больше Лиза ничего о них не знала. Не знала и знать не хотела. Первое время гадала, вместе ли они, а потом и вовсе запретила себе о них вспоминать. Помнить об Олеге было все равно что предать беспомощную Ксению, пятьдесят один сантиметр, три килограмма четыреста граммов. Лиза забыла, как будто Олег и на свет никогда не родился.

Неужели Аня его жена? В этом-то Лиза должна убедиться. Имеет право. Лиза повернулась и вошла обратно в зал. Встала в сторонке, поднялась на цыпочки. Да вот же она! Постарела, с удовольствием отметила Лиза, лицо огрубело. Ну, если честно, красивая, яркая, как всегда

была, только лицо чуть опухшее, щеки немного отвисли... И прическа какая-то странная: волосы с немодным красноватым отливом подняты в высокий хвост, как будто ей все еще двадцать, а у самой второй подбородок намечается. А главное, поправилась, не уродливо толстая, конечно, как в детстве, но и не такая худенькая, как Лиза. Так себе, полноватая тетка в кожаном плаще, очень дорогом, но совершенно бабском. Правда, таких пышногубых ярких брюнеток полнота не очень портит. Сама Лиза в короткой куртке и узких черных джинсах со спины казалась подростком. А это... неужели? Додик, Дина... Не старики, конечно, хорошо сохранившиеся пожилые люди, но... Сколько же им лет, около шестидесяти? Почему-то казалось, что Додик с Диной стареть не должны. Боже мой, сколько времени прошло, целая жизнь! Все, она достаточно увидела. Можно ехать домой.

– Я тут подружку из лагеря встретила, сто лет ее не видела, можно я с ней поеду? – верещала Ксения. – Ты не обидишься? Ты же любишь одна ездить!

Лиза кивнула.

Она часто оставляла машину на стоянке в аэропорту. Если ее встречали, Лиза прибывала домой в плохом настроении – слишком резким оказывался переход в повседневную жизнь. К состоянию своему Лиза относилась внимательно, как к капризному прибору, зная, что из неважного настроения может вырасти долгий «плохой» период. Лучше побыть в машине одной, постепенно возвращаясь мыслями из поездки. И сейчас купленный всего полгода назад синий джип «судзуки-витара» пришелся особенно кстати. «У Ани Олег, а у меня джип! И я, между прочим, на него сама заработала, в отличие от большинства дамочек», – подумала она и улыбнулась своим детским мыслям.

Лиза вслух разговаривала сама с собой короткими, рублеными фразами. Это случалось с ней нечасто, только если уж очень волновалась. Так, звуком собственного голоса, она себя успокаивала.

«Олег такой же красивый? Стал с возрастом лучше? Хуже? Не поняла. Поняла только, что это он. Может, он теперь лысый, кривой, хромой. Не видела. Странно. Все сразу. Встреча с родителями, с Ольгой. Жизнь теперь бежит так быстро. Не то что раньше. Когда была девочкой, жизнь казалась бесконечно медленной. А теперь все быстро. Мгновенно. Неделя пробегает так, что не успеваешь подумать. Месяц, год. Это потому, что стала такая жизнь. И у меня свое дело. Журнал. Или потому, что сорок лет. Тоже может быть. А с другой стороны, странно, что раньше не встретились. Ни с кем. Ни с ним, ни с Аней. Черт с вами со всеми. Аня выглядит старше, чем я...

Потому что толстая. Толстая женщина всегда кажется старше. Правильно, что я исправила зубы. Раньше зубы торчали вперед. Как у кролика. Всю жизнь переживала, улыбалась в ладошку. Как только появились деньги, поставила себе брэкет. Примета новой жизни и новой себя. Все смеялись: взрослая тетка ходит с проволокой для детей. Зато теперь зубы почти прямые. Олег, наверное, заметил... Эта чужая сорокалетняя тетка – Аня. Аня не сделала мне ничего плохого. Ни о чем не знала. Конечно!.. Ее любили. Оберегали. Как всегда. Со мной только спать, а с ней ходить в театр. Мне ни одного ласкового слова, а Ане фата и свадебный букет... Кому вершки, а кому корешки...» – Лиза представила себя простодушным медведем, а Аню хитрым бородатым мужиком, засмеялась и въехала в свой двор. И что она так взволновалась, глупо!

Для окончательной дрессировки настроения надо было выполнить еще один ритуал – покурить одной во дворе. За полгода, что Лиза жила здесь, в Толстовском доме, не было дня, чтобы она не останавливалась на минуту, прежде чем войти в подъезд. Если уходила и возвращалась несколько раз за день, то останавливалась каждый раз. Думала всегда одинаково: какая красота и какая она, Лиза, молодец.

Лиза любила подробно вспоминать, как все получилось. Она всегда все сама! Ну, правда, квартиры ей достались от родителей и от мужа, но ведь родители уехали, в общем-то бросили ее с Моней. Игорь умер, тоже в некотором роде оставил ее, и не одну, а с Инной Сергеевной... Можно было бы разменяться с ней, но как ее такую старую оставить одну без обожаемой Ксении!

Лиза посмотрела множество квартир: больших, красивых, в хорошем состоянии и полуразвалившихся – разных. Одна квартира была потрясающая, в объявлении особо было подчеркнута: «два камина». Лиза еще не вошла в эту квартиру, еще только в машине номер дома сверяла с адресом на помятой бумажке, но уже решила, что будет здесь жить. Адрес был «Дворцовая набережная, дом №...». Два камина, белого и зеленого изразца. Белый камин с золочеными решетками, а зеленый с большими порталами... Лиза вышла на набережную и заплакала. К каминам прилагалось печное отопление. Кто мог подумать, что в наше время может быть печное отопление и не быть горячей воды... Петербург! После каминов как-то все остальное не ложилось на душу, ни на что не могла решиться, настроение испортилось, и азарт прошел. Лиза начала думать, что нет для нее квартиры, как вдруг поняла, что не нужны ей камины из чужой красивой жизни и есть только одно место, где она хочет жить. Она

удивлялась: как она не вспомнила о доме своего детства... Улица Троицкая, Толстовский дом. В Лизином детстве там жил дядя Наум с тетей Раей, а совсем давно – Маня с МонеЙ, Лизины молодые родители и родилась она сама.

Когда Лиза вошла во двор Толстовского дома, взглянула на раскачивающиеся от ветра старинные фонари, она поняла, что согласится на любую квартиру. Только бы здесь. Она не сразу вспомнила квартиру родственников, сама не пошла, попросила в агентстве узнать, кто там сейчас обитает. Оказалось, что Гольдманы давно уже съехали, а квартира предлагается к расселению. Сделку совершили очень быстро, и через три месяца Лиза уже вводила плачущего Моню туда, где прошли двадцать лет его жизни.

– Может, мне в комнате Немы поселиться? – робко спросил дед, обойдя квартиру. – Не жирно мне будет такая зала?

– Живи где хочешь, – ответила Лиза.

Моня подумал-подумал, походил еще по комнатам, к каждой примерился, прислушался к чему-то в себе.

– Приемник мой сюда заносите! – крикнул он грузчикам, показывая на бывшую свою двенадцатиметровую комнату.

– По сравнению с моим возрастом двадцать лет не такой уж слишком большой срок, дорогая Инна Сергевна, – разливался соловьем Моня за вечерним чаем. – Но какие двадцать лет? Здесь еще была жива мама, здесь мы с Немкой поссорились из-за брошки, как два гопника... да... хотя он был, конечно, не прав... Здесь мы с Манечкой жили, Костя родился, Лизочка...

Ксения просила его каждый вечер:

– Дедусик, расскажи из прошлой жизни...

– Разве девочке может быть интересно, такие старые майсы^[9], – кокетничал Моня, быстренько усаживаясь за стол.

– Господи, Ксения, зачем тебе истории про людей, которых ты никогда даже не видела! – рассердилась однажды Лиза, застав эти посиделки в третий раз на неделе. – Лучше бы почитала что-нибудь или уроки повторила.

– Уроки! – Шестнадцатилетняя Ксения возмутилась так, как будто Лиза предложила ей съесть собственную голову. – Я знаю, мамочка, тебе хочется, чтобы я была как наша отличница Женька Петрова, целыми днями зубрила уроки, а в перерывах что-нибудь умное читала. А знаешь ли ты,

мамочка, что у всех отличников...

Тут Ксения сделала страшную паузу, и Лиза подумала: «Что?» – а дочь рывкнула:

– Морда чайником! А я у тебя вон какая хорошенькая!

Лиза затушила сигарету и потянула чемодан к подъезду. На звонок выскочила Ксения и с обиженным воплем: «Где ты шляешься! Я уже давно дома, смотри, как люди быстро ездят, знала я, что ты еле ползешь, но чтобы так, на полчаса позже меня приехала!» – опять бросилась на Лизу.

Ксения гордо выпячивала пышную грудь, обтягивала узкими джинсами совершенно дамского размера попку, и полнота казалась ей таким же очаровательным свойством собственной натуры, как и все остальное. А «все остальное» в Ксении было удивительно хорошо. Лиза не переставала поражаться, как могла она, серая мышка, произвести на свет такой безупречно качественный экземпляр типичной блондинки-красотки.

Самым удачным описанием внешности дочери был набор клише из дамских романчиков Анны Гориной. Почему из множества сомнительных произведений, наводнивших книжные прилавки, Ксения выбрала эту даже не особенно популярную Анну Горину, Лиза не знала. Заглянула однажды в зачитанный дочерью тонкий томик и брезгливо поморщилась! «Он целовал все, что попадалось на пути его губ, – шею, подбородок, губы, нос...» «Какая пошлейшая ерунда! – возмутилась Лиза. – Странно, если бы ему по очереди попались сначала шея, затем ноги». Ксения любила поесть за чтением, и захватанные жирными пальчиками шедевры валялись у нее повсюду, она даже в ванную с собой тащила маленькую книжечку с очередной длинноволосой дивой на обложке. «Золотые кудри, яркие пухлые губки, голубые глаза, светлые пушистые ресницы, невинный взгляд» – так описывала своих героинь ее любимая писательница, и все это в точности подходило Ксении. Лизе ее собственная асимметричная, кажущаяся небрежной прическа, тонкие, правильной формы брови и яркие губы стоили нудных часов в салоне красоты. Лиза ненавидела умащивать себя, удобрять, как почву, но в противном случае мышинового цвета волосы жалко свисали вокруг лица, брови кустились, и все Лизины сорок лет были тут как тут, надеты на подростковое тело. А вот дочка, не в пример ей самой, будет хороша всегда, любовно думала Лиза.

Свое детство она помнила как сгусток обид и недовольства собой, когда плохое настроение сменялось очень плохим, а Ксения так гармонично любила себя и окружающих, словно преподносила себя жизни как самый ценный подарок. «Мне повезло! – говорила она. – Мать у меня – лучший человек на земле, дед – самый клевый на свете, бабуля немножко

зануда, но бывает и хуже, а сама я розовая и хорошенькая, как поросеночек».

Ксения действительно цвела бело-розовой прелестью, и считаться настоящей красавицей ей мешала лишь самодовольная грация молодого слоненка, которому из жалости похлопали за только что исполненный пластический этюд, а он, дурачок, поверил в искренность вежливых оваций и скачет, радостно притоптывая. Она даже на диетах сидела без надрыва, поигрывая с различными удобными ей в данный момент способами питания.

– Мамочка! – Ксения задохнулась от восторга, прижав к себе новую куртку. – Сейчас-сейчас, погоди, я ее померю с джинсами, с короткой юбкой, с длинной юбкой, с широкими брюками... – Она метнулась в свою комнату.

Из кухни в конце коридора спешил, шаркая, Моня. Как всегда после долгого перерыва, Лиза больно поразила его птичьей хрупкости.

– Дед, Ольга тебе халат послала. – Лиза открыла чемодан.

Она всегда выдавала подарки в прихожей, надеясь его отвлечь, но дед с курса не сбивался. Натягивая халат, он немедленно приступил к отчету:

– Ты больше на меня дом не оставляй! Ксения, например, ничего не ела, кроме апельсин огромных!

– Дед – ябеда! Я сижу на новой потрясающей грейпфрутовой диете. Уже удалось схудеть попу на два килограмма. – В коридор высунулась Ксения в одной штанине, но зато в куртке и ярко-красной кепке.

– Я ей сегодня принес мясо с рынка, торговался, дешево отдали... Сделал шашлык. – Шашлыком Моня почему-то называл любое мясное блюдо, кроме котлет.

– Мне кажется, что этот шашлык еще вчера мяукал, – прошептала Ксения, делая страшные глаза.

– Как ты себя чувствуешь, дед? – переключила Моню Лиза.

Дед наконец натянул халат, который оказался непомерно велик: внутри халата, казалось, вообще не было тела. Когда они с Ольгой выбрали размер, она почему-то представляла себе Моню таким, как раньше, плотным, с животиком, лет на десять моложе, а он теперь как высохшая птичка... Моня воздел вверх руки. Выглядел он в синем с золотыми разводами одеянии совершенно как император в изгнании.

– Сама с ней оставайся, сама с ней справляйся, лично я умываю руки...

Со стороны могло показаться, что Моня говорит о Ксении, но речь шла о свекрови. Инна Сергеевна не желала лечиться согласно Мониному разумению, ставила горчичники на икры, а не на спину, не так мерила

давление и принимала не те таблетки.

– А насчет того, как я себя чувствую, так я тебе сейчас покажу. Тут без тебя заходил врач, выписал мне кое-что новое. – Моня выудил из кармана широких брюк кипу рецептов.

«Надо было еще покурить во дворе, – подумала Лиза и начала потихоньку продвигаться к своей комнате. – Мне еще повезло, что у деда в его восемьдесят лет совершенно ясная голова. И передвигается он самостоятельно, вон даже на рынок путешествовал. А что он так любил лечиться, ходить к профессорам, это можно пережить».

– Еще один рецепт у меня в комнате, сейчас принесу. – Дед повернулся и гордо потрюхал к себе. – Инну не разбуди, она уже спит, я проверял, – обернулся он с половины дороги, остановился на мгновение, приняв еще раз позу императора в изгнании, и опять быстро наябедничал: – Она таблетки до еды принимает, а врач велел после!

Лиза нахмурилась. Если Инна Сергеевна заснула, не дождавшись ее, значит, ей и правда неважно... Вздохнула, подумала: «Завтра. Предстоит еще просмотр новой куртки в сочетании со всеми нарядами, подробным обсуждением, и можно будет лечь спать».

Утром ворвалась Ксения, на этот раз со своим мобильным телефоном. Телефон был модным, и, кроме множества ненужных, с точки зрения Лизы, функций, в нем жил виртуальный котенок.

– Мама! Посмотри на моего котенка! Я его выставила на конкурс виртуальных животных! Он занял третье место!

– Среди скольких участников? – заинтересованно спросила Лиза из-под одеяла, привычно сделав стойку на слово «конкурс».

– Трое участников. Ну и что? Третье место тоже неплохо. Пойду деду скажу. Мы с ним вместе за котенком ухаживаем.

– Ксения, все!

Утренняя злобноватая Лиза сильно отличалась от вечерней, мягкой и благодушной. И дочь, и дед сейчас ее раздражали. По утрам лучше не попадаться Лизе под руку, это всем известно, поэтому домочадцы от греха подальше устроились в комнате Ксении. Моня был озабочен состоянием телефонного животного так сильно, будто подобрал виртуального кота на лестнице плачущим завшивевшим комочком и самолично выкормил из соски. Лиза не была уверена, что он до конца понимает, что кот ненастоящий.

Она застелила свою постель, затем зашла к дочери. «А что это я стелю постель шестнадцатилетней корове?» – вдруг злобно подумала она и велела:

– Ксения! Поменяй себе постельное белье! – Вышла, довольная своей строгостью, заглянула к свекрови, выпила кофе и полезла в чемодан.

«Все надену новое: и брюки, и блузку, и пиджак!» – радовалась Лиза. Внезапно из комнаты дочери послышался страшный вой. Лиза бросила блузку, побежала.

– Я такая никчемная, не могу одеяло вставить, жизнь моя несчастная, у меня к тому же прыщ вскочил... – Ксения лежала на кровати, запутавшись в пододеяльнике.

Лиза молча вышла. Так, брюки черные, пиджак тоже, блузка белая с черным, что это она как ворона, нужно какое-нибудь яркое пятно, например, голубой шарфик... или лучше желтый?

Опять раздался крик:

– Мама! Иди ко мне!

Лиза не двинулась с места, застыв над двумя шарфиками. Ксения пришла сама.

– Что ты орешь? – спросила Лиза, не отрывая взгляда от зеркала.

– Я ногу сломала.

– Где, в пододеяльнике? И как же ты пришла?

– Пришла вот. – Ксения несколько раз подпрыгнула на месте. – Посиди со мной. – И поучительно добавила: – Ты – мать.

Скользнув по открывающей машину Лизе презрительным взглядом, соседка по двору уселась в свой «мерседес». Когда Лиза уезжала в Германию, соседка владела глазастым «мерседесом», а сейчас, спустя десять дней, уже новой, последней моделью. По сравнению с ним Лизин джипик – парвеню, нувориш, официант, на минуточку делающий вид перед самим собой, что приглашен на прием в качестве гостя. Соседка всегда проносилась сквозь узкий двор, как будто участвовала в ралли. С Лизой она подчеркнуто не здоровалась, впрочем, как и с остальными. На следующий день после их переезда Ксения, захлебываясь от возмущения, рассказала, как утром соседка выскочила из машины и по-рыночному пошла орать на замешкавшегося при выезде со двора владельца «Жигулей».

– Руки в боки уперла, глаза выпучила и орала: «Как ты смеешь! На моем пути! Стоять! Я здесь самая богатая! У меня одна серьга стоит больше твоей машины!» Прямо так и кричала на этого бедного мужика. Назвала его «нищий мудак» и еще... – Ксения обожала исподволь вернуть что-нибудь ненормативное. – Это не я говорю, это она, богатая культурная женщина так выражается. Дядька, бедняга, даже заперся, решил, что она буйная, сбежала из дурдома!

Лиза дочери не поверила, но, разглядев соседку и пару раз не получив ответа на свое «Доброе утро!», решила, что все могло быть. Такая сядет в «мерседес» и думает, что она сама – «мерседес».

Лиза не завидовала соседке-«мерседесу». Она вообще давно уже никому не завидовала, и не потому, что личность ее вдруг претерпела невероятные изменения, нет. Лиза как бы вывернула свою вечную зависть наизнанку. С тем же постоянством, что прежде мучилась чужими успехами, Лиза ежедневно напоминала себе, что она всего добилась и завидовать должны ей. Не важно кто: соседка-«мерседес», все человечество.

В какой-то психологической книге она прочитала, что зависть – это не что иное, как непрекращающаяся операция сравнения, свойственная высокоразвитому интеллекту. Чем более развит интеллект, тем завистливее человек. Зависть – двигатель прогресса, зависть помогает человеку сначала захотеть, потом добиться желаемого.

Определение шуточное, но в каждой шутке есть доля шутки, подумала тогда Лиза. Понадеявшись на открытие для себя новых миров, она прочитала книгу до конца, но все остальное оказалось вполне тривиальным – начинайте любить себя с утра, преданно улыбайтесь себе в зеркало, рассматривайте свое утреннее помятое лицо, умиленно повторяя: «Какая я красивая». А вот призыв автора: «Завидуйте, друзья мои, и тогда у вас все получится!» – пришелся ей по душе. «Где бы я сейчас была, если бы не завидовала всем с утра до вечера! – в душе рассмеялась тогда Лиза, подсовывая книгу Ксении, вдруг та прочтет. – Сейчас бы маялась инженером, жила бы в хрущевке, ездила на старом „Запорожце“, тусовалась бы на своих шести сотках вокруг редиски, бегала бы в школу унижаться перед учителями за сыночка-двоечника, один раз накопила бы денег и съездила в Турцию...» Лиза брезгливо перечисляла в уме все самое страшное, что могло бы случиться с ней в жизни, могло, но не случилось, потому что она, Лиза, умела правильно, конструктивно завидовать. Если зависть – это умение сравнивать и анализировать, а также быстро выстраивать нужные ходы, тогда именно зависть и помогла ей стать тем, кем она стала.

Лиза выехала из двора на Троицкую, повернула на Невский и направилась к офису – своей главной гордости.

Офис в особнячке на Кирочной, в историческом центре – это настоящий успех, соседские «мерседесы» перед этим сущий пустяк!

Карьеру Лиза сделала по советским временам устойчивую, добротную, но без особого блеска. Лизина карьера была такой же, как и все их с Игорем жизненное устройство, как уютная четырехкомнатная квартира в сталинском доме – хорошо, солидно, но без размаха. Заместитель начальника строительного управления – завидная должность для тридцативосьмилетнего мужчины, но выше Игорь так и не поднялся. Полностью сфокусировался на своих девочках, на Ксении и Лизе.

Уже через несколько лет после окончания университета Лиза стала в своей газете редактором отдела. Да, в редакции шептались – «блатная», «карьеристка», ну и что? Это правда – «блатная»: квартиры ремонтировали, дачи строили, ее муж был нужен всем.

То, что казалось романтикой профессии, – беготня по заданиям, дежурства по номеру, – удивительно быстро стало докукой, и Лиза с облегчением оставила опостылевшую журналистскую рутину. Писала она по-прежнему с трудом, натужно выдавливая мало-мальски приличный текст по капле, прекрасно отдавая себе отчет в том, что топорным языком ваяет тривиальности. Уж на то чтобы понимать собственную бездарность, ее журналистского опыта хватало. А вот редактором отдела информации она оказалась прекрасным: знала, как правильно задания раздать, с чужими материалами управлялась разумно, понимала, что вызовет интерес, а что можно и подальше загнать.

Лиза припарковалась на своем обычном месте, аккуратно втиснувшись между редакционным «мини-вэном» и «фольксвагеном» своего заместителя. Редакция занимала второй этаж изящного розового особняка с колоннами. А когда-то все они – и редакторы, и секретариат – ютились в крошечной двухкомнатной квартире с облупленными стенами и застоявшимся запахом чужой неопрятной жизни.

У истоков новой журналистики Лиза оказалась в числе первых, в начале девяностых, как только появились глянцевые журналы. У кого-то из разбогатевших приятелей Игоря имелся совсем уж неприлично успешный знакомый. Он был настолько богат, что пожелал вложить деньги в журнал с целью прославить свое имя. Сам искатель славы на сцене не появился. Предварив знакомство указанием быть уверенной в себе и одновременно скромной, Лизу познакомили с его доверенным лицом, будущим издателем. Уверенность и скромность были как раз тем сочетанием, которое Лиза тренировала в себе долгие годы.

Издателю понравилась Лизина в меру улыбчивая деловитость, понравилось то, что она сразу призналась: сама пишет посредственно, но

уже имеет несколько идей касательно концепции нового журнала, людей, которым можно поручить детальную разработку, а также хорошо знает всех, кто пишет интересно. Служба всемогущей в редакции Мадам, когда-то пройденная Лизой, научила ее понимать, что требуется от нее в данный момент, плюс нюансы – выражать преданность и согласие либо настаивать на своем мнении, но настаивать своевременно и не раздражающе. Недаром Мадам в свое время хвалила Лизу: «Ты на редкость хваткая, это твой самый большой плюс, Бедная Лиза!»

Издатель заявил: «Делай журнал! Даю тебе карт-бланш».

Иметь карт-бланш было страшновато, но Лиза согласилась – не упускать же случай! Она никогда прежде не работала сама по себе, но кто из журналистов работал? Поначалу Лиза впала в панику, но выручил ее всегдашний здравый смысл, да и новичком в журналистике она не была, все-таки с первого курса работала корреспондентом и уже несколько лет – редактором отдела.

Бессмысленно мучиться самой – интересных идей нет и взяться им неоткуда, поэтому главное – набрать правильный штат, самых талантливых, неординарных, способных увлечься, работать за интерес. Привлечь людей оказалось несложным, зарплаты и гонорары в новом издании предлагались сказочные. Лиза набрала штат известных своим творческим подходом редакторов, обозревателей и корреспондентов. Профессионалы выстроились в очередь, и она могла выбирать, наслаждаясь первой в жизни настоящей властью.

Талантливые с головой погрузились в работу, увлеченно придумывали концепцию и макет нового журнала. Лиза неуверенно, с оглядкой выдвигала довольно невнятные идеи и, боясь оскандалиться, даже ничего не написала в пилотный номер. В такой концентрации талантов Лиза, как удар тока, ощутила свою журналистскую бездарность. Правда, шок и отчаяние, как и все ее отчаяния, длились недолго. Да, журналисты были талантливы, но вся эта машина вертелась благодаря ей, Лизе. Она раздавала задания и анализировала предложения, которыми заваливали ее креативщики. Общаться с издателем, проверяя безумный шквал идей на нужность и бесполезность, корректировать и доносить до редакции пожелания начальства, держать все в своих руках, осуществлять связь между начальством и редакцией – это талант ничем не хуже, говорила себе Лиза и постепенно набиралась уверенности. Издатель ее хвалил за ловко набранный штат из самых незаурядных журналистов, за то, что чувствует конъюнктуру. Как-то почти мгновенно Лиза обнаружила, что стала «лицом»: ее начали приглашать на городские мероприятия, пусть и не

самые значительные. Лизу настолько повело от ее значимости, что она, исключительно ради соответствия новому имиджу успешной деловой дамы, немедленно завела первую после рождения дочери быстротечную любовь, вернее, не любовь, а любовника. Сказать, что сейчас Лиза не могла вспомнить его имени, было бы явным преувеличением, но никакого следа в ее жизни он не оставил. Как, впрочем, и все остальные. Зато она помнила все, что касалось журнала: давно исчезнувшие тематические рубрики семилетней давности, удачные статьи и фотографии, фамилии всех корреспондентов, когда-либо работавших не только в штате, но и на гонораре. Ей и архив был не нужен, Лиза сама себе была архив.

Она вошла в маленькую комнатку, предваряющую ее кабинет. Вся комнатка – стол и диванчик для посетителей. Секретарша у Лизы завелась не так давно, и самым приятным оказалось то, что в ее жизни появился человек, у которого можно было попросить чашку кофе. И даже получить! Нет, конечно, чашечку кофе в постель по воскресеньям можно было выпросить и у Ксении, но дочь вместе с кофе подавала в Лизину постель и себя, и утро мгновенно превращалось в конференцию по проблемам ее внешности и необходимых ей в ближайшем будущем вещей.

– Представляешь, она входит, а там муж в ее розовом пеньюаре, – лопотала секретарша. Увидев Лизу, она с размаху бросила трубку.

«Далеко же я ушла от той онемевшей от счастья девчонки, что ждала в углу, пока на нее обратят внимание», – вспомнила Лиза свое первое появление в редакции газеты.

– Елизавета Константиновна, вы будете смотреть материалы в номер? – бросилась к ней секретарша.

– Обязательно, Марина, но попозже. Позови ко мне Кротова.

С Кротовым, директором по рекламе, надо было поговорить в первую очередь. Разговор неприятный, но после того, что она пережила в начале своей карьеры главного редактора, Лизе любой неприятный разговор был нипочем.

...Тогда, почти семь лет назад, они делали пилотный номер мучительно долго, без нескольких дней три месяца. Не было готового макета, корреспонденты писали не за гонорар, а по договоренности, зарплату должны были выплатить только после выхода номера. Фактически все они тогда работали бесплатно. И договоров не было ни у кого. Так было принято, они же все свои.

Только команда выпустила пилотный номер, только Лиза немного

расслабилась и закружилась в успехе, как поступило распоряжение, простое и ясное: всех уволить! Но не просто уволить, а уволить, не выплачивая зарплату.

«Как же так? Без зарплаты? – растерянно спросила издателя Лиза. – Люди же сделали всю черную работу, фактически создали журнал!» Издатель пожал плечами: мол, ничего не знаю, сам таких вещей не решаю, разбирайся как хочешь. «Но они же пришли ко мне, я сама набирала штат, ты сказал, чтобы я нашла самых талантливых...» – убитым голосом произнесла Лиза, понимая, что зря сотрясает воздух. Люди не знали владельца, не были знакомы с издателем, они пришли к Лизе, поверили ей, и теперь она должна сделать подлость...

Ей было понятно, о чем думал сидящий перед ней издатель, почему смотрел на нее так значительно и молчал. Он же дал ей карт-бланш, и теперь она должна отрабатывать. Умеешь кататься, умей и саночки возить! Таких, как она, тоже много... Лиза слышала эти слова так ясно, будто он их произнес. Она должна выбирать, с кем она – с издателем и владельцем либо со своими, с журналистами... «Меня подставили, вернее, даже не подставили, а не объяснили правила игры, – думала Лиза. – А что я могу?» Она знала, какой сделает выбор, но перед собой делала вид, что раздумывает.

«Сегодня ты уволишь их, а завтра меня! Заключи со мной договор, – потребовала она, – я должна себя обезопасить». Издатель кивнул. Конечно, с Лизой договор заключат. Лиза уволила всех.

Журналисты, которых выгоняли без зарплаты после нескольких месяцев тяжелой работы на чистом энтузиазме реагировали по-разному: не верили, удивлялись, презрительно смотрели, требовали, молча поворачивались и уходили, плакали, грозили подать в суд. «А мы с вами договор не заключали», – говорила Лиза ошеломленным людям, как ей велели. Это было правдой, кому же могло прийти в голову, что их так бессовестно обманут?

Первая ее настоящая зарплата была фантастической. Лиза принесла домой тысячу долларов, положила деньги на стол и долго рассматривала. Разделила на две кучки: в одной пятьдесят долларов – зарплата, которую она получила бы в газете, в другой – девятьсот пятьдесят...

Она набрала следующих, тоже способных. Их было много. Всем опять посулили хорошие гонорары и зарплаты, всех еще раз уволили. Попробуй объясни людям, что она только исполнитель чьей-то воли, а вовсе не изверг рода человеческого. Ну и какой смысл с ветряными мельницами бороться? Уйдет она со всеми вместе из солидарности, на ее место завтра же возьмут

другого, и кому от этого будет легче? Этому другому достанется зарплата в тысячу долларов, почет, власть, приглашения на тусовки... С Лизой в журналистском кругу перестали здороваться, она тут же вспомнила, как всеильная Мадам в глаза заглядывала... И приняла на работу уже тех, кого прислал издатель. Не талантливых, зато своих.

Журнал набирал силу. История с увольнениями запомнилась только тем, кого она непосредственно коснулась, остальные Лизу давно простили. Лиза после того, как заглянула по очереди в глаза всем тогдашним уволенным, научилась работать с людьми по-настоящему, понимала, что справится теперь с любой ситуацией. И журнал – единственный в городе! – продержался столько лет, да еще с бессменным главным редактором. Лиза сама придумала название, солидное, однозначное, постоянное: «Журнал», просто «Журнал». Остальные издания исчезли после одного-двух номеров, все эти бесконечные «Наташа», «Анна», а «Журнал» остался. Два раза поменяли издателя, уже и владелица другой, а Лиза осталась. Она гордилась тем, что выпускает не просто издание для домохозяек, а качественный семейный журнал с интересными статьями и любопытными темами. Они не ограничивались извечными дамскими проблемами – где отдохнуть, что купить, как обставить дом, – включали и приличные обзоры, статьи о кино, театре, книгах.

После выпуска двух первых номеров на них свалилась жуткая новость. Выяснилось, что «Журнал» нерентабельный. Печатались тогда в Финляндии, в Питере не было ни мощностей, ни бумаги, таможенные услуги стоили столько, что страшно было представить.

Издатель ругал Лизу, как первоклассницу, только что ремнем не грозил, кричал: «Уволю!» Лиза тогда от испуга начала метаться, зачем-то требовать ненужной и невозможной дисциплины, в панике ввела присутственные часы. Визжала истерически: «Все должны сидеть в редакции!» А где там было сидеть, на всех одна комнатенка, куда приходили только сдавать материалы, а все вопросы решались на бегу, по телефону или в многочисленных кафе... Лиза сидела в прокуренной комнатенке, звонила всем по очереди: «Почему ты не на работе?» – «А какого черта, почему я должен, если все не на работе?» – следовал стандартный ответ. Один корреспондент незатейливо Лизу послал. Она тогда уронила голову в бумаги и заплакала. Дня три вот так кричала, звонила и плакала, а потом собралась, посоветовалась, да и сама кое-что придумала. У них тогда было мало рекламы, да и оценивали они свои полосы недорого. Она уволила нескольких профессиональных журналистов и на свой страх и риск наняла безработных инженеров,

голодных, злых и сообразительных. Рекламная служба очень любит положить себе в карман. Бывшие технари принесли ей в зубах рекламы столько, что следующий номер вышел в ноль. Создали грамотную агрессивную рекламную службу, заработали репутацию, и постепенно уважаемая реклама сменила крошечные навязчивые модули. Тогда Лиза повысила расценки. Наконец выпросили, добились дорогой рекламы, и вскоре появилась прибыль.

– С приездом, Елизавета Константиновна! Прекрасно выглядите! – В кабинет вошел директор по рекламе.

– Сергей Викторович, не мне вам рассказывать, что наш журнал не окупается розницей, а только рекламой, предпочтительно постоянной, из номера в номер, – размеренно, словно учительница начальной школы, говорила Лиза. – Крупными рекламодателями я занимаюсь сама, остальное всегда отдавалось на откуп менеджерам. Почему в последнем номере появилась дешевая реклама? Это не соответствует нашей репутации. Последнее время совсем зарвались. Будем увольнять.

– Но у нас появились новые заказы... – возразил Кротов, нервно постукивая пальцами по столу. «Черт, не в настроении сегодня, крокодилица несчастная!»

Лиза брезгливо подвинула к себе папку с надписью «Рекламная служба».

– Нашим рекламодателям не понравится быть рядом с этим: «Гадалка Софья изменит вашу судьбу»... Этой самой Софье не под силу наши расценки. Это известно и вам и мне, и к гадалке ходить не надо.

Кротов вышел, злобно пробормотав про себя: «Сука лысая! Писать ни хрена не умеет, только руководит!» Лиза действительно давно уже не вела колонку главного редактора. Вместо этого на первой полосе располагался текст «В номере...». Но зато и фотографию свою Лиза туда не помещала... Кротов постепенно остывал. Если быть справедливым, у нее столько других достоинств, что над ней не смеялись за неумение писать. Бедная, подумал он, прекрасный редактор, чаще всего именно она разрабатывает темы... Она профи, знает, откуда и как добыть все самое-самое – рекламу самую дорогую, вынуть из-под земли звезду самую в тот момент звездную или, что еще более ценно, придумать звезду... Тоже талант, ничего не скажешь! И вообще ее уважали... Он мысленно улыбнулся: «Почему вдруг лысая?.. Ну, по злобе, конечно! Она не с рекламы краски для волос, но очень даже интересная женщина, глаза, характер, фигура как у девочки...»

– Елизавета Константиновна, вам из дома звонят, – крикнула

секретарша в открытую дверь.

Лиза взяла трубку. Дед.

– Лиза, я тут газету читаю... рекламу...

«Похоже, дед нашел старую газету. Вечно он вычитает какую-нибудь ерунду».

– Послушай, я уже позвонил и записался на завтра к профессору... К нему попасть очень трудно, невозможно! Отвезешь меня? – Через секунду Лизино го грозного молчания дед покорно, но с затаенной обидой добавил:

– Ну ладно-ладно, не надо. Хотя, конечно, попасть к нему трудно... Я случайно сразу дозвонился...

– Дед, как тебе не стыдно, я же только что прилетела, меня десять дней не было. У тебя совесть есть? – злобно рявкнула Лиза.

– Нет, ну спросить я могу? – Моня помолчал. – А вдруг я сейчас повешу трубку и умру?.. До свидания, – мстительно добавил он и положил трубку.

Лиза улыбнулась. Знала, что дед сейчас хихикает, потирая руки. Почти ежедневно Моня записывался к различным врачам. Лиза подозревала, что он никуда всерьез не собирался и производил все это исключительно для развлечения.

Разговаривая с дедом, Лиза перебирала скопившиеся на столе приглашения. Так, презентация «Модного дома Алисы Рудневой» – в корзину, открытие выставки в галерее «Арт Петербург» – туда же... Лиза иногда с удивлением вспоминала, как яростно билась в юности за свою «культурность», за то, чтобы бывать всюду, за умение сказать небрежно: «я равнодушна к интеллектуальной живописи», «стилистика постмодернизма», «я вчера слушала Второй концерт Брамса»... Теперь это казалось смешным и детским, как желание иметь две пары джинсов или есть каждый день мороженое.

Незадолго до поездки в Германию Маша вытащила ее в театр. Как только погас свет, Лиза аккуратно, будто послушный малыш на тихом часе в яслях, заснула. Не задремала, а именно заснула откровенно тяжелым сном, уронила голову набок и пустила тоненькую струйку слюны... «Ты храпела как свинья! Спасибо, что в проход не свалилась!» – сказала Маша в антракте.

«Да, с рекламной службой больше всего хлопот, – подумала Лиза, – очень любит положить себе в карман... И вот еще что... Надо потихоньку менять концепцию, разговаривать с издателями. Пора ориентироваться на нормальный средний класс, на тех, кто живет достойно, но не покупает

часы за пять тысяч долларов с той же легкостью, что и мороженое в стаканчике. Иначе потеряем часть аудитории».

В кабинете было холодно. Лиза порылась в ящике стола, там обнаружился почему-то только один шерстяной носок. Натянула носок на правую ногу, посидев немного, передела на левую.

– К вам рекламодатель, то есть рекламодательница... такая... – Марина закатила глаза. – Она еще неделю назад была в рекламном отделе, с ними не захотела договариваться, вас ждала. Пускать? Без звонка пришла...

Лиза кивнула, стаскивая носок:

– Как не пускать, когда это наш хлеб, Мариночка.

Из справки рекламщиков Лиза знала, что та обещала рекламу сети салонов красоты на полосу в каждый номер.

Лиза вышла из-за стола и изобразила такую нежную радость, словно человека ближе, чем ввалившаяся в кабинет Галина Игоревна Селуянова, у нее сроду не было.

– У меня принцип: я общаюсь только с первыми лицами, всегда! – защebetала владелица салонов.

«Господи, вот уж точно сапожник без сапог! Неужели нельзя привести себя в порядок? – удивлялась Лиза. – Тетенька явно шарит в пятьдесят шестом размере! И целлюлит начинается от пятки».

Разрез на юбке любительницы первых лиц почти до линии трусов обнажал жирную порослячью ногу, с коленки сардельками свисал жир... Лиза улыбалась. Тетенька явно собиралась просидеть долго и за свою рекламу выпить из Лизы все соки.

– Где вы в этом году катались на лыжах? – интимно улыбаясь, поинтересовалась она первым делом.

– Я? В Альпах, – привычно соврала Лиза. Они с Ксенией один раз за зиму съездили в Кавголово.

С манерами человека, приобщенного к светским видам спорта, Селуянова Галина Игоревна подробно рассказала, как ловко каталась на лыжах с учебной горки.

– А как вы относитесь к дайвингу?

– Я боюсь воды, – честно ответила Лиза, надеясь, что тетенька скажет: «Я тоже».

– Я вам сейчас расскажу, как я ныряла в Египте... это что-то! Я не умею натянуть маску... – В этом месте Лиза отключилась.

– А готовить вы любите?

Лиза испуганно помотала головой, но тетенька, снедаемая чувством первооткрывателя, только оживилась:

– Я вам сейчас дам чудный рецепт, пять минут, и роскошное блюдо... Берешь макароны... – Она настойчиво потребовала записать всем известный рецепт макарон с сыром, где вместо тривиального сыра фигурировал пармезан, и наконец, довольная Лизой, отбыла, пообещав заглядывать.

– Мы так чудно поговорили...

– Марина! Кофе, чай, мокрое полотенце, таблетку от головной боли! – скомандовала Лиза.

Марина появилась через несколько минут.

– Теперь я знаю все про то, чего она не умеет делать: не умеет кататься на горных лыжах, не умеет нырять, не умеет готовить, она буквально пыталась научить меня варить макароны, – слабым голосом произнесла Лиза. – Зато контракт наш...

Лиза не успела выпить чай, как Марина опять позвала ее к телефону:

– Елизавета Константиновна, вам из дома звонят. Будете говорить?

– Лиза, бегом! – задыхался Моня. – Инну в больницу забрали!

– В какую больницу, почему? А почему вы мне не позвонили?

– Врач пришел и отправил по «скорой»! Сказал, третья городская!

В больницу Лиза поехала на редакционной машине. Маленькая дощатая дверь никак не могла быть входом в больницу! Лиза несколько раз обежала ограду, вернулась к дощатому лазу и после долгих выяснений получила наконец нужные сведения – вторая терапия, двенадцатая палата.

– Лизонька, меня привезли и бросили... – Инна Сергеевна была бледна и держалась за сердце.

Лиза скинула куртку и бросилась за врачом.

– Налево по коридору, потом по лестнице направо и по маленькой лестнице до упора, затем направо и три ступеньки вниз... – скороговоркой бросила толстая медсестра.

Лиза заблудилась сразу. Казалось, она попала в сюрреалистическое кино, где в полутьме тенями бродили одетые в лохмотья старики... Лиза еще пометалась по этажам и вернулась. Боже, как в фильме ужасов: вместо двенадцатой палаты склад столов и стульев, в центре раскинулось гинекологическое кресло. Лиза помотала головой, надеясь, что видение исчезнет.

– А где двенадцатая палата? Она только что здесь была, у меня там бабулька... – в беспомощном ужасе спросила Лиза толстую медсестру. Слава богу, медсестра та же самая. – И куртка моя там... очень дорогая...

Оказалось, перепутала. Нашла врача, поговорила, дала денег медсестре, помчалась домой.

– Я только что споткнулся и стукнулся об телевизор, я-то ничего, а вот телевизор не работает. Нужен срочно мастер, – встретил ее Моня.

– Дед, отвяжись от меня, там у Инны Сергеевны даже тарелки нет, ей сейчас кашу в ладони наливают, пока ты вокруг телевизора пляшешь! – ответила Лиза.

«Сейчас закричу», – подумала она и принялась собирать вещи в больницу. Отвезла, пообещала приехать на следующий день. Вернувшись на работу, уселась в своем кабинете, как в убежище, подумала: «Началась плохая полоса» – и принялась просматривать материалы в текущий номер.

Лиза раздраженно листала страницы. Все не так! Она понимала, что скорее всего накручивает себя, но успокоиться не могла.

– Елизавета Константиновна, к вам Елена Владимировна, говорит, вы вызывали, – заглянула Марина.

– Я хотела бы узнать, что вы думаете о Марковой? – поинтересовалась Лиза у редактора службы информации после нескольких дежурных фраз о поездке.

– Неплохо пишет, – осторожно ответила Елена Владимировна.

– Я тут просмотрела ее материалы... Из номера в номер идет джинса. – Лиза поморщилась. Она старалась не пользоваться сленгом, но не скажешь ведь «проплаченная реклама». – Маркова приходит к вам и говорит: «Вот информационный повод – напишу об этом», а вы на что? Она хочет заработать, но надо же и совесть иметь!

Расправившись заочно с Марковой, Лиза попеняла артдиректору за неинтересную верстку, велела фотодиректору поменять фотографию на обложке и на этом сделала передышку.

С новыми силами она вызвала к себе одного из редакторов и устроила ему совсем уж несправедливую выволочку:

– О боже, опять?! Вы считаете, что нашим читателям нужна эта музыковедческая дребедень?.. Да их бы на детский абонемент «Музыка от А до Я»! В самый раз им будет! – Лиза тыкала пальцем в серьезнейшую профессиональную статью известного музыковеда. – Это не наш формат!

Она, как и редактор, прекрасно знала, что известный музыковед по совместительству являлась тещей издателя. Теща была настоящей «священной коровой», издатель велел печатать все ее материалы, и сказать ему хоть слово по поводу «формата» было невозможно.

– Ну, Елизавета Константиновна... – лениво протянул редактор.

Он несколько не боялся Лизу. Всерьез на нее никто не обижался, такое безумие повторялось после каждого ее отъезда, и все знали, что уже завтра главный редактор придет в себя. Да и уезжала Лиза крайне редко.

К вечеру, когда Лиза уже совершенно выдохлась, в кабинет зашла Маша. Она принципиально не обращалась к секретарше, с независимым видом проходила мимо Марины, как к себе домой.

– Почему ты мне вчера не позвонила? Как только прилетела... – требовательно спросила Маша.

Лиза представила, как подруга обиженно ждала ее звонка. Сама никогда не позвонит, заставляет Лизу строго соблюдать все условности: раз она приехала, значит, она и должна проявиться первой.

– Маша, подробный рассказ будет вечером, я сейчас чуть живая, Инну Сергеевну сегодня в больницу положили...

– Я тебе говорила, нельзя было оставлять стариков с Ксенией на десять дней.

– Придется ей возить еду каждый день, в больнице кормить не обещали.

– Что же делать? Возить некому, – трагически произнесла Маша. Любые сложности ее радовали, она упивалась тем, как все плохо и как невозможно трудна жизнь.

Лиза отмахнулась:

– Придумаю что-нибудь.

Ее, в отличие от Маши, трудности тонизировали. Неразрешимых ситуаций нет. Чем сложнее найти решение, тем интереснее жить, хотя ежедневно готовить и возить еду в больницу совсем не увлекательно, кто же спорит. Она вздохнула, слегка подыграв Маше:

– Я иногда думаю, за что мне это?

– В придачу к старикам ты получила роскошную квартиру... – завелась Маша.

– А знаешь, у нас на пятом этаже поселилась армянская семья. Их там немного, человек восемьдесят, – сморщившись, сообщила Лиза. – Они так кричат... Вот в Америке в богатых кварталах трудно купить дом, если ты не белый и не протестант, они чужих не хотят.

– Ой, ну ладно, новая русская королева! Тебя бы на километр к таким кварталам не подпустили...

– Почему это? – обиделась Лиза. – Я же не негр!

– А у кого дед Моня, забыла, что он еврей?

– Так то – там, а мы – здесь, – резонно ответила Лиза, сметая невидимые крошки со стола, за которым они пили кофе.

– Ты, ненормальная, перестань крошки мести! Знаешь, что это невроз? – Маша любила подчеркнуть, что руководящая работа кончается для женщины неврозом. Сама она сидела дома. Писала обо всем

понемногу, сколько Лиза ее ни просила выбрать что-нибудь одно, она рецензировала и выставки, и кино, и книги – что нравилось.

– Я принесла статью о фестивале финского кино. – Маша бросила на стол несколько листов.

– Машка, фестиваль уже давно прошел.

– Ну и что? Мне надо было осмыслить. Я же не твои попки-журналистки!

С ней было больше хлопот, чем толка, она требовала внимания, уважения, особого отношения. Не дай бог сделать замечание, подчеркнуть, что Лиза – главный редактор. Маша тут же кривилась: «Ты издаешь журнал для новых русских домохозяек, а я – творческая интеллигенция».

Маша налила себе еще кофе и сказала с нажимом:

– Пора звать Толстую и Тонкую. Они ждут.

Раз в два месяца Маша заставляла Лизу приглашать к себе машинисток, важно приносила торт с кремовыми розами и удовлетворенно называла это «выполнением долга». Она вообще не любила терять людей, располагая всех в своей жизни, как персонажей на страницах романа. Каждому отводилось свое место, и никто не терялся, не пропадал. Это называлось у нее «правильно жить». Сама Лиза тоже занимала строго определенное место в Машинной жизни.

– Можно я разок прогуляю? Мне сейчас совсем не до них, Машуля! – взмолилась Лиза.

– Ну конечно, они для тебя недостаточно крутые, просто обычные бедные тетки... – завела Маша.

«Почему я все это терплю? Может быть, я ангел? – подумала Лиза и тут же честно призналась себе: – Нет, не ангел, совсем не ангел!» Ей не хотелось терять Машину дружбу. И еще немного, совсем чуть-чуть, грела мысль, что она покровительствует Маше, и та, хочет она того или нет, прекрасно это понимает.

АНЯ

Сегодня, как всегда по вторникам, Аня ходила в Дом ребенка. Дом ребенка № 2 – мрачное серое здание во дворе-колодце без единого кустика, как будто специально выбранное для печали. Сначала Аня помогала кормить детей, затем одевала, гуляла с ними в полутемном дворе. Гуляли не каждый день, а по очереди – не хватало рук каждого одеть, завернуть в одеяльце... Принесла обратно, раздела, погладила, поговорила немножко с малышом. Она знала, это самое главное – гладить и разговаривать, иначе даже здоровые дети начнут отставать в развитии. Поэтому Аня всегда ходила к самым маленьким. По дороге домой она всегда плакала, обзывая себя сентиментальной идиоткой. Как обычно, она на минутку забежала в соседний двор, оглядываясь по сторонам, привела в порядок лицо и, уже успокоенная, пошла домой.

В Дом ребенка № 2 Аня ходила много лет подряд, и ходила тайком. Никто не знал: ни родители, ни Олег. Олег бы не понял, а Дина бы ее просто убила. Это было единственное, что Аня умудрялась скрывать от своей семьи, и единственное, что принадлежало только ей одной.

– Мама, я пришла! – крикнула Аня и направилась в спальню.

Спальня была не совсем спальней, рядом с широкой супружеской кроватью стоял письменный стол с компьютером. «У меня есть еще два часа до прихода Кирюши из школы», – подумала Аня и включила компьютер.

Аня писала роман. Это было уже пятое произведение за три года, но ее книжки не занимали почетного места в центре гостиной. Четыре маленькие книжечки в мягких обложках с именем Анна Горина аккуратной стопочкой пылились на подоконнике в ее спальне.

Во всех Аниных романах были две героини. Две сестры. В первой истории сестры были разлучены в детстве, поэтому одна была бедная, другая – богатая. В финале сестры бросались друг другу на шею, и богатая сестра делилась богатством с бедной. Во второй книжке сестры жили вместе, но одна была добрая, а другая – жестокая. В конце плохая сестра исправлялась, и оказывалось, что она просто тщательно скрывала свою любовь к хорошей сестре. Обе сестры получали весь мир и еще немного в придачу. Редактор даже посчитала, что это перебор, пришлось немного убавить выданного им щедрой рукой благолепия. В третьем романе опять фигурировали сестры, красавица и дурнушка. Естественно, дурнушке в

конце полагался принц... Во всех трех своих произведениях она воображала себя «бедной», «злой», «некрасивой», привычно отводя Лизе главную положительную роль. В четвертом романе сестры были страстно привязаны друг к другу с самого начала. В новом, пятом, у Ани не хватило воображения на очередных сестер, к тому же редактор намекнула ей, что сюжет исчерпан ею полностью. Она обошлась без сестер, зато развивала теперь тему матери, которая так безумно любила свою дочь, что даже немного мешала ей жить. Во всех произведениях фигурировали также неземные любви.

Первый роман Аня написала тайком от всех домашних, когда Олег с Додиком уходили на работу, Дина еще учительствовала, а она сама ждала Кирюшу из школы. Под псевдонимом Анна Горина она послала рукопись в одно из питерских издательств и каждый день бросалась к телефону, ожидая то ли ответа, то ли наказания.

Она понимала, что от волнения путается в мыслях, но ей действительно иногда казалось, что издательство может наказать ее за наглость. Аня так нервничала, что не удивилась бы, услышав строгий голос: «Это вы, представляясь Анной Гориной, осмелились отнять у занятых людей время своей беспомощной графоманской мурой?!»

Через два месяца, когда она полностью извелась и уже перестала ждать, из издательства пришел ответ. Они хотели напечатать ее книжку в серии маленьких любовных романов и спрашивали, нет ли у нее еще.

– У меня нет, – ответила Аня звенящим школьным голосом, – но я напишу, сколько вам надо...

Дина прочитала ее первый роман и с хмурым лицом положила рукопись на стол в гостиной, подвинув пальцем в сторону дочери. Аня дрожала так, как будто ждала приговора.

– Я растила тебя в любви к великой русской литературе, – сказала Дина и добавила: – Старайся работать над языком.

Додик с Олегом страшно льстило, что Аню издали. Додик два вечера подряд не отходил от телефона, обзванивая знакомых. «Моя дочка-то писательницей стала! – хвастался он в трубку. – Да-да, конечно-конечно, подарим, с дарственной надписью!»

С обложки маленькой книжки слащаво улыбалась девушка с выпученными глазами в пол-лица и золотыми волосами, каких не бывает в природе. Дина хмыкнула: «Ну-ну, понятно» – и Анина радость куда-то испарилась.

Дина осуждала внезапно ставшую «писательницей» дочь за несоответствие канонам русской литературы и возмущалась любовными

романами так яростно, будто это было выпадом лично против нее. Аня ее понимала, ведь мать считала русскую литературу своим домом, хозяйством, собственностью.

Она написала еще три книжки. Отдельной популярностью они не пользовались, но прочно вписались в серию любовных романов. В издательстве Анну Горину привечали, говорили, что ее романы выделяет особенная чистота и доброта. Платили Ане за каждую книжечку сумму, которая хоть и была незаметна в семейном доходе, но значительно превышала то, что она могла заработать в ином месте.

Домашние хвастались ее писательством перед посторонними, но в семейном быту почему-то воспринимали его как немного дурацкое хобби. Они норовили использовать каждую возможность, чтобы оторвать ее от компьютера и привлечь к общесемейной жизни. Дина призывала на кухню, Додик требовал посмотреть вместе кино или просто поболтать, Олегу казалось, что время, проведенное за компьютером, отнято от ухода за мужем. Только Кирюша относился к ее писательству трепетно, каждый раз вывешивал на дверь спальни табличку «Мама работает», но, кроме него самого, с объявлением никто не считался.

Анины пальцы легли на клавиатуру. Печатала она бегло, а думала медленно, часто улетая мыслями. Поэтому особенно обидно было, что каждый считал своим долгом ее оторвать. Сейчас Аня обдумывала, как показать, что ее герои наконец-то... как бы это сказать... нашли друг друга, вступили в интимную связь...

Любовные романы немислимы без описания сексуальных сцен, хотя бы намеком, но в Анином исполнении герои всегда выглядели особенно невинными, почти бестелесными.

* * *

«...Они поклялись друг другу всеми возможными нежными клятвами, и на них опустилась сладкая усталость, мир и покой...»

На новобрачную Аню двадцать лет назад тоже снизошли мир и покой. Правда, не безоблачный. Уже на следующий день после свадьбы Олег продемонстрировал ей, что ее мечта получить такого же мужа, как ее отец, не исполнилась. Он не собирается холить ее, как отец. И не будет шутить, как Додик, нежно и смешно.

В домашнем обиходе Олег оказался мрачным. Он мог часами валяться в их комнате на диване с книгой или перед телевизором, не разговаривал с Аней. Олег лежал, а она вилась вокруг: «Олежек, может быть, чаю... Олежек, ты, наверное, уже проголодался!» Олег не отвечал, и это было совершенно новым ощущением, раньше ей всегда отвечали и на вопросы, и на заботу.

«...Она чувствовала, что он не пускает ее в свою душу. Это было очень горько...»

Однажды Олег вскочил и заорал: «Иди ты на ... со своим „Олежек“!» Он орал шепотом, чтобы не услышали родители, и это показалось еще страшнее. Сама Аня тоже больше всего боялась, что услышат родители. Она попыталась намеками описать отцу сложный характер Олега, но тот неожиданно сухо ответил, что у каждого мужчины свои особенности и привычки, надо суметь подстроиться. Дине она жаловаться боялась, так и слышала, как мать говорит в ответ: «Ничего-то у тебя в жизни не выходит» – вот что будет хуже любого крика.

Аня научилась молча ждать, когда настроение Олега изменится. Это не было так уж трудно, отец оказался прав. Кроме того, все Олегово мрачное молчание было ерундой по сравнению с тем счастьем, когда он любил ее, когда они вместе с родителями ездили на дачу, вечерами пили чай, потихоньку привыкая, что они четверо – одна семья.

«...Она плакала, и слезы застывали на ее щеках крошечными льдинками. Она во всем винила родителей.

Они не понимали ее, они вмешивались в ее жизнь...»

* * *

Главной в семье оставалась Дина, а Олег как будто занял место второго, не очень любимого ребенка. Он старался дружить с тестем, но под Дининым присмотром дружба получалась робкой, как бы исподтишка.

Аня забеременела очень быстро, через месяц после свадьбы, и Олег сразу почувствовал, что он в этой семье укрепился, находится здесь по праву. Олег очень хотел ребенка, не ребенка, нет, он хотел сына и был так откровенно горд и счастлив, что Дина с Додиком как-то оттаяли, умиляясь

его радости и удивляясь, откуда в нем, еще мальчишке, такое страстное желание отцовства.

С ребенком ничего не вышло. В первый год их брака Аня беременела три раза, и все три раза у нее случались выкидыши на маленьком сроке. Хронический аднексит, а по-простому, по-женски, – воспаление придатков. Первый курс, первый экзамен, двойка, скамейка во дворе, холодный зимний день... Ах вот оно что... Дина похудела, почернела, водила дочь к врачам. После третьего выкидыша им сказали: «Это были близнецы, мальчики».

Олег повернулся к теще и по-детски обиженно произнес: «Надо же, двух парней выкинула!»

Эти выкидыши, нерожденные дети, их общие неудачи каким-то особенным образом связывали ее с Олегом, казалось Ане. А вот Дине так не казалось. После третьего выкидыша врачи сказали: «Надежд нет, и не пытайтесь». Цепкими своими глазами Дина видела Олеговы мысли так четко, словно они бежали перед ней на экране: обманули, подсунули подпорченный, некачественный товар... Такие вот простые мужицкие мысли. И еще... Были у Олега женщины. Дина знала это, как всегда все знала про своего мужа. Эти женщины с легкостью выполняют его мечту, родят ему сына, и не одного.

«...Однажды она с ужасом узнала, что любимый ей изменил. Она забежала к нему неожиданно, с букетом осенних листьев, желая, чтобы он вместе с ней наслаждался осенним золотым приветом их любви... Он был с девушкой... Она в слезах сбежала вниз по лестнице, наступая на осенние цветастые листья, топча ногами красоту, доверие, любовь...»

Аня знала, что муж ей изменяет, Олег сказал ей об этом после третьего выкидыша. Она плакала, ей было так страшно, что все рушится, и она впервые вмешала в их отношения родителей. Было все, что положено в таких случаях: Додика с зятем мужской разговор, Динино презрение и намеки на то, что его взяли в дом... «Взяли в дом», как щенка!

– У мужчин все случается, но жена – это святое... Ты должен понимать, – нашептывал Додик.

– Ну и каковы же твои планы, Олег? – холодно поинтересовалась Дина. – Ты уходишь или остаешься и ведешь себя прилично?

«...Ее кожа была розовой, ветерок нежно играл с ее кудрями... Он чувствовал к ней такую нежность, что эта нежность заменила ему

желание... Они сплелись на постели, разделив один счастливый сон на двоих...»

Олег остался, официально просил у жены прощения.

Они помирились, и вскоре измены стали обыденными. Аня предпочла не знать, не думать, каким-то образом устроила это в своей голове. «Ведь если он, такой красивый, едет, например, в метро или ходит по улицам или на работе, женщины на него смотрят. И он на них тоже, на их красивые лица, ножки, попки... Я же не думаю о том, что он при этом себе представляет, и об остальном не буду думать».

Легче было уйти, ускользнуть, спрятаться с головой под одеяло. Олег говорил ей: «Давай, пожалуйста родителям, что мне с тобой скучно спать!» «А что значит „скучно“, если все всегда одинаково?» – недоумевала Аня.

«...Она знала, что душой он ей верен. Она не была такой же, как все, она все же была для него особенной...»

Дина рассчитывала ситуацию, как бухгалтерский баланс. Скоро ее дочь останется одна, без мужа и без ребенка. Замуж, конечно, еще раз выйдет, но родить не сможет. Детей у Ани не будет, это уже ясно. Так пусть от этого брака хоть ребенок останется.

«Ничего не выйдет, у нее истончились стенки матки, – сказал профессор, – не мучайте дочь, возьмите ребенка». Ночью Дина металась, слышала слова «у нее истончились стенки жизни». Проснулась и пошла в Дом ребенка № 2.

* * *

«...Она последовала родительскому совету. Родители все же нежно любили ее, а она была послушной дочерью...»

Месячных младенцев с неотягощенной наследственностью было всего двое. Белокожий, с голубыми глазками и толстыми щечками, торчавшими из-под казенного чепчика, – сын эстонской девочки, приехавшей учиться в Ленинград. И еще один – сын еврейской девочки, приехавшей учиться в Ленинград из молдавского городка.

– Какая удача для вас, Дина Наумовна! К нам крайне редко попадают

детки еврейской национальности! – воскликнула директриса. – Мы хотели его обязательно отдать в еврейскую семью, а тут как раз вы!

– Я надеюсь, что все дети найдут своих родителей, – ответила Дина, вглядываясь в личико пухленького малыша.

Дина выбрала маленького эстонца, беленького, похожего на Олега. В Доме ребенка № 2 еще до перестройки был негласный обычай: когда ребенка забирали на усыновление, всегда приглашали священника. Священник благословил родителей – Аню с Олегом и Дину с Додиком – бабушку и дедушку.

«...Они были безоблачно счастливы втроем: он, она и их маленькое чудо...»

Ребенка забрали уже сразу в новую красивую квартиру на Петроградской – Дина обменяла теткину комнату и их квартиру мгновенно. Рае с Танечкой написали, что Анечка, слава богу, родила. Близких подруг у Ани не было. Друзей дома на время отставили, потом вдруг сообщили – родила! Не хотели говорить про беременность, боялись сглазить. В дом не звали из-за Аниной тяжелой беременности. Потом обмен, переезд, сами понимаете. В новую квартиру въезжали с трехмесячным Кирюшей. Щеки из-под его голубой шапки торчали так, что при желании их можно было разглядеть даже сзади.

«...К ним пришло счастье... Случилось невозможное – он позабыл о своих изменах, она простила его. Он обнял ее, и она поцеловала его нежно и страстно, позабыв обо всем на свете...»

* * *

В новой квартире два камина, бережно сохраненная при ремонте потолочная лепнина, восстановленная чугунная ванна начала века. Все это сближало родителей и детей, образуя пары «по интересам»: Додика с Олегом по части ремонта, Олега с Аней касательно интерьера.

Малыш, улыбочивый, толстощекий, как с картинки из «Книги о вкусной и здоровой пище», со светлым пушком на круглой головенке, был похож на Олега голубыми глазами, на Аню – каждый день по-разному, то формой носа, то изгибом губ.

Дина над ним пела, растекаясь от нежности. Аня и не представляла, что мама может сочинять такие ласковые бессмысленные нелепости. Додик каждую испачканную пеленку придирчиво рассматривал на свет, самолично проверял, все ли в порядке со здоровьем драгоценного Кирюши.

Возвращаясь домой, Додик из прихожей кричал: «Как желудочек?» Вымыв руки под строгим Дининым взглядом, он бросался к кровати и специальным низким голосом спрашивал: «Кирюша! Как твой желудочек?» «Тише ты! Испугаешь его», – обязательно шикала Дина, а малыш неизменно краснел и закатывался неудержимым, трогательным до слез младенческим хохотом.

Если бы родители знали, что она годами ходила в Дом ребенка № 2, они бы ее убили. Они стерли из своего сознания этот серый дом во дворе-колодце, как будто он никогда не существовал, как будто там не лежат в своих кроватках в ряд никому не нужные дети. Они же не могли взять всех! Аня понимала, очень глупо годами прятаться и тайком бегать в серое здание, как на работу. Дети подрастали, их переводили в детские дома, и Аня ходила к следующим.

«...Впереди их ждали любовь, счастливый смех, красивые дети и такое огромное счастье...»

Услышав звонок, Аня с сожалением выключила компьютер и направилась в прихожую. Обгоняя ее, из своей комнаты спешила Дина.

– Эй, есть кто-нибудь? – Кирюша уже открыл двери своим ключом и с размаху бросил портфель в угол.

– Что в школе? А сочинения проверили? Что ты получил? – На ходу задавая вопросы, Дина понеслась кормить внука. С самого детства кормила истово, и до сих пор ей казалось, что в Кирюшины метр восемьдесят необходимо каждый день впихнуть определенное количество витаминов, как будто он еще лежал в пеленках, и она, Дина, каждый день проверяла, сколько младенец привесил.

– Бабуля, мы с тобой получили за сочинение пять, – ответил Кирюша.

Дина занималась с внуком русским с раннего детства. В четыре года он бегло читал, декламировал главу из «Евгения Онегина» и изъяснялся преимущественно при помощи сложноподчиненных предложений. «Останься сегодня дома, не ходи в садик, мы с тобой русским позанимаемся!» – интимно нашептывала она внуку.

Как в каждой счастливо обожающей ребенка семье, у них имелись свои семейные анекдоты. Четырехлетний простуженный Кирюша наотрез

отказался показать врачу горло. Додик открывал рот, Дина открывала, Олег открывал, а он ни за что. Так и не показал. И вообще за весь визит не проронил ни слова – врач ему не понравился.

– Это первый случай в моей практике, – раздраженно сказал дорогой домашний доктор. Продвигаясь к выходу, он споткнулся о натянутую веревку и сорвался: – Какая сволочь натянула здесь веревку?

– Хотелось бы заметить, что сами вы редчайшая сволочь! – произнес четырехлетний Кирюша.

Дина кричала Олегу: «Это твое воспитание! Он от тебя научился сквернословить», а Додик рыдал от счастья, что у него такой сообразительный внук.

Кирюша рос очень медлительным. Дина ловила каждое его движение, хищно смотрела, чем бы ему помочь, до седьмого класса ему в постели рубашку натягивала. «А меня пинком из кровати выпихивала, помнишь?» – смеялась Аня. «Он еще маленький!» – отмахивалась Дина.

Кирюша поел и сел за уроки.

– А тебе никакого сочинения не задано? – с надеждой поинтересовалась Дина. – Может, напишем что-нибудь заранее?

– Нет, бабуля, из интересующих тебя занятий имеется только статья для Школы журналистов, но я хочу сам написать. Я тебе потом покажу, ладно?

– Хорошо, – вздохнула Дина.

На Додиков звонок в прихожую высыпали все.

– Папа, мне нужна твоя консультация, – попросила Аня. – У меня в романе один очень преуспевший молодой человек, сначала он открыл кооператив, потом ужасно разбогател, и теперь у него большая фирма, а я совсем про это ничего не понимаю. Расскажешь мне в общих чертах, чтобы я ерунды не наваляла?

Додик кивнул.

На Динину часть наследства Додик открыл кооператив, который давно уже превратился в устойчиво процветающее предприятие по производству холодильного оборудования. Пригодилось наследство,годились недюжинные Додиковы коммерческие способности и инженерное образование. Даже Олег пригодился, ему нашлось место рядом с тестем. Ну не рядом, конечно... В нем не открылось ни особенных талантов, ни трудолюбия, но Додиду он помогал, был на подхвате.

Додик был собой доволен. Он сделал для семьи все, что только возможно. Дина хотела большую часть Наумова наследства, потом

половину, но он не дал, поделил честно. Рае с Танечкой перевел все до копейки. До цента, вернее. По-умному перевел, не торопился. Рая нервничала, то заискивала по телефону, то настойчиво говорила sentimentальные глупости вроде «в память Наума». С тех пор как Рая с дочерью наконец получили последнюю часть, отношения освободились: Дина к ним съездила, Кирюшу только что отправляли. Молодец Додик, настоящий глава семьи!

Олег с фирмой не справился бы никогда, на второе лицо тоже не тянул, но исполнителем стал вполне приличным. Старался, отработывал машину дорогую, поездки с семьей на курорты. Любил Олег покормить себя вкусно, одеть красиво, отдохнуть дорого. Горные лыжи два раза в год, рыбалка в Финляндии.

Все же удобно было иметь своего человека... А деньги, что ж, с собой не унесешь, денег не жалко. Додик для них все – для дочери и для внука. Олег Кирюшу любил, за это Додик зятю все прощал – и что не очень был верным мужем, и работником не самым старательным.

Иногда Дина просила, чтобы Олега послали в командировку одного, понимала, что ему надо побыть вдали от жены. Додик удивлялся, но привычно считал, что жене виднее. Олег был тестю за эти поездки благодарен, возвращался в хорошем настроении, привозил всем подарки, Ане особенно много всего, выбранного со вкусом, с заботой. Аня радовалась. Из Италии привез жене платье от Армани и сумку от Виттона. Ане настоящую, а девушке своей поддельную. С нее и этого хватит, она не заметит разницы. Аня бы тоже не заметила, но Додик его все-таки приучил, главное – жена, жене самое лучшее.

– Додик, ты почему так поздно? Завтра суббота, на дачу поедем? – спросила Дина. – Кирюшу возьмем, ему надо воздухом дышать.

– Я завтра работаю, – уклончиво ответил Додик.

Дина нахмурилась, но промолчала. «За шестьдесят человеку, а все туда же! Встречается завтра со своей. Давно она уже с ним, лет десять... Молодая совсем, сейчас ей, должно быть, лет сорок восемь...»

– Кирюшка, вот ты только что из Израиля приехал, а даже не знаешь, что раввинат велел всем работать по субботам! – весело произнес Додик.

Внук ответил неожиданно серьезно:

– Дед, ну что за шутки, как тебе не стыдно! А давайте зажжем свечи, как в Израиле? Сегодня же пятница...

«С мальчиком что-то произошло с тех пор, как он приехал из Израиля, – озабоченно подумал Додик. – Отправили ребенка в гости к Танечке, решили, пусть весной погрееется на солнышке, в Питере-то в конце

марта то снег, то слякоть. Дина так жадно спрашивала его: „Как там мама?“, будто и не перезванивалась с ними каждый день, пока Кирюша был там... Что они там с ребенком сделали? Танечка его на три дня определила в какой-то лагерь специально для детей, приехавших в гости. Может быть, его в этом лагере научили зажигать свечи?»

– Ладно, тащи свои свечи, – сказал Додик, – давай я зажгу.

– Тебе нельзя. Зажигать должна женщина, – ответил Кирюша, – в головном уборе.

Дина послушно напялила берет. Додик удивленно хмыкнул: «Да, дела. Смотрите-ка, зажигает свечи в головном уборе, как Кирюша велел... Чего только для него не сделает».

– Кирюша, зачем это, мы же не иудеи, – заметила Аня. – Мне даже как-то неловко, зачем заигрывать с чужой религией?

– А может быть, мне она не чужая? – с вызовом произнес Кирюша.

– Что тебе не чужое? Иудаизм? – В комнату заглянул Олег. Они и не услышали, как он пришел. – Если уж говорить о религии, тогда православие! Мы живем в православной стране, я хоть и не крещеный, но...

– Пусть ребенок сам выберет! – вступилась Дина.

– Дина Наумовна, зачем вы поощряете всякие глупости? И вообще снимите берет!

Недовольно фыркнув, Дина отправилась к себе.

– Все-таки твоя бабушка очень тяжелый человек, – пожаловался Олег сыну.

– Она очень добрая, только никто об этом не знает. Нет... я не так сказал... Она не показывает.

Лизина плохая полоса стала уже не полосой, а непроглядным мраком. В журнале вводилось новое штатное расписание. Это был не «способ повышения рентабельности», как выразился генеральный директор, а самый настоящий кровавый переворот. Лизе предписывалось довести до сведения сотрудников, что с первого мая два редактора должны вести отделы без зарплаты, а корреспонденты будут писать только за гонорар. Чужие негативные эмоции, без стеснения вылитые на Лизу, придавили ее к земле. Она начала сутулиться и злобно поглядывать по сторонам. Еще миг, и она просто-напросто кого-нибудь укусит!

Из окна машины она увидела у своего подъезда странную компанию:

высокий мальчик в заляпанной грязью светлой куртке и мужчина в длинном плаще с двух сторон поддерживали Ксению. Ксения странно клонилась набок, почти повиснув между ними. Приглядевшись, Лиза увидела, что она держит на весу забинтованную ногу в закатанной штанине.

– Что случилось?! – закричала Лиза, выпрыгивая из машины. – Ксения!

– Ой, мама! Ой, мне так больно! Ногу сломала!.. На этот раз правда сломала!

– Господи, как же это? – К горлу подкатила тошнота. Лиза схватилась руками за дочь, желая убедиться, что все остальное цело.

– У меня же сегодня Школа журналистов, так вот, я после занятий подошла к Кириллу, помнишь, вы еще в аэропорту встретились, и мы вместе гуляли по Невскому... Я отошла на минутку купить мороженое... – довольно бодро заверещала Ксения.

– Я оглянулся, а она лежит, – вступил басом Кирилл. – Лежит на асфальте и плачет...

– Он меня поднял кое-как, поймал машину, и мы поехали в травму. Представляешь, придурки, у них врач на втором этаже, а рентген на третьем, как в анекдоте! – тараторила Ксения, кокетливо поглядывая на мальчика.

– Там действительно все крайне неразумно расположено для травмированных людей... – ломким голосом продолжал Кирилл, не сводя глаз с Ксении, в лице которой из-за пережитых страданий поубавилось розовых тонов.

– Кирилл меня попробовал поднести, и мы с ним вместе упали...

Лиза оценивающе взглянула на мальчика. Высокий, необычайно худенький, настолько бестелесный, что непонятно было, есть ли там кто-то в этой бежевой грязной куртке или нет. Лиза засмотрелась на мальчишку. К такой-то бестелесности лицо задумчивого ангела в придачу! Рядом с ним Ксения смотрелась веселым, упитанным и необыкновенно хорошеньким поросенком.

– Я могу поднять Ксению, но не в состоянии ее удержать, поскольку мой вес значительно меньше.

Не обратив внимания на завуалированный намек Кирилла на полноту, Ксения радостно подхватила:

– Тогда Кирилл позвонил своему папе, тебе-то не было смысла звонить, ты еще легче Кирилла! Мы бы вообще все втроем завалились! Олег Николаевич приехал и помог нам. Носил меня по лестнице вверх-вниз

три раза! – В ее голосе появились хвастливые интонации. – Мы там два часа провели, в травме, у них гипса не было, мы еще сами гипс в аптеке покупали... А врачи нам позавидовали, говорят: «Какой хороший гипс, где вы только его достали?» Вот мы повеселились! – Она перевела дух и сморщилась от боли. – А ловко оказалось, что вы знакомы?

Лиза кивнула:

– Что ловко, то ловко, ничего не скажешь. А что все-таки с ногой?

– Да ерунда оказалась. Трещинка, гипс наложили на неделю. Жаль, что не перелом, вот бы дома насиделась!

– Спасибо, Кирилл, спасибо, Олег... До свидания, – решительно попрощалась Лиза.

– Пойдемте к нам чай пить и за мной ухаживать, – пригласила Ксения, привычно наваливаясь на Олега.

«Хрена я тебя поведу домой!» – подумала Лиза.

Так и подумала – «хрена». Чтобы было как в плохом романе: «Девочкино лицо показалось ему смутно знакомым, он посмотрел на себя в зеркало и увидел, что они похожи как две капли воды...» А потом он выяснит, когда у девочки день рождения, и... здравствуй, взрослая доченька, я твой придурок-папочка! Спасибо, нет! Только не с ее дочерью, не с ее жизнерадостным розовым поросенком! У Ксении есть отец, самый лучший в мире, Игорь. Пусть умер, но есть.

Ксения посмотрела вверх. Их окна были темными.

– У нас опять пробки вырубались.

– Это часто случается, – светски произнесла Лиза, нетерпеливо постукивая ногой. – Слишком много электроприборов включают одновременно, вот пробки и не выдерживают. – Лиза тоскливо представила, как сейчас они с загипсованной Ксенией побредут в темноту, она будет долго ковыряться на щитке под Монины причитания... – Пойдемте, если у вас есть время, – устало сказала она и подхватила у Олега Ксению.

– Это ты, дед? – глупо позвала Лиза, услышав шаркающие шаги в глубине квартиры.

– Еще да, – меланхолично проговорил Моня, подрагивая свечой. – Или ты думала, что это Пушкин?

– С пробками все в порядке, – крикнул Олег, повозившись со щитком.

– Да, это авария, только в нашей квартире и в соседней, я у соседей уже узнавал, – гордясь нештатной ситуацией, сказал Моня. – Ой, Ксюшенька, что это ты себя забинтовала?

После его ахов и суеты вокруг Ксении наконец зажгли все имеющиеся

в доме свечи и уселись пить чай.

– Как вы себя чувствуете? – запоздало вежливо спросил Олег, вдруг разглядев Моню и удивившись его старости.

– Чувствую, – грустно ответил Моня. – Кого это интересует... – И, немного оживившись, пообещал: – Вот зажгут свет, тогда я вам покажу свои рецепты, что мне выписывают...

За столом против Лизиных ожиданий было совсем не напряженно, даже уютно. При свете их взаимная чужеродность оказалась бы очевидной, а так, при свечах, в самый раз. Тени детских головок, Монины худая носатая тень, их самих не видно...

– Как ты оказалась в этой квартире? – улучив минутку, спросил Олег. – Здесь когда-то жил Анин дедушка. Он умер при мне.

– Поменялась. Никакой мистики, исключительно низкие материи – ордер, ЖЭК, прописка...

Олег оглядел кухню. Кухня выглядела, как все кухни в коммунальных квартирах. На огромной чугунной плите, сохранившейся со времен постройки дома, навалены нераспакованные коробки.

– А ремонт что же не сделала? – Олег осторожно поинтересовался: – Отец Ксении?..

– «А мужа-то никакого нет!» – процитировала Лиза.

Олег удивленно на нее посмотрел.

– Советская киноклассика. Отец Ксении умер, давно. На ремонт денег нет, да и стариков девать некуда. У меня здесь еще свекровь живет, она в больнице сейчас...

Ксения с Кириллом вели свой разговор, мальчик был полностью увлечен, а Ксения, ни на секунду не забывая стрелять глазами и надувать губки, исподтишка удивленно поглядывала на Лизу. Что-то здесь не так. Почему мама отвечает сквозь зубы, просто излучает неприязнь?

– Я видел на лотке твой журнал. Куплю завтра, посмотрю. Интересно. Я вообще-то такие журналы не читаю, Аня тоже. Говорит, жалко время тратить...

Ксения напряженно прислушивалась: «Похоже, этот красивый дядька тоже не стесняется сказать гадость!»

Лиза взвилась:

– Передай своей Ане, что я не нуждаюсь в ее одобрении...

«Ага, и жену его знает!» – отметила Ксения.

– Извини, я не хотел тебя обидеть. – Олег прервал задохнувшуюся от злости Лизу. – Кирюша, нам пора.

Кирилл поднялся сразу. «Не то что Ксения, ее из гостей надо

трактором тянуть», – с завистью подумала Лиза.

– Моисей Давидович, вы не будете возражать, если я приду вас навестить? Когда вам удобно?

«Вот чертов дед! Всю жизнь прекрасно прожил Михаилом Даниловичем, а теперь решил, что Моисеем будет выглядеть повальяжнее!» – улыбнулась Лиза.

– Я завтра дома в любое время, – раскланялся польщенный Моня.

На следующий день взбудораженная вчерашним Лиза ворвалась в свой кабинет как в бомбоубежище, велела Марине никого к ней не пускать и с головой погрузилась в новое штатное расписание. Можно ли еще что-то выкрутить или же придется смириться с обидными переменами?

– Елизавета Константиновна, к вам пришли. – Заинтригованная Марина постучалась с визиткой Олега. – Такой пожилой, но ужасно интересный мужчина, очень классно одет, сказал, по личному делу... – Для двадцатилетней Марины пожилыми были все старше двадцати пяти.

– Олег? Что ты здесь делаешь? – Она не улыбнется ему ни за что.

– Вот ты какая теперь важная, кабинет, секретарша... Нравится тебе быть начальником?

Не успев рассердиться, Лиза послушно ответила:

– Не знаю. В юности казалось, этого не может быть. А когда стала главным редактором, в ту же минуту начала думать, что мне надо делать. Так что... насладиться своим величием не успела. – Она вытащила из пачки сигарету. – Зачем ты пришел? Надеюсь, сегодня все дети целы?

Олег улыбнулся. Он еще вчера вечером знал, что придет к ней. Не важно когда, сегодня или завтра, когда будет время. Время нашлось сегодня.

Зачем? Можно, конечно, сказать, что он не забывал о ней все двадцать лет. Но эта новая Лиза не похожа на дурочку, вряд ли поверит.

Можно сказать почти правду. Вчера вечером он сидел на ее кухне и вспоминал эту странную историю – месяц яростного секса, или сколько там это длилось... месяц, два? Теперь не вспомнить. Она ему обещала какую-то невнятную чушь, он делал вид, что верил... Потом она его выгнала, брошку какую-то сунула, она до сих пор где-то валяется, не мог же он ее Ане подарить, неловко как-то было.

Можно сказать чистую правду – любопытно, сможет ли он опять влюбить ее в себя? Главный редактор, смешная красивая дочь, огромная пустая квартира, кабинет, секретарша... Она была некрасивой, зубы вперед, коленки острые, надо же, как все вспомнилось... Стала интересной

женщиной, худенькая как девочка, а глаза такие взрослые, что просто оторопь берет...

– Я о тебе со вчерашнего вечера думал. Такая ты была потерянная, темно, старик этот древний болтает без перерыва, дочка в гипсе, свечи... Встретить тебя с работы?

– Зачем меня встречать, я на машине.

– Может, мы зайдем куда-нибудь?

– Мне домой надо. У меня там... ты же видел.

Олег еще раз улыбнулся: «Какая она маленькая за этим своим начальственным столом, просто птичка».

– Я тебе позвоню.

Вечером Лиза застала у себя на кухне всю компанию: Моню, Ксению и Кирилла за игрой в дурака. На столе стояло штук десять грязных чашек.

– У вас было безумное чаепитие? Вы что, по кругу перемещались? – вяло пошутила Лиза.

– Извините, я сейчас помою посуду. У меня не выработана привычка убирать за собой, – пояснил Кирилл, – бабушка и мама меня избаловали.

«Ангел, чистый ангел», – усмехнулась Лиза.

На следующий вечер дети опять играли с дедом в карты, грязной посуды уже не было. Приятный мальчик, но... сын Олега и Ани. Зачем все это, неловко как-то...

– Тебе домой не надо? Уроки, все такое прочее? – не выдержала она.

– Я хорошо учусь. Мне хотелось навестить Ксению с больной ногой и составить компанию Моисею Давидовичу. Я вам мешаю?

Мальчик спросил так нежно и без всякого вызова, что Лизе оставалось только сдаться:

– Нет-нет, что ты. Приходи.

После ухода Кирилла Ксения, надув губы, сделала Лизе выговор:

– Кирилл симпатичный и нам нравится, правда, дед? Ты, мамочка, что-то против них имеешь, я же вижу. – Ксения сделала вид, что напряженно мыслит. – Может быть, у тебя был с его отцом роман и он тебя бросил? Или я его внебрачная дочь? – кривлялась она.

Лиза в ответ только покрутила пальцем у виска.

– Книжек начиталась. Этой... как ее... Анны Гориной, – печально констатировала она тем же тоном, каким сказала бы: «Отравление! Несвежая еда!»

Ксения взвизгнула:

– Мама! Ты не знаешь главного, Анна Горина, ну моя любимая писательница, – это его мама! Кирилл увидел у меня ее романы! – Ксения

махнула рукой на разбросанные повсюду томики в ярких обложках. Он обещал, что она подпишет мне свои книжки. Прикинь, лично мне подпишет! «Ксении от Анны Гориной»... – Ксения торжествующе подпрыгнула на месте и тут же ойкнула от боли.

– Как мама? Мама Кирилла? Анна Горина? – тупо переспросила Лиза. – Не может этого быть!

В постель она прихватила истрепанные томики Анны Гориной. Под утро, закрыв последнюю книжечку, подумала: «Слезы, позы, розы, угрозы, метаморфозы... Дурочкам нравятся такие сказки, да и добрые ее книжки, как она сама. Я будто с Аней повстречалась. Зачем они все таким десантом высадились в мою жизнь...»

Олегу приснилась Лиза. Во сне она была совсем не такая независимая и самоуверенная, как в жизни. Выглядела в точности как теперь, но он почему-то знал, что ей всего двадцать. Лиза сидела за столом в своем кабинете и жалобно просила:

– Помоги мне, у меня нога сломана...

Открыв глаза, он увидел жену, сидящую за компьютером.

– Кирюша просил меня подписать книжки какой-то девочке, – радостно сообщила она. – Сказал, вы встретили ее с мамой в аэропорту, оказалось, что девочка тоже ходит в Школу журналистов. Она сломала ногу, бедняжка. Кто это, Олег?

– Да так, вместе учились.

Почему-то сон никак не оставлял его, и он позвонил Лизе.

– Мне приснилось, что ты сидишь со сломанной ногой и тебе нужна моя помощь.

Какой у него голос, низкий, с особенными интонациями, от которых Лизино сердце упало в область ее начальственного кресла.

– Точно, нужна. Хочешь, приходи пол помыть, а можешь за продуктами съездить. А еще у меня с машиной что-то, хорошо бы ее в сервис отогнать.

«Пусть он обидится на хамство и не позвонит больше никогда, честное слово, так будет лучше!»

«Да кто она такая, так хамски шутить!»

– Если надо, я могу, – неожиданно для себя ответил Олег.

Он отогнал Лизину машину в сервис, выяснил, что с нее берут в два раза больше, чем положено, и тут же поставил на место зарвавшихся мастеров. «Женщина без мужика – ничто!» – удовлетворенно подумал Олег. Вечером он отвез Лизу в больницу к свекрови, затем они загрузили

багажник его машины продуктами из круглосуточного магазина. Лиза совсем уж с ног валилась. Жалко ее.

По дороге домой Лиза подробно описала Олегу скандал, посвященный новому штатному расписанию. Оказалось, ему это было интересно.

– Я заслужил чашку чая? Или сеанс игры в дурака с твоим дедом? – поинтересовался Олег, выгружая сумки из багажника.

– Ты заслужил даже сосиски из ночного магазина, – рассеянно ответила Лиза. – Пойдем.

Увидев в прихожей Олега с продуктами, Моня светски заметил:

– Что-то ваша семья очень нас полюбила, то сынок в гостях, то папаша...

После того как были съедены сосиски, ни дед, ни Ксения ни за что не пожелали удалиться.

– Рецепты нести?.. – произнес Моня, но был выметен из кухни Лизиним яростным взглядом.

– Я не буду вам мешать, я тихо посижу. Ребенок весь день один дома со сломанной ногой. Я могу пойти по дурному пути, – ныла Ксения, жалостно поглаживая больную ногу. – Ребенку нужна мать!

– Мать тоже человек, – злобно сказала Лиза и прогнала ее спать.

Олегу хотелось дослушать историю про новое штатное расписание. После штатного расписания они обсуждали будущий Лизин ремонт, затем будущее Ксении и незаметно перешли к Лизиной жизни с мужем.

Оказалось, что говорит одна Лиза, а Олег слушает. Лиза и не подозревала, что он умеет так хорошо слушать.

– Я тебе все рассказываю, как попутчику в купе, знаешь? Ему можно все выложить, потому что больше никогда его не увидишь.

– Мне кажется, что ты меня еще увидишь, мне надо твою машину из сервиса забрать, да и по хозяйству кое-какие дела остались, – с серьезным лицом пошутил Олег.

– Я болтаю без перерыва, а ты ничего о своей жизни не рассказываешь?

– Да я не рассказчик, и говорить особенно нечего. Давид Семенович просто гений, фирма процветает, хорошая семья, они там все вместе, а я с краю остался...

Лиза кивнула. Она хорошо представляла, какой могла быть его жизнь в семье с Додиком и Диной. «Они всегда „все вместе“, а он в этой семье никто, так, подтанцовка!» – подумала она.

– Получилось, что у меня никого, кроме сына, нет.

Они проговорили до ночи.

– Слушай, мы с тобой в юности слова друг другу не сказали, а сейчас наговорились, как будто остались друг другу должны, – удивленно заметила Лиза и начала яростно тереть глаза. – Все, Олег, уходи. Мне спать пора.

В прихожей Олег поцеловал ее. Очень осторожно, если захочется, такой поцелуй можно расценить как дружеский.

Стараясь скрыть смущение, Лиза ткнула носом в его плечо, вдохнула запах дорогого парфюма и мгновенно вспомнила тот, прежний, запах любви и юности. «Куда меня несет?» – сонно подумала она.

– Ну ладно, если что купить, поднести, прибить, обращайтесь, мы всегда поможем... – попрощался Олег.

– Пока ничего не надо, благодарствуйте! – Лиза закрыла входную дверь. «Как грустно», – вздохнула она.

«Маленькая... – подумал Олег. – Ма-лень-кая...»

Лиза проснулась как обычно, при первом же звуке будильника. Скрестив на груди руки, над ней стоял Моня в императорском халате. Лиза опять закрыла глаза и попыталась представить, что его здесь нет.

– Лиза, он у нас ночевал? – спросил дед с формально драматичной интонацией наемного плакальщика.

Лиза нырнула с головой под одеяло и прорычала:

– Не у нас, а у меня! У меня! Мне сорок лет! Понимаешь ты, сорок!

– У тебя ребенок в доме! – не сдавался Моня. – А Инна вернется из больницы, тогда как ты запоешь? Ага?

Лиза вылезла из-под одеяла:

– Он не ночевал. Он ушел домой. У него есть дом, семья, жена, тесть с тещей, фирма. У меня тоже все есть: дочь, ты, свекровь, работа. – Она произносила слова пустым голосом так размеренно и страшно, что Моня, с трудом сохраняя гордый вид, срочно ретировался из спальни задом.

Лиза с Олегом теперь встречались как дети – в кафе, на улице, целовались в машине. Больше всего им хотелось разговаривать, рассказывать про себя, они слушали друг друга напряженно-внимательно, стараясь проникнуть в чужую жизнь... Только вот с сексом все никак не складывалось – к ней нельзя, к нему нельзя. Детям-школьникам и то лучше, у них хоть родители на работу уходят!

– Поедем в Ольгино? Можно снять номер, – предложил Олег, не веря, что это он в свои сорок лет робко просит женщину о настоящем свидании. Нет, не просто женщину, а Лизу... – Ты вот-вот решишь, что я – импотент.

- Стара я, батюшка, по мотелям-то шляться, – проскрипела Лиза.
- Почему ты не хочешь? Дразнишь меня, мстишь за прошлое?
- Ага, мщу тебе и себе.

Лиза сознательно гасила свою страсть. Если он уйдет сейчас, она как-нибудь переживет, справится. А если повторится такое же безумие, как в юности?

Она так светилась, что Ксения, рассчитывая что-нибудь выведать, осторожно завела с ней беседу по душам:

– Вот говорят, «любви все возрасты покорны». А по-моему, глупости. Какая может быть любовь в сорок лет? Ты согласна?

– Нет, не согласна. Мне теперь странно, что в книгах вся любовь у молодых. Что Джульетта могла понимать в любви в свои четырнадцать лет? Или в двадцать? Или даже в двадцать пять?

– Ну да, надежнее всего влюбиться в Монином возрасте, – возразила Ксения и, сморщившись, от подходов перешла к делу: – Я надеюсь, ты в этого красавца... Кирилла папашу, не влюбилась?

– Нет, – правдиво ответила Лиза.

Она не влюблена в Олега. Неужели она и правда его любит?

– Знаешь, чем занимается эта троица, дед и наши дети? – строго спросила она Олега. – Твой сын учит мою дочь всяким глупостям! Не бойся, – засмеялась она, – это не то, что ты подумал!

Вчера она пришла домой рано и застала всех троих за странным занятием. Кухня была разделена стульями на две части. Ксения, Кирилл и Моня с загадочно-сосредоточенным видом перемещались из одной части в другую.

– Мама, будешь с нами играть? – Ксения, волоча больную ногу, задумчиво проковыляла из одной части кухни в другую.

– Мы в Израиле в лагере играли в такую игру, – объяснил Кирилл. – Одна часть кухни обозначает «да», другая – «нет». Мы задаем друг другу вопросы и занимаем часть, соответствующую нашему мнению – «да» или «нет». Перемещение создает наглядность и заставляет глубже задуматься над ответом.

– Спрашивайте, – согласно кивнула Лиза. Ее очень интересовал этот мальчик с удлинённым ангельским лицом, так неожиданно привязавшийся к дочери и деду.

– Мой вопрос, – начал ангел. – Можно ли евреям жениться на русских? Моня резво побежал в часть «да».

– Моисей Давидович, обоснуйте свое мнение.

Дед пожал плечами:

– Почему нет? Лично я ничего не имею против. Пусть женятся на ком хотят. У меня, например, Манечка моя, так лучше не бывает...

Ксения по стульям переползла в «да»:

– Мне вообще параллельно, кто я и кто мои друзья!

Кирилл разочарованно хмыкнул:

– Не получается игры, мы все думаем одинаково. А вот в лагере со мной все спорили... Я сказал «да, можно жениться», ведь моя мама еврейка, а папа русский, я, значит, половинка. А они говорят, что я не половинка, а настоящий еврей, по матери. Так что же мне тогда – идти в «нет»? Я подумал и остался в «да», ведь иначе меня не было бы на свете.

Лиза поставила на стол чашки и налила чай.

Что, спрашивается, этот ангел нашел в Ксении с ее любовными романчиками и вечным хихиканьем?

– Я думаю о религии: принять православие или выбрать иудаизм? – задумчиво проговорил ангел. – У моих родителей в спальне икона Святителя. Никола помещен где-то в глубине, когда к нему приближаешься, он закрывает глаза, а отходишь – он на тебя смотрит.

– Я не думала, что ребят твоего возраста интересуют вопросы религии, – вытянув из пачки сигарету, заметила Лиза.

Моня встрепенулся и значительно поднял палец:

– Послушайте меня, что мне сказал в синагоге один умный человек! Он сказал, у евреев «верующая кровь»...

– Это значит, что еврею легко верить в Бога, принять любую веру, перейти в православие, – продолжил Кирилл. – С другой стороны, кто-то же должен продолжать традиции предков...

Кирилл с таким обожанием смотрел на деда, а Ксения на Кирилла, что Лиза почувствовала себя в этой компании лишней. Эта сцена вызвала в ней и другие мысли. Сыну Олега так хорошо в ее доме... Если они с Олегом когда-нибудь решат изменить свою жизнь, мальчик не будет препятствием... Это хорошо.

Грустная получалась любовь. Уже и в мотель съездили, и у приятеля Олега встречались, а все равно грустная. Как будто знали, что должны расстаться.

– Я на майские праздники на дачу поеду. – Олег сказал легко, а сам подумал: «Неделю не увидимся».

Лиза вдруг заплакала. Стала похожа на себя в юности – на некрасивую, злобную девчонку. Уселась на кровати, обхватила колени руками. Коленки торчат. Еще больше ее жалко.

– Лиза, ты меня любишь?

– А ты? Господи, Ксения права, мне сорок лет, а я играю в детские игры!

– Я... люблю, почему детские, – удивился Олег.

Лиза представила, как Олег в старых джинсах будет вилами сгребать оставшийся зимний мусор на участке, Аня – сажать цветы, он наклонится над ней, скажет: «Давай здесь, под яблоней, посадим нарциссы, красиво будет!» Она кивнет, а Олег ласково скажет: «Ну что, опять думаешь над своим романом?» Кирилл с Додиком починят расшатавшуюся дверь на втором этаже, а Дина будет кричать: «Отпусти ребенка на воздух, он и так совсем зеленый!» Лиза сжала зубы и застонала.

– А мне такой любви не надо, – враждебно выплюнула она, – у меня уже чужое было...

При полной откровенности между ними Лиза избегала говорить о его семье, об Ане, о своем детстве.

– Лиза! При чем тут мы с тобой? – Олег непонимающе улыбнулся.

– О нет, очень даже при чем! С меня хватит. Я уже давно взрослая. Мне этих детских страстей – во как хватило! Я и тебя хотела, не знаю любила или, как всегда, хотела того, что ее...

«Это уже точно от злости», – отметила Лиза.

– Ты меня любила... – обиделся Олег. – При чем тут Аня?

– Любила-разлюбила... Вот ты уйдешь ко мне сейчас? Говоришь, любишь меня, а с ней на дачу едешь! – Лиза подняла заплаканное лицо и сверкнула глазами. – Уйдешь? Или поедешь картошку копать?

– Лиза, у меня сын... – Олег все еще не мог поверить: в одну минуту Лиза, такая спокойная и достойная, превратилась в скандальную тетку, банально требующую немедленного развода своего любовника.

– А у меня дочь, ну и что? У всех дети, и все разводятся.

– Я не могу. Кирилл... он для меня... от него не уйду. Особый случай.

– У вас всегда особый случай, вы все особенные, а я всегда одна...

«Сказать ей, что Кирюша... приемный?..»

«А если бы я ему сейчас сказала, что Ксения его дочь? – Лиза мгновенно начала просчитывать варианты. – Можно взять с него честное слово, что он никогда ей об этом не скажет...»

Лиза, не слушая его, смотрела перед собой: «Нет, про Ксению не скажу. Невозможно. Мир перевернется».

– Ну и прощай. Ты меня опять предал. Вот видишь, опять все Ане досталось. – Лиза неприятно засмеялась. – Ее все любят!

«Нет, не скажу, что приемный, не могу, это только наше...»

Подумать о сыне «приемный ребенок» было невозможно, неправильно, а произнести вслух – все равно что поставить самого себя на голову. К тому же, если он уйдет, его выдавят из жизни Кирилла, как кусочек зубной пасты из тюбика... Его в семье назначили отцом... Да, так и будет, выдавят и смоят в раковину!

Олег закричал:

– Да что ей досталось-то? Она знает, что я ее не люблю, что я ей всегда изменял, с самого начала!..

– Это все нюансы, ваш личный семейный стиль. Ты – ее муж. А больше ты – никто. На тебе штамп стоит: «оплачено». – Лизе захотелось уязвить его побольнее, и она размеренно повторила: – Без нее и без ее папочки с его фирмой ты – никто. – И добавила, как строптивая восьмиклассница: – Не смей мне больше звонить.

Олег не позвонил. Даже не так больно оказалось, как он боялся. Она права, умная Бедная Лиза. Они не дети, чтобы друг друга мучить. И действительно, кто он без Ани, без тестя, без Кирюши? Никто. После майских праздников загоревший под весенним солнцем Кирилл пришел к Ксении в гости и принес ей брошку.

– Папа велел отдать тебе. Сказал, тебе будет повеселее.

– А мне и так весело, нога уже совсем не болит. Только вот меня бесит, что мне давно ничего не покупали. Мама обещала большой поход по магазинам. А кстати, твоя мама мне больше ничего не написала?

– Я принес – вот. – Кирилл положил на край стола старомодную брошку – золотой цветок с розовым камешком в центре.

У Ксении не возникло ни малейшего недоумения, почему ей вдруг послали в подарок старую золотую брошку. Она, Ксения, дарит миру себя, а мир ей тоже что-нибудь за это дарит, вот, например, эту безделушку.

– Какая миленькая, передай своему папе спасибо. – Она положила брошку в стоявшую на столе пустую сахарницу и спросила: – Деда звать? Будем в карты играть?

– О господи, опять! – простонала Лиза, подходя к кухне и услышав Монино сдавленное хихиканье. Дед хихикал, как будто его щекотали.

«Опять здесь Кирилл, опять играют в карты». Она постояла у кухонной двери, собираясь с силами. «Сейчас зайду и выгоню. Скажу, например, так... – В голове вертелись смешные мысли: „Позвольте вам выйти вон“, или „Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?“, или... Она потихоньку сама начала уже хихикать, почти как Моня... – Нет, серьезно,

скажу так: „Я не могу тебе всего объяснить, но не приходи к нам больше, пожалуйста“. Лиза представила себе выражение лица ангела Кирилла и сморщилась от жалости.

За дверью шла игра.

– Козыри – трефа, – объявил Кирилл.

– Крести – дураки на месте, – удовлетворенно бормотнул дед.

– Дед, ты жулишь! – закричала Ксения.

– Зачем это мне жулить? У меня и так клевые карты, – похвастался Моня.

Лиза на цыпочках повернулась и тихо прокралась по коридору к себе. «Завтра нужно забрать свекровь из больницы, по дороге купить продукты. Привезу ее домой и поеду на работу». Она уже привыкла к тому, что Олег участвует в ее жизни: «К хорошему-то быстро привыкаешь, – подумала она и горестно вздохнула. – Я взрослая и даже уже почти что старая, – размышляла она, – во мне опять всплывают глупые детские мысли, кто лучше: я или Аня. Я заново доказываю себе, что и меня можно любить, я теперь даже любимей Ани... Зачем? Что могло бы из этого получиться?»

Сон ушел. Лиза по привычке начала пересчитывать, перебирать варианты развития событий. Они с Олегом продолжают встречаться, она привязывается к нему все больше... Всем внебрачным страстям приходит конец, очевидно, в этом случае ее ждала бы впереди только боль... Они с Олегом продолжают встречаться, в конце концов их любовь заставляет его выбирать. Предположим, он выбирает ее, Лизу... В ее жизни снова появляются Аня, Дина... Лиза поежилась. Нет, ни за что, они остались в прошлом... Ее детская любовь, мучительная зависть и ненависть к сестре сплелись в их общем детстве в нелепый страстный ком, не разобрать, где любовь, где ненависть... и развязывать это ни к чему. Сестру она не захочет видеть никогда, а мальчик, ладно уж, пусть приходит... Лиза взрослая и даже уже почти что...

Лиза заснула, не слышала, как хлопнула дверь и ушел домой Кирилл, как Ксения с дедом разошлись по комнатам и как Моня ночью бродил по квартире.

– Чаю попью и пойду спать, – бормотал себе под нос Моня. – О, а это что, в сахарнице... Вот девки, бросают все где ни попадя...

Он поднес к глазам брошку – цветок с розовым камнем.

«Почему здесь, в сахарнице, лежит мамина брошка? – размышлял он. – Наум потерял, закатилась под плинтус, а Лиза убирала и нашла... Наверное, так, откуда же ей еще здесь взяться?..»

Разбудил Лизу громкий крик.

– О-о, это я виновата, – в голос рыдала Ксения, – я его вчера в дурака обыграла!..

Моня казался таким маленьким, Лиза и не замечала, какой он стал маленький... На его подушке лежала брошка Марии Иосифовны, показавшаяся Лизе смутно знакомой. Она повертела ее в руке и положила рядом с дедом. Что же это? Не вспомнить...

Сколько всего должно было произойти, чтобы Моне наконец досталась материнская брошка. По справедливости. Сначала старшему брату, а затем младшему.

* * *

Семейную сагу автор может писать и писать, пока ему не надоест. Может придумать дальше – как родились у Ксении и Кирилла близнецы, Маня и Моня. А может остановиться в любую минуту.

Какая тонкая ниточка соединяет судьбы. Если бы четырехлетняя Дина не захотела писать по дороге в эвакуацию и не была бы обмотана столькими одежками, не было бы на свете девочек, Лизы и Ани, не скрасила бы Монину старость смешливая белокурая толстوشка Ксения, и случайный в семье эстонский мальчик не надумал бы продолжать традиции своих предков-иудеев.

notes

Примечания

1

Цимес – блюдо из тушеной моркови.

2

Тейглах – кондитерское изделие к чаю.

З

Дело, занятие, бизнес (*нем.*).

4

Дай мне... *(идиш)*

5

Я немного шальной... *(идиш)*

6

Шарики в меду.

7

Печеночный паштет.

8

Подойди ко мне, иди сюда (*идиш*).

9

Байки (*идиш*).

Содержание

[Елена КОЛИНА САГА О БЕДНЫХ ГОЛЬДМАНАХ](#)

[2000 год](#)

[1975 год ЛИЗАНЯ](#)

[1975—1977 годы ССОРА](#)

[1977—1983 годы ЛИЗА](#)

[1983 год СЕСТРЫ](#)

[1946—1983 годы ДИНА](#)

[2000 год ЛИЗА](#)

[АНЯ](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)